

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН

МАРК АЗОВ

ВИЛЬЯМ БАТКИН

ЕФИМ БЕРШИН

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ

МАРК ВЕЙЦМАН

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ

ЮРИЙ КАМИНСКИЙ

АНАТОЛИЙ КАРДАШ

ЛЕОНИД КАЦИС

ОЛЬГА КАЧАНОВА

МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ

АНДРЕЙ КРАМАРЕНКО

АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ

ДОРОТЕЯ ЛИТВАК

ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ

ИЦХОКАС МЕРАС

ЕВГЕНИЙ МИНИН

ЕЛЕНА МИНКИНА

БОРИС МИРЗА

ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА

ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР

ДИНА РУБИНА

АРКАДИЙ СИГАЛ

ИРИНА СОРОЧИНСКАЯ

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

СЕРГЕЙ УДАЛИН

ВЛАДИМИР ФРОМЕР

МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ

ОЛЬГА ЧИКИНА

АНАТОЛИЙ ЮНИСОВ

И ДРУГИЕ

№39



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2011
39

Творческое объединение
«Иерусалимская Антология»
сердечно благодарит
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
и Юрия Исааковича КАННЕРА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

Иерусалимский журнал, № 39, 2011

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ и antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),
Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,
Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва;** Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Корректурa: **Бина Смехова, Галина Культиасова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютинa,**
Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин,
Владимир Попов, Илан Рисс

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Фонд
«Русский мир»



Российский Еврейский Конгресс



Министерство культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2011. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титневский, август 2019 г., Хайфа

***Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей***

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Марк Вейцман

ЭНТИРОПИЯ

ПОСЛЕВОЕННАЯ БАЛЛАДА

Велвл Гросс, росточком метр с кепкой
Выделки неброской и некрепкой,
Совместил победы-пораженья
С трудностями самовыраженья
И домой целёхоньким вернулся,
А вернувшись, лёг и не проснулся.

И тогда на свет явились прядка
С запахом устойчивым ванильным
И весьма потёртая тетрадка
Вкупе с карандашиком чернильным,
Где стихи не главное, а даты –
С сорок первого по сорок пятый.
А ещё – растерянность и жалость...

Но куда же всё это девалось?

Встал дымок над крышею барака
И вошёл в состав ночного мрака,
А потом возникло имя – Грета –
И вошло в состав дневного света...

КАССАНДРЕ

Предреки меня, Кассандра,
И на стыке двух столетий,
Словно череп динозавра,
Извлеки меня из нетей,

Чтобы стало подтвержденьем
Правоты твоей бесспорной
Зримой жизни возрожденье
И любви иллюзорной.

И пройду я вновь со скрипкой
От Франко к Большой Подвальной,

И некрашенные скрипнут
Двери школы музыкальной,

И Солганик, друг любезный,
На рысях ко мне подвалит,
И наставник – Фруг Железный –
С оговорками похвалит.

И пушусь я вслед за мамой
На Сенной базар вприпрыжку,
Где она у Соньки Малой
Снова купит мне коврижку,
А у толстой бабы Вали –
Нежно-белую помадку...

А потом на перевале
Ты вползёшь в мою палатку...

Не терзай меня, Кассандра,
Подозрением нелестным.
Кто от Волги и до Ганга
Назовёт меня бесчестным?

Пусть порой и сдам экзамен,
Не вникая в суть предмета,
Но пустыми словесами
Не испорчу праздник света

И не спутаю Кручёных
С Бурлюком, а Волка с Петей –
Чтобы снова извлечённым
Быть когда-нибудь из нетей!

АРХИЛОХ

*В остром копье у меня замешен мой хлеб. И в копье же
Из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье.*

Архилох. Перевод В. В. Вересаева

Славный воин Архилох,
Превращённый в прах,
Застаёт меня врасплох,
Словно ночь в горах.

Тем, чей стих звучит, светясь,
Жаль, не суждено,
На копье облокотясь,
Долго пить вино.

Ну а ежели б не лез
Вечно на рожон,
Кроток будучи и трезв,
Не вооружён,
Не взбирался на Парнас,
Не играл с огнём –
Разве кто-нибудь из нас
Вспомнил бы о нём?

* * *

– Для чего ты в дырявом своём плаще
Битый час у расстрельного бродишь рва,
То есть, собственно, кто ты такой вообще,
Чтоб на прошлую жизнь заявлять права?

– Я лишь тень человека, что здесь лежит,
Обретая статус земли сырой.
Поначалу его называли «жид»,
А потом объявили, что он герой.

– Даже трижды героям, чей след простыл,
Обходиться приходится без теней!
– Ну а душу – возможно ль пустить в распыл?
Сомневаетесь? То-то! А я – при ней.

И вздохнул. И, закатным объят огнём,
Разбежался, взлетел и пропал вдали.
Лишь корявые липы сказать о нём
явно что-то хотели, да не смогли.

ПОЭТ И КУПИДОН

– Ты зачем, крылатый гад,
Навязал мне право
На призывный этот взгляд,
Блещущий лукаво,
В повреждённое и так
Временем и водкой
Моё сердце, как в пятак,
Бьёшь прямой наводкой?

– Я готов тебя понять,
Но признаюсь честно:
Сопляков воспламенять
Мне неинтересно.

Лишь в таких, как ты, поэт,
Бью в обход морали,
Чтобы вы на склоне лет
Формы не теряли!

* * *

Покупая колечко,
Презентуя браслет,
Полагал, что навечно,
Оказалось, что нет.

Костерок раздувая,
Что ты мог понимать?
Не учёл, надевая,
Что придётся снимать.

Видел смерти примеры,
Но не думал о ней,
А не то бы размеры
Выбирал покрупней.

АККОМПАНИАТОР

Л. Д.

Что ни говори, а всё же нужен
Ритма и мелодии ревнитель,
Чтоб, своею славою контужен,
Сдуру не заврался исполнитель
Или, с толку сбитая режимом,
Публика вконец не отупела
И её не «кинула» дружина
Дико голосащих а саррелла.

Пусть же простирает, сидя в профиль,
Над клавиатурой руки-грабли,
Столь непримирим, что Мефистофель
Сунуться к нему решится вряд ли,

В рыхлую эпоху беспредела
Камнем оставаясь преткновенья.

Да и кто он есть, по сути дела,
Чтобы останавливать мгновенья?!

* * *

Стареют папеньки и маменьки,
Взрослеют милые принцессы.
Второй закон термодинамики.
Необратимые процессы.

Иссяк родник.
На шёлке выцветшем
Уже не видно папы Пия.
Ледник,
 рассветным солнцем высвечен,
Сползает в бездну.
Энтропия.

Лишь в озерце, из снов изваянном,
Девчонка плещется нагая,
Самим своим существованием
Её легко опровергая.

* * *

Осквернённые священные книги, в частности содержащие даже незначительную ошибку или пометку, согласно установлениям иудаизма, подлежат захоронению

Мне жаль недочитанной книги любви,
Которую ты осквернила.
Теперь, как Еуда б сказал Галеви,
Её ожидает могила.

Сокроется в мире бесплотных теней
Лишённое смысла богатство,
А сонмы словесно-древесных корней
Спаяет не сходство, но братство.

И, стало быть, снова возникнет писец,
Минёр на пергаментном поле,
Где мелкий прокол означает конец,
А лишняя буква – тем боле,

И действо, что вовсе не сам сочинил,
Земными трудами измаян,
В правах восстановит посредством чернил,
Чей огненный след несмываем.

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Среди надписей на стенах,
Простодушно-откровенных, –
«Хайфа – блядь», «Страна – жива»,
«Нет – террору в Рамат-Гане»,
«Смерть ублюдкам!», «Прав Кахане!»
И – «Полиции – шоа!».

Хлеб эпохи сух и горек.
Глянь-ка, будущий историк, –
И не надо спорных книг,
Разветвляющихся тропок,
Изнурительных раскопок:
Всё понятно и без них!

* * *

Не в качестве плоской агитки,
А ради высокой идеи
Мы были рабами в Египте,
Где истиной вдруг овладели.

И, тьму протаранивши лбами,
Презрев и осилив невзгоды,
Опять оказались рабами –
В урановых копиях свободы.

* * *

Проступки вспоминаются, грехи,
Как будто бы без них совсем иною
Была бы жизнь,
и старые стихи,
Когда-то недописанные мною,
Любовью обделённые,
давно
Зачатые в забвении зароків,
Которым, как младенцам, суждено
Стать жертвами родительских пороков.
В черновиках я роюсь дотемна.
Меня не узнают мои подобья,
Родная малолетняя шпана,
Глядящая на солнце исподлобья.

Дина Рубина

СНЕТ В ВЕНЕЦИИ

...Я скрылся под плащом и маской... Я умел перевоплощаться и со смехом делать то, что многим кажется запрещенным или непристойным. Любить, не любя...

Джакомо Казанова

Более всего этому городу идет ночь, и, вероятно, особенно хорош бывал он в зловещем свете факелов в каком-нибудь семнадцатом столетии.

Впрочем, тревожное пламя факела и сейчас иногда озаряет вход в ночной паб, заманивает в глубокую арку или обнажает подраненный бок кирпичной стены... — который неосознанно хочется чем-нибудь подлатать.

С наступлением темноты в черной воде каналов тяжело качаются огненные слитки света. Под каменным гребнем моста Реальто ворочаются с боку на бок гондолы, задраенные на ночь синим брезентом. Мелкая волна раздает оплеухи набережным и сваям, а у входа в палаццо, где мы пьем последнюю за день чашку кофе, два гигантских фонаря на причале освещают витые деревянные столбы, увенчанные полосатыми чалмами, что свалились сюда из сказки о золотом петушке и Шамаханской царице...

1.

Но бешеный рваный огонь возник перед нами во второй вечер карнавала, на узкой улочке в районе Каннареджо, на вид совсем уж захолустной. Мы сбежали туда с площади Сан-Марко, чьи мраморные плиты, усыпанные конфетти, утюжила подошвами ботфорт и золоченых туфельек, мела подолами юбок и плащей возбужденная костюмированная толпа.

Только что на пьядце завершилось театрализованное представление в роскошных декорациях, возведенных по эскизам главного сценографа Ла Скалы. Золотом и бархатом сверкали расписанные красками фанерные ложи, экран на заднике сцены в десятки раз увеличивал фигуры отцов города в костюмах венецианских дождей, и когда, овеянные штандартами, они под барабанный бой и вопли фанфар спустились, наконец, со сцены, публика ринулась к трехъярусному фонтану — подставлять кружки, пригоршни, футляры от очков и даже туфельки — под розовые струи вина провинции Венето...

А мы брели в туманном киселе февральских сумерек, дивясь меланхолическому одиночеству этой улицы, как бы утонувшей, исчезнувшей с карты карнавала — возможно, по случаю перебоев с электричеством. Видимо, город, не выдерживая напряжения всех карнаваловых огней, отключал на время какие-то менее туристические районы. Хотя и тут мы то и дело натывались на извечные ве-

нецианские промыслы: за арабской вязью низкой приоконной решетки мастерской по изготовлению масок лежал брикет скульптурного пластилина, стояла банка с кистями, кастрюлька с клеевым раствором, горшочек с каким-то пестиком набекрень...

Мы шли, и я рассказывала Борису о вычитанной в одной из книг о Венеции изобретательной и веселой казни, которую практиковали в дни карнавалов: осужденного на смерть преступника выпускали на канат, натянутый для канатоходцев между окнами палаццо.

– Ну что ж, – отозвался Боря, – все-таки шанс...

– О да: либо пройдешь до конца и спасешься, либо – умри шикарной смертью артиста.

Вдруг из арки впереди выплеснулась лужа огня. За ней вынырнула фигура высокого мужчины в черном плаще с капюшоном. То, что это «мор», видно было не только по маске, но и по явно загримированной мускулистой руке, в которой пленным пламенем опасно захлебывался факел. Мы даже отпрянули, хотя карнавальная мавр находился шагах в сорока от нас.

– Ты идешь? – крикнул он по-английски кому-то за спиной.

– П-п-погоди, у меня тужель спадает! – из той же арки возникла высокая тонкая фигура в лилово-дымчатом, цвета сумерек, платье, в серебристой полумаске и круглой шапочке на пышных каштановых кудрях. Девушка огляделась по сторонам, обеими руками подхватила подол юбки и заспешила вслед за своим грозным спутником.

– Хороши!.. – невольно выдохнула я.

Они повернули к горбтому мостику в конце улицы (яростный огонь в вытянутой руке мавра метался по кирпичу стен, вывалив пылающий язык, словно ищейка на обыске), поднялись по ступеням на мост и скрылись, как за горизонт уходят корабли: канули, утянув за собой отблески пламени. И наступила тишина, такая, что в воздухе родился и долго дрожал где-то над дальним каналом стон гондольера: «О-о-и-и-и!..»

– Знаешь, кто это был? – спросил Борис. – Та странная пара с нашего катера.

– С чего ты взял? Как тут опознаешь...

– Да по голосам, – отозвался муж.

Довод в нашей семье убедительный: он безошибочно узнает голоса актеров, дублирующих западные фильмы.

– К тому ж она заикается, – добавил он. – Ну, и рост: оба такие заметные... Наверное, костюмы напрокат взяли... Недешевое удовольствие! У них и чемодан был – помнишь какой?

И пустился в рассуждения о том, что чернокожие очень органичны в этом культурном пространстве: достаточно вспомнить картины венецианца Веронезе, со всеми его курчавыми арапчатами, живописными иноземными купцами в тюрбанах, лукавыми черными служанками...

– Да и тот же Отелло, – подхватила я, – как ни крути, не последним тут был человеком.

Кстати, чернокожий портье у нас в гостинице был добродушен, предупредителен, расторопен и, на мой слух, отлично говорил по-итальянски. Впрочем, и я, на слух непосвященных, отлично говорю на иврите...

* * *

Мечта о венецианском карнавале сбылась нежданно-негаданно, и сбылась, как это часто бывает, в считанные минуты: просто я заглянула туда, куда обычно не заглядываю: в рекламный проспект компании «Виза», который получаю каждый месяц по почте вместе с распечатками трат, по мнению моих домашних – «ужасающими». Там, наряду с путешествиями в глянцевые Барселону, Таиланд и Китай, предлагался «Карнавал в Венеции: полет плюс три ночи в отеле»... Цена выглядела вполне одолимой, тем более если покрошить ее на платежи – как голубиный корм на Сан-Марко. И не давая себе ни минуты, чтобы опомниться, я позвонила и радостно заказала два билета...

В то время мы с Борисом уже задумали эту странную совместную книгу, где оконные переплеты в его картинах плавно входили бы в переплет книжный, а крестовина подрамника служила бы образом надежной крестовине окна-сюжета. И без венецианских палаццо – с кружевным и арочным приданым их византийских окон – вышло бы скучновато.

– Ну, ясно, отчего так дешево, – огорченно заметил мой муж; он изучал в Интернете карту на сайте отеля. – Мы загнаны в Местре.

– Как?! С чего ты взял?! – ахнула я.

– С того, что неплохо на адрес гостиницы глянуть, прежде чем банк метать...

Я глянула и со стоном убедилась, что мы опять, из-за моего придурковатого энтузиазма, обречены молотить кулаками воздух после драки.

А тут еще Борис припомнил слова нашей итальянской подруги о том, что на карнавальную неделю венецианский муниципалитет расставляет по городу регулировщиков, дабы направлять по узким улицам потоки туристов.

– На эти дни надо снимать комнату исключительно в центре, – говорила она. – Жить в пригороде во время карнавала – это самоубийство: сорок минут в электричке, толкотня, жулье, столпотворение народов и уже к полудню – отброшенные копыта.

– Хочешь, пошарю в Интернете? – сочувственно предложила дочь, забежавшая к нам после университета. – Вдруг что-то выловлю...

– Да бросьте вы! – крикнул Борис из мастерской. – Безнадежно... Люди разбирают гостиницы на карнавал по меньшей мере за год.

Однако вечером дочь позвонила.

– Слушай, тут выплыла комната! Может, кто отказался. Отель – три звездочки, в двух шагах от Сан-Марко. Но – недешево. И учти, за номер в Местре денег вам тоже никто не вернет...

– Сколько? – нетерпеливо оборвала я.

Она назвала сумму, от которой я задохнулась.

– Сволочи, сволочи, сво-ло-чи!

– Само собой, не заказываем?

– Заказываем, само собой!!! – крикнула я, как раненый заяц. Деваться-то было некуда.

* * *

Мы опасались, что в очереди на катер «Аэропорт – Венеция» придется отстоять немало времени, но – приятная неожиданность – поток пассажиров хлынул к стоянке такси и сильно обмелел на подступах к кассам общественного морского транспорта. Так что, свободно купив билеты, мы вышли на причал и спустились в салон небольшого катера, что терпеливо вздрагивал на холодном ветру и всхлипывал в мелкой волне, как дремлющий пес на привязи...

Я плюхнулась на скамью возле иллюминатора и тоже задремала, а когда проснулась, катер уже взрыхлял лагуну, точно плуг – разбухшую почву, прогрызая в зеленой воде пенистый путь, и, как от плуга, плоть волны разваливалась по обе стороны от винта. В какой-то момент поодаль возникла и развернулась каменная ограда кладбища на Сан-Микеле... Зимнее солнце стекало по черному плюшу кипарисов на камни ограды, быстро перекрашивая их широкой кистью в розовый цвет. Мы огибали острова, причаливали, сгружали туристов, раскачиваясь и со стуком отирая бок о причал, и вновь сиденье подомной дрожало, вновь дребезжало какое-то ведро на корме, и между бакенами убегал назад кипучий хвост адриатической волны...

Борис, как обычно, что-то набрасывал карандашом в блокноте, бегло вскидывая взгляд и опять опуская. Я скосила глаза на лист и увидела портреты двух пассажиров. Зарисовывать их можно было, не скрываясь: слишком оба заняты собой, причем каждый – собой по отдельности.

Необычная пара: он – высокий, смуглый, атлетического сложения пожилой господин в длинном пальто, с абсолютно лысой, а может быть, тщательно выбритой головой брюзгливого римского патриция. А она... красавица из красавиц. Я даже себе удивилась: как могла пропустить такое лицо!

Юная, лет не больше двадцати, тоже высокая и смуглая, в расстегнутом светлом плаще, который она то и дело нервно запахивала. Редкой, прямо-таки музейной красоты лицо, из тех, что глянешь – и лишь руками разведешь: нет слов! Как обычно, дело было не в классических чертах, что сами по себе погоды еще не делают, а в их соотношениях, в теплом тоне кожи, в каких-то милых голубоватых тенях у переносицы, в ежесекундных изменениях в выражении глаз. А глаза-то, ярко-крыжовенного цвета, глядели из-под бровей поистине соболиных: густые разлетные дуги, прекрасное изумление во лбу. Это все и определяло: неожиданный контраст смуглой кожи с весенней свежестью глаз, да еще роскошная грива темно-каштановых кудрей, спутанных маетой ночного рейса.

Господин в длинном пальто всю дорогу непрерывно говорил по двум телефонам, не обращая на спутницу ни малейшего внимания, хотя она то и дело к нему обращалась, даже подергивала за рукав – как ребенок, что пытается обратить на себя внимание взрослого. Время от времени он вскакивал и разгуливал по салону катера, содрогавшемуся в усилии движения, и вновь садился, нетерпеливо перекидывая ногу на ногу, иногда грозно порявкивая на невидимого собеседника. Похоже, он давал указания сразу трем туповатым подчиненным или заключал по телефону сразу три

крупные сделки. Говорил на каком-то смутно знакомом мне по звучанию языке, хотя девушке отвечал – да не отвечал, а буркал – по-английски. Возможно, ему не хватало терпения ее выслушивать: она довольно сильно заикалась. Юной красавице он годился в отцы, хотя мог быть и мужем, и возлюбленным, и боссом.

Наконец, дорога меж бакенами сделала очередную дугу, катер лег на бок, разворачиваясь, и утренней акварелью на горизонте – слоистая начинка черепичных крыш меж дрожжевой зеленью лагуны и прозрачной зеленью неба – открылись купола и колокольни Венеции, к которой катер энергично припустил вскачь, как пес, завидевший хозяина.

...Интересная пара сошла на остановке «Сан-Заккария». Поспевая за мрачноватым спутником, девушка пыталась обратить его внимание на глянцевый листок какой-то рекламы, который извлекла из сумочки. В тот же миг в кармане его пальто очередной раз грянул марш, он выхватил телефон и прикипел к нему, отмахиваясь от девушки.

– Ты обратила внимание, какой у них чемодан? – спросил Борис.

Явно очень дорогой чемодан на упругих колесах катил за хозяевами послушно и легко и казался общим ребенком, которого усталые родители волокут домой за обе руки.

* * *

Наш отель стоял на одном из каналов. Попасть в него с набережной можно было только через горбатый мостик: мини-аллюзия на замок с перекидным мостом через средневековый ров. Высокие окна вестибюля, днем, несмотря на холод, открытые, тоже выходили на канал, и во всех трех – изобретательная дань карнавалу! – присели на подставках дивные платья восемнадцатого века: одно – классической венецианской выделки, бордо с золотом, все обшитое тяжелым витым шнуром; второе – пенно-голубое, сборчатое, облачное, обвитое лентами по плечам и талии, присыпанное серебряными блестками по кромке открытого лифа. Третье же – черное, траурное, отороченное белыми перьями, – оно и было самым завораживающим и стоило любой увертюры. А длинные накидки к платьям, искусно уложенные драпировщиками, в изнеможении спускались по ступеням до самой воды... Присутствие жизни восемнадцатого столетия было столь ощутимым, что самыми несуразными и неуместными казались мы, с нашими фотоаппаратами.

Зато на соседней площади процветал модный магазин-галерея, где дизайнерскую одежду представляли забавные манекены: вырезанные из фанеры и искусно раскрашенные венецианские дожи – в чем мать родила. Причем это были вполне исторические лица, о чем свидетельствовали таблички: почтенные старцы Леонардо Лоредано, Франческо Донато, Себастьяно Веньер и Марк Антонио Тривизани стояли в коротких распахнутых туниках, в дамских туфлях на высоких каблуках.

Жилистые ноги и козлиные бородки в сочетании с женской грудью, вероятно, должны были что-то означать и символизировать – не саму ли идею карнавала?

* * *

– Нет, нет, – повторял Боря, продираясь сквозь вечернее столпотворение на пьядце Сан-Марко, поминутно оглядываясь – поспеваю ли я за ним. – Нет, это профанация великой темы. И грандиозные деньги, вколоченные в туристический проект.

И в самом деле: умопомрачительное великолепие костюмов встречающих дам и кавалеров наводит на мысль о статистах, оплаченных муниципалитетом Венеции. Уж очень дорого обошлись бы такие костюмы обычным туристам, уж слишком охотно персонажи останавливают свой величавый ход и дают стайкам фотографов себя снимать. Они кланяются, садятся в глубоком книксене, трепещут веерами и элегантно отставляют трости, напоказ расправляют плечи и раскрывают медленные объятия...

Мы опоздали к открытию карнавала, к волнующему «Il volo dell'angelo» – «Полету ангела». Правда, в самолете по телевизору мелькнул этот, действительно потрясающий, эпизод карнавала: прекрасная ангелица – à la лыжник с горной вершины – съезжала на металлическом тросе с высоты колокольни Сан-Марко, и летела, и летела над площадью к Палаццо Дукале, а за ней пламенеющим драконом стелился по воздуху двенадцатиметровый плащ, сшитый в виде гигантского флага Венеции.

Ко времени нашего приезда карнавал уже созрел, как пунцовая гроздь винограда, настоялся на ежедневном веселье, как хорошее вино, а главное, оброс многолюдными компаниями, что шляются весь день от одного заведения к другому или просто колобродят с полудня и до рассвета по улицам, набережным и мостам.

Часам к одиннадцати утра ты оказываешься в тесном окружении знакомых и незнакомых личин и персонажей, в коловращенье масок, полумасок, плащей, накидок, пелерин... Круглощечкие «вольто», лукавые «коты», клювоносые «доктора чумы», прекрасные венецианки, коломбины, арлекины, демоны и ангелы; наконец, самые распространенные: зловещие, с выразительным именем «ларва», с подбородками лопатой – белые маски к черному костюму «баутта»... и прочие традиционные персонажи карнавала вперемешку с изумительно сшитыми, действительно *штучными* изысканными нарядами.

От знающих людей я слышала, что коренные венецианцы никогда не берут напрокат костюмы в лавках, предлагающих товар приезжим иностранцам. Они комбинируют, подправляют, перешивают старые костюмы персонажей комедии дель арте, что сохраняются в семьях из рода в род, несмотря на то что современный карнавал возродился не так давно – годах в семидесятых прошлого века.

Словом, к полудню ты вовлечен в водоворот сорвавшихся с привязи туристов.

Ты утыкаешься в спины и животы, облаченные в камзолы и платья из шитых золотом парчи, атласа, бархата, гипюра и муара; извиняешься перед гобеленовой жилеткой, шарахаешься от мундиров всех армий и времен (с преобладанием почему-то формы наполео-

новской гвардии); перед тобой мелькают пудренные парики, павлиньи перья, ожерелья и кружева, боа и манто, мех горноста, плетеные и гофрированные воротники, красные и синие кушаки...

А уж шляпы – это здесь особый вид низко летающих пернатых: заливчатские треухи, широкополые многоэтажные пагоды с цветами и бантами, крошечные прищепки с вуалями и мушками, островерхие шляпы звездочетов, шутовские двурогие колпаки с бубенцами, а также тюрбаны, чалмы, треуголки, фески... И в этой тесноте надо беречь глаза и лбы от тюлевых зонтиков, золоченых тростей, перламутровых лорнетов, мушкетов, шпаг и кривых ятаганов... Вокруг – кобальт и пурпур, мрачное золото и старое серебро венецианских тканей, леденцовый пересверк цветного стекла, трепет черных и белых вееров, невесомое колыханье желтых, лиловых, лазоревых и винно-красных перьев и опахал.

Если удастся скосить глаза вниз – видишь парад изящнейших туфелек, высоких ботфортов, пряжек и шпор, но и кроссовок тоже, и банальных зимних ботинок и сапог – не у всех достает денег или вкуса для полной экипировки...

На площадях, на центральных улицах расставлены складные столики с коробками и баночками грима; за небольшую плату тебя разукрасят так, что родная мама остолбенеет. За считанные минуты волен ты присоединиться к карнавальному большинству. Сначала и я подумывала – не изукраситься ли как-нибудь эдак, но, увидев трех разухабистых пожилых дам с нарисованными флагами Италии на дряблых щеках, решила не рисковать.

– Нет, это в былые времена романтика карнавала чего-то стоила, – бубнил мой муж, натываясь на барабан, висющий у кого-то на поясе, и извиняясь перед чьей-то спиной. – Летели все тормоза, все сословные предрассудки. И тогда уж ни патриция, ни инквизитора, ни конюха, ни монаха... Треуголка на голове, шпага и черный плащ наемного убийцы, безликая «ларва» на лицо – вот она, твоя личная смертельная игра, твой образ небытия, твои призраки ночи в свете факелов... А это вокруг – что? Развлекуха для богатых иностранцев.

Часа через полтора кружения по пьянице Сан-Марко и окрестным улицам и площадям на тебя накатывает особый род карнавальной анестезии: когда ничто уже не может остановить и задержать хоть на мгновение твой рысущий взгляд – ни дама с золотой клеткой на голове, в которой две живые зеленые канарейки прыгают и распевают, заглушаемые барабанным боем и гомоном толпы, ни жонглеры на ходулях, ни живые скульптуры на каждом углу, ни ансамбль фламенко, пляшущий на отгороженном рюкзаками пятачке пятацетты...

Нет, вру: в память врезался мальчик лет двенадцати: худенький даун в черном костюме дворянина со шпагой, но без маски. Он стоял на ступенях какой-то церкви и смотрел вниз на пеструю визжащую толпу. Его, типичное для этого синдрома, монголоидное лицо выражало странную сосредоточенность, невовлеченность в бурлящее вокруг веселье. Он крепко держал за руку маму, тоже одетую в карнавальный костюм, и пристально смотрел в одну точ-

ку перед собой, как бы сверяя с кем-то внутри или вовне свои мысли, и уголки его губ изредка выдавали тайную улыбку: вот я тоже здесь, я тоже в костюме, я ждал и готовился, и я тут, на карнавале, как все вы...

По ступеням на паперть взбежала хохочущая Коломбина, с намерением повеселить друзей внизу то ли спичем, то ли еще каким-либо вывертом, но наткнулась на отрешенный взгляд мальчика и прыгнула вниз, снова ввинтившись в толпу.

Я тоже встретила с ним взглядом и замерла: черный ангел, вот кто это был. Черный ангел, посланец строгий, напоминавший: да, карнавал отменяет все ваши обязательства, все условности, все грехи... Веселитесь, братцы. Веселитесь еще, крепче веселитесь! Но я-то здесь, и я вижу, всех вижу...

* * *

К концу первого дня перестаешь фотографировать каждого встречного в костюме. На второй день к ряженым привыкаешь так, что именно их начинаешь принимать за коренных венецианцев. Уж очень органичны все эти плюмажи, парики, трости и веера в этих арках и переходах, на мостиках и каменных кампо, на стремительных гондолах, что всем своим обликом и самой своей идеей предназначены к перевозке *таких* пассажиров...

И тогда возникает странный перевертыш восприятия: как раз туристы в современной одежде, зрители и ценители карнавального действия, прибывшие сюда со всех концов света, производят диковатое впечатление посланцев чужой, технологически развитой планеты. Вот и движутся бок о бок по улицам и площадям самого странного на земле, прошитого мостками, простеганного каналами нереального города представители двух параллельных цивилизаций.

* * *

Нам повезло даже и в метеорологическом смысле: колючий зимний дождик покропил нас лишь в первое утро. Зато лохмотья тумана чуть не до полудня носились над лагуной, цепляясь за колокольни и купола, – как безумные тени Паоло и Франчески.

Мы выходили из отеля еще затемно, когда карнавальная Венеция уже засыпала после буйной ночи. Февральский холод немедленно запускал ледяные щупальца за шиворот. Немилосердно стыли руки, глотки тумана оставляли на губах вязкий водорослевый привкус. В тишине спящего города, в рассветной мгле лагуны перекликались лишь гондольеры, торопящиеся выпить чашку кофе в ближайшем заведении:

– Микеле! Бонжорно, команданте! – голоса глохли в тихом плеске воды...

Безлюдье улиц и набережных на рассвете было само по себе удивительным – в этом городе в дни карнавала, – но в нем-то и заключалась притягательная странность наших прогулок по краю ночи. Впрочем, редкие туманные тени то и дело возникали перед нами на мостах, подозрительно юркали в переулок, стыли в парадных и нишах домов.

Однажды из-под моста вынырнула крыса, бросилась в воду и переплыла канал...

В первое же утро, когда все – в сепии, все являет собой расцветный пепельный дагерротип: арка со ступенями к воде, смутный в парах тумана мостик вдали, черный проем дверей уже открытой церкви, вода цвета зеленой меди в канале, взвесь острых капель на лице... – нас обогнал и проследовал дальше длинный и тонкий господин в норковой шубе до пят. Словно мангуста или какой-нибудь хищный зверек, вдруг поднялся на задние лапы и, виляя нижней частью туловища, быстро взбежал на мостик, и прежде чем исчезнуть в рассветном сумраке, вдруг обернулся на миг – я схватила Бориса за руку – в маске мангусты или хорька блеснули черные глазки.

Можно было лишь гадать о ночных похождениях данного хищника...

2.

В какой момент мы стали придумывать сюжет для тех двоих – для пары с нашего катера? Когда встретили их в галерее Академии? Да нет, в ту минуту мы лишь переглянулись: надо же, какие бывают невероятные совпадения: в третий раз столкнуться в городе – допустим, это маленькая Венеция, допустим даже – карнавал, то есть бесконечное кружение по одним и тем же улицам, неизбежные пересечения в густом вареве многолюдья... И все же...

В Академию мы попали после утреннего похода на воскресный рыбный рынок. Но еще раньше, выйдя из отеля и понимая, что буквально через час-другой пестрая толпа вывалит на улицы, решили обойти несколько площадей в районе Дорсодуро и Сан-Поло. Мы охотились за окнами исконно византийского кроя и радовались, когда удавалось обнаружить на фасаде какого-нибудь палаццо не замеченную прежде разновидность этого стиля – с наверхиями, точно ладони со сложенными легонько пальцами в характерном жесте индуистского танца, или дружную чету высоких узких окон, похожих на островерхие шапки кочевников.

Тогда Борис выхватывал фотоаппарат и принимался искать нужную точку обзора – отбегал, приближался, закидывая голову, делал по многу снимков.

И вновь сожалел, что среди романтического размаха этой невероятной архитектуры уже не встретишь роковых игрищ средневековых страстей...

– Полет плюс три ночи в отеле, – повторял он, саркастически улыбаясь, – жалкая участь туриста! Даже не знаю, на что ты собираешься нанизать всю эту красоту, – говорил. – Мне-то что – я живопись в каждой подворотне найду. А вот ты? Где сюжет?! Сюжет где?

И высоким трагедийным голосом в десятый раз за эти дни читал Вяземского:

*Экипажи – точно гробы,
Кучера – одни гребцы.
Рядом – грязные трущобы
И роскошные дворцы.*

*Нищеты, великолепия
Изумительная смесь;
Злато, мрамор и отрепья:
Падшей славы скорбь и спесь!*

Я огрызалась: не трави, мол, душу. Однако в чем-то он был прав: такие фасады вызвали к страстям и драмам отнюдь не туристической температуры.

Между тем в нашей «венецианской котомке» уже было изрядно собрано окон: угловых балконных, трехчастных палладийских, готических, ренессансных, с полуциркульными арками и с арками в форме взметнувшегося пламени; с витыми миниатюрными колонками, разделяющими полукруглых близнецов. Были окна, что стояли в низкой ограде балкончика, точно стакан в подстаканнике. Встречались и парадные, со звонкими витражами в свинцовых переплетах, и таинственные – со стеклами в дутых кругляшах, словно заводи с икринками...

Когда раздвигались складчатые кулисы их ставен, зеленых, темно-голубых или карминных, казалось, что вот-вот начнется действие. Любому персонажу в окне, любой случайно возникшей там фигуре это придавало восхитительную театральную загадочность.

Во время одной из прогулок мы видели, как в темно-красных кулисах на третьем этаже небольшого палаццо возник молодой человек. Он быстро и раздраженно что-то говорил по телефону, протягивая руку с сигаретой в окно, словно обращался к публике внизу, на площади. Это был весьма пылкий монолог, изумительно оркестрованный интонационно: голос то взлетал в вопросительном броске, то скандировал слова в патетическом утверждении, то бессильно соскальзывал в стонущей просьбе вниз... Здание явно стояло на ремонте.

– Это подрядчик базарит с поставщиком, – предположил Боря. – Что-то там не завезли, бригада простаивает. А какая убедительность, какие пластичные жесты, какое византийское величие мизансцен!

И вот первая утренняя «заметка»: на кампо Санта-Мария Формоза о чем-то долго препирается и договаривается группа престарелых американских туристов (возможно, члены ассоциации друзей карнавала) в роскошных, явно дорогих костюмах дам и кавалеров шестнадцатого века.

Затем они долго выстраиваются попарно (дама об руку с кавалером) и наконец – очень серьезные, даже насупленные – медленно и торжественно пересекают площадь, в полном молчании шаркая средневековыми туфлями, и удаляются в арку с указателем: «Реальто»...

Мы нырнули туда же, миновали гребенку Реальто, задраенную плотной рябью металлических жалюзи, и оказались на задах Рыбного рынка. Здесь еще были спущены кулисы – синие, красные и зеленые брезентовые полотнища. Но рынок уже проснулся, уже расправлялась его морская душа, его торговые щупальца уже тянулись к самым дальним прилавкам.

По мере разгрузки моторок, барок и барж, что чалятся на боковом к рынку канале, по мере того как солнце все ярче румянит док-

торские раструбы старинных каминных труб, а заодно и жирных голенастых чаек, сидящих на них в ожидании законного завтрака, – брезентовые кулисы взвиваются и сворачиваются, как цветные паруса, превращаясь в тяжелые бревна перевитых свиных колбас. Зрению зевак, туристов и хозяек предстают интимные внутренности лагуны, разложенные на прилавках в изысканно продуманном порядке, как жемчужные и коралловые нити, браслеты и диадемы – в витрине ювелирного магазина.

Черные, как гондолы, раковины мидий, буро-зеленые орешки вонголе, бледные лоскуты камбалы, перламутровые россыпи осьминогов, опаловые коконы креветок, панически растопыренные ладони морских звезд, будто вырезанных из раскрашенного картона, и – неисчислимые ломти рыбной плоти – алые, розовые, лиловые, голубоватые...

И все время от причала к прилавкам снует неугомонная массовка, пронося на головах тяжелые ящики, полные серебристого шелка какой-нибудь макрели, под которые подложена пружинящая, похожая на большую плоскую булку платформа.

Тут мы видели одно из самых завораживающих зрелищ карнавала, будто поставленных все тем же вездесущим сценографом Ла Скалы: уже сгрузив товар, на пустой грузовой гондоле стремительно уносились по Гранд-каналу два рыбака в одинаковых накидках, сшитых из множества треугольных лоскутков – бирюзовых, солнечно-желтых, винно-красных, фиолетовых, черных и белых, – какая веселая пестрядь лопотала в той безумной чешуе! Каждый лоскут, как флажок, пришит лишь одной стороной и трепыхался на ветру, отчего накидка шевелилась на спине, как живая шкура. И два эти цветастых сказочных дракона летели гонцами по Гранд-каналу, синхронно погружая в воду багры и синхронно выпрямляясь, взрезая ножом гондолы серо-зеленую толщу воды...

...В Академии Борис собирался показать мне только две картины. Он всегда клятвенно уверяет меня, что мы лишь «заскочим на минутку в один зал, бросить взгляд», и всегда мы застреваем там на полдня, после чего, еле передвигая пудовые ноги (как известно, ни один военный поход по изнурительной тяжести не может сравниться с топтанием по залам музеев), – я годна лишь на то, чтобы добрести до койки в отеле и надолго обратиться в святые мощи...

На сей раз он торжественно обещал, что речь идет максимум о часе, ну... двух, вот смотри – мы буквально пробегаем все первые залы: Карпаччо – на фиг, Беллини – на фиг, Джорджоне и Бассано – свободны навек...

Вот, да – именно этот зал, по нашей оконной теме... Подойди-ка сюда... Стань по центру, отсюда лучше смотреть. Вот и смотри... и смотри...

И умолк, точно кот, добравшийся до сметаны.

Я привыкла. Я даже знаю, сколько нужно помолчать, прежде чем мой муж начнет говорить, объясняя – почему мы стоим именно перед данной картиной. Но на сей раз ничего объяснять ему не пришлось – передо мной развернулась аркада с пиршеством такого размаха, что дух захватывало: сквозь высокие арки мраморной

колоннады празднично сияли вдали небо Венеции, розовый камень ее церквей и колоколен, округлые чалмы ее куполов, балконы и балюстрады ее палаццо... А за длинным столом и вокруг него пребывали в кипучем движении знать и горожане, купцы, карлики, и арапчата, и целая гурьба беспокойных расторопных слуг. «Пир в доме Левия» – грандиозное, во всю стену огромной залы, плотно кисти Паоло Веронезе.

Будто карнавальная толпа хлынула сюда с пьядцы Сан-Марко и застыла в детской игре «замри!». Во всяком случае, персонажи на картине были одеты в те же костюмы, что и утренняя группа американских туристов на кампо Санта-Мария Формоза. Движение каждого началось минуту назад и в любую минуту было готово продолжиться.

Казалось, можно войти в картину, усесться за стол, налить себе вина, побродить среди колонн, потрепать за щечку девочку на переднем плане... Можно было без конца рассматривать и открывать все новые бытовые детали – например, как идет носом кровь у одного из персонажей...

– Какая сила, а? Какая легкость цветовых сочетаний... – проговорил мой художник с явным удовольствием. – Краски прямо звенят, кипят!.. И ведь ему, в сущности, плевать на историческую основу евангелий: разве это древняя Иудея? Какой там Левий, при чем тут времена Иисуса! Его интересует только Венеция и венецианцы – их жизнь, быт, одежда.

– Да уж, – заметила я... – Некоторая цветовая э-э-э... отвага в одежде присутствует: тона, прямо скажем, витражные... Такая книжка-раскраска в детском саду. Вон Иисус – хитон розовый, плащ на плечах темно-зеленый. Воображаю кого-то из моих знакомых в подобном прикиде, в общественном городском транспорте, например.

– Ну и что, это были джинсы и блейзеры того времени, – возразил Борис. Хотя насчет цветовой жизнерадостности ты права – она и вышла ему боком: его вызывали в суд святейшей инквизиции за богохульство – как, мол, посмел в евангельской сцене изображать шутов, карликов, пьяных немцев и прочие непристойности... Между прочим, есть протокол допроса.

– Да что ты! А он?

– Он держался молодцом: а что, говорит, у художника есть те же права, что у поэтов и безумцев...

– Неплохо. А инквизиция в те годы уже не сжигала художников?

– Не помню подробностей, но с Веронезе как-то обошлось. Он много чего еще написал, и везде – праздник, свет, огромные окна или арки в голубое небо. В конце концов, все дело в самоощущении художника. Веронезе всегда стремился вовне, его привлекал внешний мир, выход в него, отсюда и окна, и все эти сквозистые арки... А теперь вот сюда посмотри... – он взял за плечи и развернул меня лицом к картине на соседней стене. – Совсем иной мир, правда? А жили в одном городе, современники были.

Это была «Пьета» Тициана. Классический сюжет: оплакивание Христа. Сцена, как и полагается, мрачная по настроению: мертвое тело, окаменевшая в своей скорби Мария, воплящая в пустоту Мария Магдалина и коленопреклоненный старик Никодим, в котором Тициан, говорят, изобразил себя самого.

Да, это не пир... Вот уж где мрачный тупик – глухая ниша в стене, темный камень, полное отсутствие окон или арок; ни воздуха, ни света, ни надежды... Все сумрачно в этой последней картине Тициана.

– Похожа на надгробную плиту...

– Именно. Он и замыслил ее как собственное надгробье, для любимой церкви Фрари, мечтал, что его там и похоронят. Но не вышло... Он ведь не закончил картины – ухаживал за больным сыном (была очередная эпидемия чумы), заразился сам и умер... Так что заканчивал картину его ученик, Пальма-Младший. И один Бог знает – сколько там напортачил.

– Какой-то бурый сумрак... – почему-то перейдя на шепот, сказала я.

– Да, краски скрытые, приглушенные, но – смотри, какая – в каждом ударе кисти – мощная осязательная пластика!

Он повторил, задумчиво продолжая разглядывать картину:

– Да: невероятная пластическая мощь. В сравнении с нею даже персонажи Веронезе кажутся фанерными... И ведь это писал глубокий старик, изживший все, кроме своего могучего дара!

– Нет, не вижу, – в сомнении пробормотала я, – не понимаю... Будто все под водой.

– Совершенно справедливо. Это – отчаяние человеческого существа, что погружается на дно небытия. Или, если хочешь – судьба Венеции, уходящей под воду. Во всяком случае, о Венеции это говорит мне больше, чем все литературные и исторические...

– А ему было п-п-п-плевать, что Господь т-т-т-трахнул его жену?

Звонкий молодой голос раскатился по залу, подпрыгивая на согласных... Мы оглянулись, и я тихо пихнула мужа локтем в бок. Вот уж кого совсем не ожидала тут увидеть.

Наши мимолетные попутчики с катера стояли недалеко от нас, перед картиной с очередным поклонением волхвов. Неясно был – что, собственно, они нашли именно в данной картине, являвшей типовую мизансцену этого евангельского эпизода: в красноватой полутьме пещеры – благообразный старик Иосиф, слишком миловидная и ухоженная для хлева Дева Мария над колыбелью с Младенцем, а также овцы, козочка, ослик...

В ответ на резонный вопрос девушки (который, признаться, и меня когда-то интересовал) ее плечистый спутник что-то раздраженно и неразборчиво пробормотал.

– И он ей п-п-поверил?! – простодушно настаивала юная дева. – П-поверил, что у них н-н-не было настоящего секса?!!

Мы переглянулись и поспешили к выходу из зала...

– ...Знаешь, что мне напомнила это сцена? – сказал мой муж, улыбаясь и ссыпая в кофе сахар из пакетика. – Один случай в Русском музее.

Мы сидели за столиком кафе, вынесенном на фундамента Ферро, неподалеку от моста Академии. В двух шагах от нас, у причала вапоретто, на пяти толстенных сине-красных сваях сидели пять толстенных нахохленных чаек – по одной на насесте. Тонкий

змеиный ветер штопором закручивал в зеленой воде канала мелкие гребешки пены.

Кофе нам принесла официантка с внушительной корзиной цветов на голове. Непонятно, как она с этим грузом умудрялась обслуживать клиентов, да и просто держать равновесие. При виде нее я вспомнила сразу и ящики с рыбой у торговцев на сегодняшнем рынке, и пожилых узбечек моего детства, с тазами, полными яблок, на головах.

— Я оказался там в очередной приезд в Питер — где-то в конце семидесятых. Ну и в очередной раз выстаивал перед «Последним днем Помпеи». Как я стою, ты знаешь — пятнадцать, двадцать, сорок минут... И рядом со мною стоит какой-то мужик, по виду — совершенный работяга. Ну, совсем уж странный в окружении изящного искусства. Он стоял и как-то ошалело разглядывал всю эту багровую вакханалию Везувия, всю, так сказать, роскошь сюжета — понятно, что живописные и композиционные глупости его не волновали... И вот на какой-нибудь двадцатой минуте этого остолбенения он вдруг широко развел руками и всей грудью выдохнул великую фразу: «Усе попадало!!!»

Я кивнула:

— Бывает, конечно. Шофер-дальнобойщик, выперли его из гостиницы раньше времени за вчерашнюю пьянку. А тут дождь, спрятаться негде, деньги пропил, а билет в музей стоит копейки... Согласись, что эти в зале Академии выглядели примерно таким же образом, несмотря на дорогой прикид...

— А что ты про них знаешь? — усмехнулся Борис. — Может, это члены международной банды грабителей музеев на полевых учениях? Разведка боем, так сказать. Проверка сигнализации, расположения залов и переходов...

— Не годится, — отмахнулась я. — С их ростом? С ее внешностью, с таким звонким заиканием? Их же за версту видать обоих.

Боря внимательно проследил взглядом плавное приземление какой-то морской птицы — то ли чайки, то ли альбатроса — на крыше каюты белого катера и сказал: — Вот и придумай для них сюжет. Сочини — с какой это стати они в карнавальных костюмах оказались вчера на окраине Венеции? Заблудились? А может, где-то в сыром подвале была у них тайная встреча с главой наркокартеля? И как это их в музей сегодня занесло — шли в казино, ошиблись дверью?.. И не маши на меня, чего руками-то махать. Мое дело маленькое: ты придумай, а я тебе картинку с ними напишу...

Сваи у причала набережной торчали вкривь и вкось, как иглы в портновской подушечке. Едва ли не на каждом балконе палаццо, за именем которого лень было лезть в путеводитель, колотились на ветру малиновые с желтым флаги Венеции: крылатый лев, по-хозяйски положивший лапу на евангелие от святого Марка.

* * *

Ночью я проснулась от гулких веселых выкриков.

Чертыхаясь, поднялась выпить воды и подошла к окну.

Оживленная компания, не успевшая за ночь растратить силы, возвращалась, должно быть, с костюмированного бала, какие в пе-

риод карнавала устраивают для избранных персон дирекции знаменитых палаццо и дорогих ресторанов.

Наше окно выходило на крошечную площадь со старинным колодезем, похожим на могучий, кудрявый от мраморных кружев пеннь. В глубокой чаше площади сейчас клубился туман, золотой – от света круглых фонарей. Еще не вязкий студень *неббии*, но вполне ощутимые клубни холодных паров лагуны. И в этом подводном тумане смутно маячили двое мужчин в черных треуголках и широких черных плащах и две женщины, закутанные в белые накидки, золотые в свете фонарей. Один из мужчин что-то выкрикнул по-немецки басом – дамы дружно и очень заразительно засмеялись. У себя в Ганновере или в Саарбрюкене, подумала я, они в это время видят десятый сон и соблюдают покой соседей...

Компания пересекла площадь и удалилась в низкую арку в дальнем ее краю. И там, внутри, еще похохатывало и сходило на нет гулкое эхо ответной женской шутки, потом все звуки поглотил туман.

В следующий миг – такое случается со всеми – мне пришло в голову, что я не раз видала этих людей, закутанных в плащи и накидки, ныряющих в эту вот гулкую старую арку; что в другой жизни я, вероятно, здесь родилась, и вид гуляк, под утро бредущих домой, и старый колодец в центре площади, и томительное эхо поздних голосов в тумане венецианских дворов были когда-то мне привычны и мною любимы, как в нынешнем воплощении любимы и привычны испепеленная жарой небесная твердь над Иудейской пустыней...

– Что там, гульба? – сонно пробормотал Борис.

Я легла и сказала вполголоса:

– Насчет тех двоих: это дядя с племянницей...

Он приподнял голову с подушки, молча вглядываясь в темноте в мое лицо.

– Он – азербайджанский нефтяной воротила, – продолжала я вполголоса. – Отец ее недавно умер, мать не в состоянии сладить с дочерью: слишком уж резва. Тогда младший брат отца – а он давно тайно влюблен в племянницу – сбегает с ней в Венецию на три дня. Предлог – сироту надо пристроить в приличный европейский колледж...

– ...и заодно потренироваться здесь в английском, – буркнул Борис, снова откидываясь на подушку, – а то азербайджанский им обоим надоел. Слушай, какой колледж в феврале? Нет, это полная чушь, они вовсе не родственники. Он – турок, глава крупной страховой компании. У него в Риме встреча с партнерами. Он берет с собой юную секретаршу и вылетает на три дня раньше, чтобы...

– ...чтобы, опять-таки, потренироваться в английском, – подхватила я. – Не годится! У турчанки семеро строгих братьев-мусульман, которые за подобную вольность с сестрой оторвут главе страховой компании яйца... И еще: ни азербайджанский воротила, ни турецкий страховщик не попрутся в галерею Академии, будучи в Венеции в период карнавала.

– Согласен... – он похмыкал, подумал... – Тогда вот что: мужик – владелец одной из лондонских картинных галерей. Вообще-то, он албанец.

– С какой стати?

– Родился таким. Но закончил Кембридж.

– Ах, вот как... Ну, а она?

– А ее он как раз подцепил в Риме, в гостинице. Она не совсем проститутка, просто девушка в обслуге отеля. Отсюда приличный английский. Вполне возможно, что она студентка; она фантастически красива, привыкла к ошарашенным взглядам мужчин, на сей раз решила чуток подзаработать: мужик явно богат, обещал хороший отель, шикарный карнавальный костюм, то, се... Причем обещания свои выполнил, хотя надоела она ему уже на второй день знакомства.

– Такая красавица? Вряд ли...

– Тогда не знаю. Видимо, у меня творческий кризис... Вообще, я бы часик поспал...

3.

Мы купили мне полумаску, испещренную нотными знаками, – надо же хотя бы минимально соответствовать игровому буйству карнавальной толпы.

Между прочим, ничего особо веселого в венецианских масках нет: они зловещи. Попробуйте надеть хотя б одну и гляньте на себя в зеркало – вы отшатнетесь. Неподвижность маски придает образу невозмутимость покойника и вызывает в памяти древние ритуалы диких народов. И оно понятно: обстоятельства жизни в те людоедские времена требовали от человека перевоплощения в иную, желательно страшноватую сущность, дабы отпугивать врагов, болезни и смерть. Недаром чуть ли не самой популярной маской в Венеции была «доктор чумы», с ее ужасающим носом-клювом – впрочем, вполне объяснимым: в эпоху опустошительных эпидемий в этот клюв засыпались благовония, якобы уберегающие врача от заразы.

Как ни странно, наиболее живыми и убедительными ряженые выглядят сзади; так, в теснейшем переулке мы с трудом разминулись с японским самураем в полном боевом облачении; спереди он был смешон, сзади – страшен. В другой раз навстречу нам стремительно шел пилигрим (полы длинного балахона распахивались от быстрого шага, на плече полукруглой скаткой лежал алый плащ). И, обернувшись вслед, мы восхитились лаконичной целостностью образа, его уместностью меж темных кирпичных стен, как бы пропитанных ненасытным пурпуром старого вина...

А гондолы, эти странные носатые лады, черные грифы лагуны – разве не подходят они более всего к перевозке мертвых на Сан-Микеле? Разве чуткое воображение человека впечатлительного могут заморочить дурацкие украшения, которыми современные гондольеры привлекают туристов, – вроде золоченных морских коньков и фигурок святого Микеле с флажком Италии в руке? Разве не бросает в дрожь один лишь взгляд на расшитые цветным стеклом спинки роскошных кресел, втиснутых в узкие ребра этого скорбного погребального челна?..

* * *

Кстати, великолепие венецианских витрин с искрящимся водопадом цветного стекла и фарфора, с хороводом масок и костюмов действует на воображение именно своим мощным цветовым напором, избыточностью материала и форм. Но стоит купить за какие-нибудь 15 евро одинокий сувенир... как он немедленно (словно Золушкина карета – в тыкву) превращается в ширпотреб. Проверено. И даже изящные украшения из цветного стекла Мурано не играют, не работают, никого не украшают в каком-нибудь Бостоне, Калуге или Иерусалиме. Они восхитительны здесь, в этом городе, когда они – часть зачарованной стихии, застывшие капли и гребни адриатической волны, кристаллический образ лагуны, фигуры и монстры потаенных снов...

Так тускнеет извлеченная из воды влажная галька, что минуту назад переливалась золотистыми и фиолетовыми искрами в прозрачной волне. Так умирает жемчуг...

* * *

Вечерами броуновская бестолковщина карнавала сгущалась в заторы с истерическим весельем: то и дело группки ряженных перекрывали улицу или переулок, пока какой-нибудь арлекин или кавалер с торжествующим криком «шайсе!», наконец, не одолевал пробку в бутылке шампанского и, страшно гогоча, приставив бутылку к чреслам, не запускал в лиловое небо пенящуюся струю.

Ночной холодный воздух взрывался голубыми залпами электрических шутих – их поминутно пуляли вверх азиатского вида торговцы. На каждом шагу под фонарями ахали петарды с конфетти, и во все концы бескрайней пьяццы мела их цветная пурга.

Голубей же на площади – на этой самой большой голубятне мира – в дни карнавала совсем было не видать. Вероятно, это ежегодное мучение они воспринимали как величайшее бедствие, нечто вроде гибели Помпеи.

Кошки тоже прятались от толпы, а вот собачек мы встречали много: некоторые приехали сюда туристами, их прогуливали в дубленках, в цветных тужурках и свитерах. Двух престарелых псов мы видели за стеклом витрин – они дремали на своих ковриках, не реагируя на приставания надоедливых уродов снаружи. Один лишь голову поднял, приоткрыл ленивый глаз: «Ну, живу я тут!»... Небольшая черная собачка привычно и приветливо глядела из гондолы – видимо, хозяин-гондольер всюду возил ее с собой. А на морду еще одной, особенно послушной, юмористы-хозяева нацепили маску кота. И, ей-богу, она не выглядела более странно, чем большинство туристов.

По карнизам, над арками, под окнами, в вывесках всех пабов, трапторий, остерий – словом, всех едален, которые в Венеции называют общим словом «бакари», – сияли россыпи лампочек-крошек; ими, как пудрой блескучей, присыпаны были голые ветки очень редких деревьев.

Перед окнами кафе и ресторанов движение публики замедляется: хозяева каждого такого заведения для привлечения клиентов

нимают статистов, а те усердно позируют. А как не остановиться, как не поглазеть на изобретательно продуманные и безукоризненно сшитые костюмы!

В арках Прокураций перед входом в какой-то ресторан стояли два кавалера – один в серебристом, с длинными кудрями на грудь, парике, другой в таком же, но белокуром. Камзолы сидели на них как влитые. Руки в белых перчатках покоились на набалдашниках тростей... Ребята «работали»: почтительно беседуя, медленно подходили к окнам ресторана, протягивали руки, будто указывая друг другу на диво дивное, долго вглядывались в ярко освещенную залу, медленно поворачивались, восхищенно потряхивая буклями парика: приглашали публику припасть и восхищаться...

– Да это же «Флориан»! – воскликнула я. – Пойдем, глянем поближе...

Мы протолкались к окнам заведения. Там, внутри, высоченный красавец в костюме кавалера восемнадцатого века, с мушкой на беленой щеке, галантно беседовал с дамами. И уж так хорош, бесит: пудренный парик с косицей, атласные штаны до колен, шитый золотом атласный камзол, туфли с бантами... Он и на окна успевал взгляды бросать, и всем успевал улыбнуться.

– Помещеньице тесноватое, – заметил Боря. – Чем знаменито?

Я рассмеялась, вспомнив давний приезд в Венецию с Евой, на ее восемнадцатилетие: яркий весенний день, звуки прелестной джазовой композиции из открытых дверей какого-то ресторана в аркадах Прокураций. Молодой кудлатый пианист играл на старом фортепиано, у открытого окна, и пел, и замечательно пел хрипловатым голосом «Georgia on my Mind». Ему подыгрывал скрипач, и скрипач тоже был неплох.

– Чем знаменито? Да просто: первое кафе в Европе, Боря. Легенда Венеции, Боря, восемнадцатый век. Не говоря уж о том, что бывали тут все – от лорда Байрона и Казановы до Бродского. И цены простенькие – такие, что кровь в жилах стынет.

...Это были времена, когда – при всей моей склонности к безответственным тратам – мы все же старались держаться в режиме экономии и каждое утро, перед тем как выйти из пансиона, мастерили с Евой бутерброды на целый день, справедливо полагая, что рестораны нам не по карману... А тут застряли, заслушались – уж очень обаятельно играл и пел кудрявый пианист; голос не сильный, но чистый, приятного тембра...

– Мам, – робко сказала Ева, – но это же никакой не ресторан, а кафе, может, даже просто кондитерская. Давай зайдем? Полчаса тут торчим, бесплатно пьемся...

Я сдалась. И мы – две прекрасные синьоры – под романтические синкопы лучшей джазовой музыки – торжественно уселись за один из столиков, вынесенных наружу, и заказали по чашке кофе.

Мягкое солнце покидало площадь, отдавая последнее усталое золото округлым куполам собора Святого Марка. Он стоял в блеске и сини своих мозаик, и золотокрылые ангелы на треугольном фронте с обеих сторон без устали восходили и восходили к евангелисту Марку над золотокрылым львом.

Молодой пианист в белоснежной рубашке, с закатанными по локоть рукавами, играл негромко и легко, и последний солнечный луч, шаривший в аркадах, на целых пять минут застрял в смоляных его кудрях. Так и пел он, с этим золотым нимбом над головой. А пожилой скрипач – пузач и коротышка – совершал массу еле уловимых танцевальных движений в такт синкопам и, словно этого не доставало, еще и подтанцовывал мохнатыми бровями ...

Мы с царственными улыбками сидели на изящных стульях с гнутыми спинками-вензелями. И пока музыка продолжала кружить над нами в вечернем воздухе, мы помнили, кто мы: две прекрасные синьоры, черт возьми. Я смотрела на Еву и говорила себе, что моя девочка, моя красавица... она заслуживает лучшего, чем чашка кофе в паршивой кондитерской; что когда-нибудь, когда я напишу что-то стоящее и заработаю кучу денег, я поведу ее в такое особенное, потрясающее место, где одна только чашка кофе будет стоять...

Наконец, музыка смолкла, солнце опустилось за купола собора, погасив разом все мозаики. Искристая смальта, яшма и порфир утонули в глубокой тени. Черные купола и готические башенки собора остались приклеенными на темно-зеленом небе. Нам принесли счет...

Минуты две мы сидели в полном молчании, не глядя друг на друга. Это был несусветный, бесстыжий, уму непостижимый счет; в нем значилось буквально следующее: «Кофе – 2 шт. Живая музыка – 2 шт.». И сумма, равная едва ли не половине самолетного билета.

Ева улыбнулась дрожащей улыбкой и предложила:

– Давай скажем, что я глухая!

...И вот это легендарное кафе, сияющее изнутри огнями, сейчас было забито публикой – счастливцами, успевшими войти и занять столики. И верзила-кавалер прогуливался среди изысканно костюмированных мужчин и женщин, склонялся к изящной ручке в высокой перчатке, шептал на ушко пожилой даме что-то такое, отчего та, закинув голову с тяжелой прической, увитой лентами и бисерными нитями, заходилась неслышным восторженным смехом, так что трепетал ее двойной подбородок...

Как и было задумано, отсюда все выглядело театральным действием. И хотя в зале ровным счетом ничего не происходило, это просторное окно-сцена, старинный интерьер в кулисах бархатных портьер, важные разодетые господа внутри, пьющие чай из тонких чашек антикварного фарфора, привлекли внушительную толпу, облепившую окно снаружи так, что мы оказались зажатыми со всех сторон.

– Давай выбирать, – сказал Борис, – что это мы тут как сельди в бочке.

В эту минуту, бросив последний взгляд на убранство зала, я увидела, как в дверях возник наш знакомец-мавр – он же турок, азербайджанец, главарь банды грабителей музеев, а также владелец галереи в Лондоне. Ростом он почти был равен нанятому гиганту. Снятый капюшон плаща лежал у него на плечах, являя контраст загримированного лица и более светлых черепа и шеи. Как будто не успевший отмыться трубочист ввалился туда, куда его не приглашали. Оглядывая зал с недовольным видом, наш

мавр пустился в объяснения с пожилым метрдотелем. Тот – старичок в камзоле и парике – сокрушенно разводил руками.

И тут у меня над ухом грянула резкая трель мобильного телефона.

– Т-ты че звонишь! – приглушенно произнес по-русски запинаящийся женский голос. – Я т-те сказала: н-не звони! Т-т-ты ж все угробишь!

Я ошарашено оглянулась. «Дездемона» в серебристой маске, с загнанным выражением отчаянных зеленых глаз невидяще смотрела перед собой и трясущимися губами торопливо и неразборчиво – в шуме толпы – что-то говорила в трубку. Кажется, она даже задыхалась от волнения. Я смотрела на нее, не отводя глаз: она была полностью погружена в разговор со своим невидимым собеседником и два раза отерла пот со лба (в этой-то холодрыге!) трясущейся рукой.

А Борис уже выбрался на площадь и махал мне, вызывая из толпы.

– Не п-получается! – вдруг почти выкрикнула она. – Он ч-чуткий, как х-холера! – и раздраженно и умоляюще одновременно: – Н-не звони, Боб, опасно, я с-сама выйду на связь... – и еще громче: – Н-нет! Н-не смей! – и низко, придушенно: – Все, идет!!!

Я ликовала. Вот он, сюжет! Вот он, бесценный дар карнавала, вернее, подачка, оброненная в толпе. Но как поднять ее, как незаметно развернуть смятую, перекрученную и затоптанную интригу?

По дороге в отель мы так и сяк выворачивали новую ситуацию, ахая, восхищаясь, останавливаясь и хватая в азарте друг друга за руки.

– Видишь, – возбужденно говорила я, – а ты заявил, что только в старину, когда карнавал был делом городским, внутриклановым... тут свершалось свое интимное быть-или-не-быть... и что сейчас не бывает смертельных интриг. Вот тебе, пожалуйста: явная афера, возможно, и смертельная – мошенники на охоте за бумажником престарелого фраера!

– Он не такой уж и фраер, – возражал мой муж. – Ты же сама слышала, он чутко спит. Так что коварный план пока не удался.

– Чепуха, – отмахивалась я. – Спит чутко, как все пожилые гипертоники... Черт возьми! А мы за кого только ее не принимали! За турчанку...

– А что, кривой турецкий ятаган свои семена повсюду сеял, в том числе и на ридной Украине...

– Интересно, что она задумала, миленькая бестия? По хорошему, надо бы мужика предупредить, знать только – в каком отеле они остановились...

– Еще чего! – возмутился Боря. – А вдруг все наоборот? Вдруг девушка спасает кого-то от смертельной опасности? Вдруг она, как Юдифь, кинулась в объятия главаря мафии во имя спасения своего любимого? Нет уж, дай свершиться всем перипетиям комедии дель арте или трагедии Шекспира. Вдруг он ее задушит согласно купленным костюмам?

И за полночь мы, перебивая друг друга, придумывали все новые и новые повороты сюжета. Некоторые, особо удачные, я даже записала – вдруг пригодятся потом, в работе... Заснули поздно, проспали свою третью рассветную стражу, так что, когда вышли из

отеля, кое-кто из ранних пташек уже фланировал по улицам: утро оказалось ветреным, солнечно-резким, отчетливым, с синими тенями в глубине арок.

На Сан-Марко за одним из целой флотилии столиков «Флориа-на», вынесенных наружу, пили кофе и непринужденно болтали две пышно одетые дамы с глубокими декольте, одна – в белокуром, другая в голубом парике. Надо же и статисткам позавтракать...

Обе были из тех, кто вчера сидел внутри, изображая аристократическую публику восемнадцатого столетия. Казалось, они так и не уходили на ночь, лишь прихватили свои чашки, переместившись утром на воздух. Возможно, так оно и было, потому что одна из дам, широко, совсем не аристократически зевнув, достала из пачки сигарету и закурила.

Вокруг них кружил толстый турок с огромной чалмой на голове – размером с колесо грузовика, – отпуская, судя по всему, шуточки: после каждой девушки улыбались – одна благосклонно, другая сонно-снисходительно... Потом турок отвалил, а статистка в пудренном парике стала что-то эмоционально рассказывать подруге, поправляя развившийся локон рукой с сигаретой, зажатой между пальцами. Ветер перебирал богатые кружева ее широких рукавов, и зябко было смотреть на роскошное декольте старинного платья, в котором покоились пышные девичьи груди, идеально упакованные в корсет.

Ее подруга в голубом парике улыбалась, кивала и улыбалась... и вдруг расплакалась...

И вот тогда над площадью пролетела неуловимая усталость. «Anima allegria» – смеющаяся душа карнавала – истончилась и сникла, она возносилась над нами, испарялась, покидала площадь – так душа возносится над телом: карнавал умирал. Рассеялась туманная взвесь, что накануне окутывала здания, фонари и фонтан. Зимнее утро навело резкость на предметы и лица, и захотелось, чтобы уборщики поскорее подмели надоевший цветной сор конфетти, а уставшие девушки-статистки смогли, наконец, уйти домой и как следует выспаться...

– Ну что, – спросил Боря, бодро поеживаясь, – куда сегодня двинем?

* * *

После полудня ветер устервился и вовсе перестал миндальничать; встречные дамы, одной рукой придерживая рвущиеся вбок и вверх пышные юбки, а другой контролируя статичность закрепленного шпильками парика или шляпы, быстро исчезали с площади и окрестных улиц. Небо набухало тревожной тяжелой скукой – погода явно менялась к худшему...

Но по набережной Скьявони, как и вчера, и позавчера, упрямо брел человек-оркестр, вернее, человечек-оркестрик.

Каждая часть его тела была приспособлена к извлечению какого-нибудь звука. К спине был привязан огромный круглый барабан с литаврами, и человечек время от времени просто лягал этот барабан пяткой, будто пенделя давал самому себе. Барабан издавал гром и лязг литавр. В руках человечка коротеньким удавом развора-

чивалась и сворачивалась гармоника; на голове сидел металлический колпак с бубенцами разных размеров и регистров, и когда он эпилептически дергал головой, те звенели, крикали, лопотали и гремели на все лады. Музыкой все это предприятие назвать было невозможно, но какофония звуков и чередование ударов, вкупе с забавной фигуркой чуть ли не карликового роста, очень нравились встречным. Во всяком случае, в жестянку, подвешенную к гармонике, падали монеты не так уж и редко...

* * *

Свой последний в этот приезд обед мы решили отведать в рекомендованной путеводителем остерии неподалеку от Сан-Марко. Автор этого фундаментального труда подозрительно горячо советовал выбрать в меню «венецианскую курицу в различных видах и состояниях».

– О'кей, если только курица не в состоянии аффекта...

– «Хозяева по-домашнему приглядывают за посетителями», – продолжала я зачитывать ту же рекомендацию, когда мы уже сели за стол и послушно заказали «полло», курицу.

– Еще бы не приглядывать, – резонно заметил мой муж, – мало ли каких жуликов может сюда занести...

Мы сидели в глубине большого темноватого зала с низкими деревянными потолками и через широкое окно, выходящее на улицу, смотрели на медленно – в тесноте – плывущую толпу. И опять окно и французский занавес над ним являли сцену, по которой невидимый главреж гонял туда и сюда массовку, пока в артистических уборных гримируются актеры главных ролей.

Как странно, думала я, вчера мы были публикой, смотрящей на сцену снаружи, сегодня мы – публика, смотрящая на сцену изнутри. Но те, кто движется там, по улице, точно так же смотрят на нас, в сценический проем окна. Похоже, каждый в этом городе одновременно и зритель, и актер, вне зависимости от того, по какую сторону ramпы находится...

– Эта их «полло»... – буркнул Боря, уныло догрызая куриную ногу, – явно была современницей Марко Поло...

Нам давно уже принесли счет, и мы уплатили, но продолжали сидеть, наблюдая в окно, как ветродуи гонят по сцене мощные струи резкого воздуха, и не торопились выйти из теплого зала, как публика не торопится выйти из прокуренного зала кинотеатра в ветер и дождь вечерней улицы.

* * *

Наш чартерный рейс перенесли на два часа ночи. Оставалось еще какое-то время перед сборами, которое мы могли потратить по своему усмотрению – что по-нашему означало просто шляться по улочкам и вдоль каналов. Если бы погода не портилась так стремительно...

– Может, вернемся в отель? – спросила я, щурясь на ледяном ветру, задувающим с лагуны. Глаза слезились, руки мерзли даже в перчатках, даже заткнутые глубоко в карманы куртки.

Мы перевыполнили «план по окнам»: нащелкали такое количество фотографий, словно сюда нас командировала редакция какого-то архитектурного журнала для сбора материала к толстому номеру, посвященному исключительно окнам Венеции, а попутно и Венецианскому карнавалу.

– Как хочешь... Давай еще прогуляемся на задах Сан-Заккарии, дойдем до Сан-Джорджо деи Гречи? Помнишь, там в витражах ты видела какую-то крылатую хреновину и сказала, что хорошо бы зарисовать?..

И мы, подняв воротники курток, натянув на лоб вязаные шапки, то и дело поворачиваясь спиной и пятясь, поплелись под нахрапистым ветром – охота пуще неволи – сначала по набережной вдоль палаццо Дукале; затем свернули влево и – дворами, мостами, каналами, мимо Кампо Бандьера-э-Моро, по калле Пегола – пошли в сторону Арсенала.

Видимо, окаянный ветер дожал самых зимнеупорных туристов. Мало кто попадался навстречу. Только завернув на фундамента ди Фронте, мы едва не столкнулись с двумя туристами в костюмах японских самураев.

Вода в канале поднялась и мутно бурлила у самого края набережной.

– Как бы не затопило, – сказала я. – Нам еще наводнения тут не хватало... – и остановилась: – Может, хорош маскарада, дядя? Тапер устал, и фильма на финале... Зайдем куда-нибудь, согреемся?

– Чуток виски?

– Я бы коньячку...

В это мгновение откуда-то сверху слетел на набережную сдвоенный вопль: протяжный мужской рев и пронзительный женский визг. На третьем этаже отеля – по другую сторону канала – кто-то рванул дверь на балкон, и с классическим воплем «Спасите!» оттуда вылетела полураздетая женщина. Не очень классическим в этом было только то, что вопила она по-русски. Видимо, переводить на английский не было времени. А может, уже не было в этом нужды.

– О боже, – выдохнул Боря. – Опять эти?! Не верю! Так не бывает...

– Разве только в жизни, – отозвалась я.

Мы стояли, задрав головы к балкончику. Такого романтического углового балкона – с высоким двойным окном, осененным ажурными, в форме бутонов, розетками, – в нашей коллекции еще не было. Их легкость и хрупкое изящество так были гармоничны с белизной обнаженных женских рук. Странно, что отсюда девушка вовсе не казалась смуглой: темный кирпич стены служил контрастом к телу.

– Не смей подходить!!! – завизжала она кому-то в глубину комнаты, вытянув вперед руки. – Не приближайся ко мне!!!

Самое удивительное, что и заикаться она перестала. Позже, обсуждая это с Борисом, мы так и не пришли к согласию – почему? То ли стресс выправляет дикцию, то ли заикание было деталью образа.

Мужской голос в ярости проорал из комнаты:

– Я ташкентский грэк, сука, поняла?! Аферистка!!! Я – ташкентский грэк!

Видимо, Боб позвонил-таки не вовремя, мелькнуло у меня. А я то хороша: албанец, азербайджанец, турок... Как можно было не

узнать эти характерные черты, эту походку и повадку, эту сутуловатую плечевую мощь закоренелой шпаны из Греческого городка, столь знакомые мне с детства!

Между тем девушка вжалась в перила балкончика и вопила не переставая, отбиваясь и уворачиваясь от мужских рук, что пытались втянуть ее в комнату.

Двое туристов в костюмах японских самураев, успевшие удалиться на приличное расстояние, вернулись, услышав вопли. Они что-то быстро взволнованно говорили по-английски, обращаясь к нам (я не понимала их английский), и, когда для удобства сняли маски, оказались – как в дурном сне – как раз японцами, мужчиной и женщиной неопределенного возраста. Что само по себе привело меня в оторопь: приехать на венецианский карнавал, чтобы вырядиться собой? Японцы возмущенно лопотали на неопознанном мною английском, а Борис сказал:

– Ну что, бежать-кричать? Где вход в отель – с той улицы?

– Постой... Тут иначе надо.

– Но он ее убьет к чертовой матери! Или она со страху с балкона сиганет.

– Да погоди ты! – отмахнулась я и, напрягши глотку на холодном ветру, с зычной оттяжкой гаркнула вверх, вспоминая манеру шпаны из Греческого городка, будто не прошло сорока лет с того времени: – Чува-ак!!! Щас милиция зову, да-а!? Слышь, чувак! Милиция хо-очешь?!

Там наступила тишина. Дверь на балкон с треском захлопнулась, и одновременно по мостовой застучали каблук японцев – то ли помчались разыскивать администратора отеля, то ли просто испугались моего выступления.

– Ты с ума сошла? – спросил муж, разглядывая меня, однако, с новым уважительным интересом. – Какая здесь милиция! Ее уже и в Москве нет.

– Отстань, – пробормотала я севшим голосом. – В Москве нет, а у нас в Греческом городке есть...

Минуты три уже сверху летела какая-то труха, словно где-то на лесах над нами рабочие приступили к оштукатуриванию здания. Мы стояли, задрав головы, и бездумно стряхивали белую летучую труху – пока не поняли, что это снег начался.

Снег в Венеции!

А девушка продолжала стоять на балконе, прижавшись спиной к перилам...

То, как ее колотил озноб, видно было даже с мостовой. Она вздрагивала, мелко трясла головой и как-то жалко и жутко нам сверху улыбалась, обеими руками придерживая на груди рубашку судорожным, душу выворачивающим жестом.

– Усё попадало... – сказал Боря с жалостью...

А я думала: вот он, мой сюжет... мой неузнанный, неразгаданный авантюрный сюжет – стоит раздетый на холоде, и нет никакой надежды, да просто и времени нет извлечь его из чрева жизни, растормошить, растопить, «вдохнуть дыхание в ноздри ея»; развернуть-раскатать, прощупать-подивиться золотым колечкам еще одной судьбы...

И безнадежно все, и ничегошеньки не узнать – что там между ними было, с чего началось, что их прибило друг к другу? И как же крутит, мнет и формует заново наших людей чужая жизнь, как же она выворачивает, перелицовывает наши лица в непроницаемые личины – если эти двое могли не учуять один другого в первую же минуту знакомства!

Так кто же ты, маска, думала я, и в какой Полтаве, в каком Кременчуге у тебя осталась мама, или ребенок, или оба они – мама с ребенком, – что ты любыми путями должна заработать и послать им денег? Или ни мамы, ни ребенка – а просто занесло бесстыжим ветром в такую темную карнавальную жуть, что и опомниться страшно?

А может, и хорошо, что ты остаешься тайной: разве не тайна, в конце концов, – главное условие карнавала, его «смеющаяся душа», безумие опустошенности, забытие – репетиция небытия?..

Я натянула шапку чуть не по самые брови и одеревеневшими от холода губами пробормотала мужу:

– Вот теперь пошли... Они разберутся. А я совсем задубела...

* * *

Под вечер снег повалил крупными зернистыми хлопьями, которые под порывами ветра сбивались в кучи и нервной толпой кидались из стороны в сторону, словно бы места себе не находя... Часа через три величественный простор Сан-Марко был устлан белой молодой пеленой, а снег все летел и летел, заштриховывая собор и колокольню, выдувая с площади прохожих, выметая их из-за колонн и аркад.

В конце концов, все растеклись и осели по барам да по домам – временным и постоянным.

Мы тоже вернулись в отель, чтобы собрать чемодан и поспеть на катер.

Когда вышли, уже стемнело...

По площади в сторону Палаццо Дукале в туманной белой круговерти удалялись две мужские фигуры в черных треуголках и черных плащах. Они энергично шагали, придерживая шпаги на боку, и ветер рвал их плащи – живые черные крылья на застывшей белизне.

– Карабинеры, – сказал Борис. – Смена караула.

Чугунные канделябры фонарей, уснувшие белые гондолы, черные штрихи свай у причала и крылатый убеленный лев на колонне выглядели завершением карнавала, неизбежным возвращением в черно-белое пространство зимы, торжеством графики после бурлеска живописи и цвета.

А дальше – репетицией небытия – клубилась, вспухала гигантской каракатицей ненасытная неббиа, в рыхлой и влажной плоти которой застряла заноза колокольни Сан-Джорджо Маджоре. И двойная цепочка черных следов уводила взгляд к границе набережной, что лежала широким белым подоконником лагуны – гигантского окна в Адриатику, погруженную в черно-белый сон венецийской зимы...

август 2011

Зинаида Палванова
ПРИ СВЕТЕ ВСПЫШКИ

* * *

Родилась в деревне я да в космосе,
угодила всей душою в стих.
Стены дней моих – сплошные росписи,
просторечье здешних чувств моих.

Крашен потолок надеждой, ужасом,
пол – цветной неразберихой снов.
Все мои слова со мною кружатся –
завтрашних не выговорить слов.

У дверей молчания несметного
места я себе не нахожу.
Жизнь свою до наважденья смертного
всем по-деревенски расскажу.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ

Как интересно жить внутри компьютера
и наблюдать за собственным хард-дискон,
за памятью операционной!

Без спроса выплывает вдруг
никчемное воспоминанье.
Оно лежало в памяти моей
не год, не два – всю жизнь мою почти что.

И нет, не стерлось, дожидалось мига
вот этого, чтобы зачем-то вспыхнуть
тем облаком вечерним перламутровым
посередине неба...
И ветром налететь из дня грядущего,
из этой вот округи...

Я помню самолётик золотой, он к облаку
неслышно и неспешно плыл.

И вдруг я понимаю: самолёт –
он знаком был отчётливым
переселенья, перелёта, перемены.
Он выплыл вновь, он переплыл судьбу...

Так вот зачем воспоминанье вспыхнуло –
чтоб увязалось всё в моём компьютере,
дефрагментация произошла...

Но как сказать на языке компьютерном
«мурашки побежали по спине»?..

СЛУШАЯ КАНТОРА

Т. Ж

Господь одинок.
Мы чуем истоки.
Мы ближе к Нему,
когда одиноки.

Дыханье Творца –
за ликами плоти.
Мы ближе к Нему,
когда мы в работе.

Безвестен Господь –
свершенья несметны.
Мы ближе к Нему,
когда незаметны.

Улыбка Творца –
в сотворённой природе.
Мы ближе к Нему,
когда мы уходим.

Текут поколения
жизни земной...
А сам Он со всеми,
поскольку – Связной.

ЯГОДКА

Виктору Енютину

В лес по ягоды ходили мы гурьбою.
Выросла – пошла с одним тобою.
Глядь, одна – по ягодку, по внучку –
еду на автобусе в Холон.
Достаю из сумки авторучку –
колыбельные берут меня в полон.

Кто у нас – то в розовом, то в красном –
в центре мира, на лугу матрасном?
Привыкаем к чуду понемногу.
Дом телячьей нежностью пропах.

На пути обратном всю дорогу
ягодка моя стоит в глазах.

Припасённая судьбою милость,
новая любовь пришла, явилась.
Здравствуй, ягодка, улыбчивая крошка!
Бабкиной души негородской
переполнено закатное лукошко,
и шумят берёзы над рекой.

* * *

Отпустила душу суета.
Заболела я – и всё мне можно:
не работать, не идти на рынок,
вообще не думать о делах!

Можно просто наслаждаться жизнью,
пусть глотать ее довольно больно.
Можно молча на холмы глядеть,
нынче солнце вспомнило про нас.

Можно почитать, послушать музыку,
повалиться на диване перед ящиком.
Если столько радости в болезни,
то легко представить счастье смерти...

* * *

Остатки женского азарта,
обрывки глупых сладких снов...
Мимозы в день 8 Марта
я получаю от холмов.

Мой муж далёкий, мой товарищ!
Твой дар прекрасней и грустней.
Ты одиночество мне даришь
от имени судьбы моей.

* * *

Автобус в гору ползёт.
Читает псалмы соседка моя.
Я строчки верчу в уме.

Каждый занят делом своим.
В окнах – Иерусалим.
И вдруг – сирена.

День памяти жертв Катастрофы сегодня.
Автобус остановился.
Пассажиры встали.

Ревёт сирена почти равнодушная.
А время застыло, как человек,
и прячет лицо непослушное...

* * *

Пожилая ухоженная женщина
в тёмных очках.
Завитые каштановые волосы,
накрашенные губы.
На запястье,
усыпанном пятнами старости, –
изогнутый серебряный браслет.

Туфли на каблучке.
Никому и в голову не приходит
уступить ей место.
Из кармана льняного жакета
торжествующе молодо
торчит кошелёк.

Как на пальце сверкает рубин!
На спине замечаю белую нитку.
Значит, есть у нее поклонник,
и он – блондин...

* * *

Слаб мой голос, и легко его сорвать.
Как бы мне про птицу не соврать,
севшую вблизи, чтоб разрывать
сердце песенкой тончайшею – под стать
клювику тончайшему...

О, побудь со мной, певунья, задержись!
Суетное горе, отвяжись!

Незабываема тропка бездельная,
незабываема песня предельная,
незабываема жизнь.

* * *

Глаз да глаз
за этими стрелками,
а особенно – за минутной.
Закусила она удила.
Если глаз с неё не спускать,
то хитрит,
почти на месте стоит.
Но ведь надо делать дела!

Отвернёшься, скажем, к плите,
сготовишь поесть,
снова глянешь со страхом:
ну да, так и есть –
за пятнадцать минут
целый час пролетел!
Безобразию этому как
положить предел?

На часы не смотреть?
Суетиться не сметь?
Наплевать на мечты,
на смерть?..

Хорошо бы последовать
гордым советам.
От любви и печали
дрожат весы.

Потяну я с ответом,
потяну я с ответом,
погляжу на часы...

* * *

Ты был на сцене. Я сидела в зале.
Я выбрала нарочно первый ряд.
Ничьих не вызывая подозрений,
фотографировала всех подряд...
И вдруг твой нежный, твой бесстрашный взгляд.

Его я объективом не поймала.
Поймала сердцем. Вспыхнуло оно
беззвучно, и при свете вспышки
событие века запечатлено.

* * *

Приехал ты. Замру женою Лота.
Часы мои остановились отчего-то.

В них кончилась, наверно, батарейка.
Жаль, рифма вроде ни к чему – еврейка...

Ну вот и повидались снова мы.
Кусочек лета посреди зимы.

Спасибо за погоду небесам.
С тобою не привычна к чудесам.

Уехал ты. Я не забуду взгляда.
А батарейку новую поставить надо.

Щедрее с каждым годом жизнь-жестянка.
Жаль, рифма ни к чему – израильтянка...

МАРЬИНА РОЩА

1

...И пронеслась воробьиная стая,
и разгорелся в душе кураж,
и поднялась я, сомненья сметая,
на незабвенный пятый этаж.

Люди простые, люди чужие
лепет мой выслушали всерьёз.
Что ж, посмотрите, ежели жили...
Вот и взираю – спокойно, без слёз.

Всюду одни незнакомые вещи.
Запах еды, а не запах беды.
Нет ни обломков, ни даже трещин.
Рухнула жизнь, и пропали следы.

Но проявились передо мною
линии, стены, углы, объём...
Здравствуй, пространство, до боли родное,
здравствуй, мой бывший московский дом!

Здесь от себя ждала я чуда –
и дождалась я сына тогда.
Мы проводили папку отсюда.
Бабушку – тоже, её – навсегда.

Здесь я стихи сочиняла от боли.
Вирус тоски прямо в сердце проник.
Здесь я на годы вперед поневоле
сделала другом своим дневник.

Здесь этот мир научилась прощать я.
Здесь я звонка по утрам ждала.
Здесь умереть захотелось от счастья,
здесь я от горя не умерла.

2

...Сын мой – подросток. И вдруг всё сместилось
Что это было в ту пору с нами?
Силы таинственной гнев или милость?
Землетрясение, торнадо, цунами?

Нас подняло, понесло, закрутило...
Нет, не пошли мы с чадом ко дну.
Неимоверная странная сила
перенесла нас в другую страну.

Нынче мы тихо – впрочем, не очень
тихо, но всё же привычно – живём.
Есть у меня мои дни и ночи,
поздний мой друг и рассветный дом.

Нынче компьютер, а вовсе не ручка
нянчить слова помогает мне.
Есть у меня курчавая внучка,
новая страсть моя на земле.

Ерушалаим, семейство родное,
летнее пекло, зимний гром...
...Выплыли снова передо мною
линии, стены, углы, объём.

Благословенно всё, что случилось,
благословенно жизни стекло!..
Раня меня, пространство светилось –
время моё из него утекло.

Благословенны добрые люди,
в бездну мне давшие посмотреть,
благословенно всё, что будет,
благословенна грядущая смерть.

В небе московском – тающий росчерк,
что-то беззвучное он таит...
В Марьиной роще, где люди попроще,
пятиэтажка моя стоит.

Владимир Фромел

*ЧАША ПОЛЫНИ**

— Что это такое: десять веков за это воюют десять народов — а кто победит, тому достанется ложе из репейника и чаша полыни?

В. Жаботинский. Самсон Назорей

Конфронтация продолжается

«Когда ты почувствовал себя вождем?» — спросил Бен-Гуриона в старости близкий товарищ. Старик пожал плечами и ответил: «Когда я вдруг увидел, что мне некому задавать вопросы».

Вождя создают две вещи: характер и успех. Характер есть у того, кто живет и действует в четкой сфере устоявшихся представлений об окружающих реалиях, полностью отождествляя себя с ними и не впадая в противоречие со своими воззрениями и чувствами. Согласно этим критериям, Бен-Гурион обладал сильным характером, хотя ему совершенно не подходил героический ореол. Но герои ведь выбираются из тех лучших, которые есть.

Успех же пришел, когда он в неудержимом порыве втянул свою партию в рискованную игру с высокими ставками. Внушительная победа на выборах в Сионистский конгресс сделала его не только единоличным вождем Палестинской рабочей партии, но и лидером рабочего крыла в сионистском движении. Сам он осознал это не сразу и очень удивился, когда его появление на трибуне XVIII конгресса было встречено бурной овацией. Без особого энтузиазма воспринял он и свое избрание в правление Всемирной сионистской организации. А вот то, что товарищи по партии стали вдруг относиться к нему с большей почтительностью, ему понравилось.

Улучшились и бытовые условия. В его тель-авивской квартире появился телефон — предмет роскоши в те времена. Руководство Хаганы выделило ему специального телохранителя — высокого и широкоплечего. Рядом с ним Бен-Гурион казался совсем маленьким, но его это не смущало.

Из Германии тем временем продолжали поступать тревожные вести. Надо было срочно спасать немецких евреев. Удавка на их горле медленно затягивалась. Гитлер предпочитал осуществлять свои губительные планы хоть и не спеша, но основательно. Все могло измениться к худшему в любую минуту.

Бен-Гурион понимал, какую роковую важность приобретает фактор времени. Необходимо было энергично действовать, пока ловушка, в которой они оказались, не захлопнулась окончательно. И он буквально подверг осаде мандатную администрацию.

Верховный комиссар сэр Артур Ваучоп по складу своего характера был не в состоянии противостоять его натиску. Этот добрей-

* Главы из романа. Журнальный вариант. См. также ИЖ №№ 30, 35.

ший человек гордился своим беспристрастием, что вполне согласовывалось с его мягким нравом и культурой образованного британского аристократа.

Навязчивой манией сэра Ваучопа была идея справедливости. Он видел в ней стержень, на котором держится мироздание, и считал своей первейшей обязанностью защищать ее при любых обстоятельствах. Эта защита поглощала его целиком, как других поглощают чувственные удовольствия или страсть к азартным играм.

Бен-Гурион вихрем врывается в его канцелярию с папками, отчетами и диаграммами. Добрейший сэр Ваучоп, понимая, что сейчас произойдет, смотрел на него, как кролик на удава. Сертификаты на иммиграцию британские власти выдавали в соответствии с «экономической емкостью страны». Бен-Гурион умел растягивать эту емкость до фантастических пределов. О занятости и трудоустройстве он знал все. Он обрушивал на сэра Ваучопа каскад цифр и аргументов и обычно добивался своего. Не сразу и не всегда, но Верховный комиссар все же увеличивал иммиграционную квоту.

С 1932 по 1935 год английские мандатные власти почти не ограничивали поток иммигрантов. Потом ситуация постепенно изменилась к худшему. Но главное было сделано. Еврейское население Палестины, едва достигавшее в 1922 году 84 тысяч человек, к 1937 году увеличилось почти в пять раз.

«Этого мало, – утверждал Бен-Гурион. – Грядет великая война, и численность еврейского населения ко дню ее начала может определить нашу судьбу в послевоенный период». Он не уставал повторять, что еврейский народ находится на марше к своему государству. Но и он не предполагал тогда, какую страшную цену придется за это заплатить.

До начала великой войны оставалось еще целых пять лет. Поток иммигрантов не иссякал. Бен-Гурион помнил, как массовая иммиграция двадцатых годов поставила под угрозу сами основы сионизма, и позаботился о том, чтобы устройство тысяч новоприбывших производилось упорядочено. При этом хоть и возникали небольшие очаги безработицы, ситуация не выходила из-под контроля.

Иммиграция в Палестину оказалась наиболее действенным способом решения еврейской проблемы в канун Катастрофы. Но к сожалению, лишь немногие из обреченных успели им воспользоваться.

Прибытие в Хайфу или в Яффо судна с евреями из Европы было волнующим зрелищем. Завидев берег, люди смертельно бледнели, как бы осознав вдруг, какой опасности они избежали, а потом разражались долгими криками восторга. Взявшись за руки, они начинали петь псалмы или песни на идише, голоса их сливались в единый мощный хор и возносились к небесам.

«Сион! Сион! Иерусалим!» – кричали они с совершенно неистовым воодушевлением.

Свидетели подобных сцен ощущали с необычайной силой, что дух народа-скитальца несокрушим и что национальное чувство является высочайшим выражением его неистребимой сути.

Арабы, разумеется, смотрели на все это с ужасом. Они считали, что евреи своими дьявольскими кознями отнимают у них Палестину.

В те годы самым близким Бен-Гуриону человеком был Берл Кацнельсон. Судьба редко связывала людей столь противоположных друг другу и по характеру, и по внешнему облику. От личности Бен-Гуриона веяло повелительно-мужественной энергией. Этот воинственный, упрямый и решительный человек никогда не отступался от того, что однажды понял и принял. Каждое его действие вырастало из самой его сущности.

Личность Берла Кацнельсона расплывчата и как бы окрашена в пастельные тона. Этот мягкий, уравновешенный скептик, мыслитель и созерцатель, внутренне отталкивавшийся от любого политического действия, обладал редкостным обаянием. Его любили даже политические противники.

Бен-Гурион обожал Берла, чьи взгляд и голос оказывали на него чарующее действие.

Почему этих столь разных людей так тянуло друг к другу? Возможно, потому, что их конечные цели совпадали. А возможно, их дружба объяснялась тем, что уравновешенный и спокойный Кацнельсон часто бывал благодатным тормозом для взрывчатого темпераментного Бен-Гуриона.

Пройдут годы, и гармония их отношений будет нарушена. В 1937 году британская администрация выступит с планом раздела Палестины и создания на ее территории двух государств: арабского и еврейского. По этому плану еврейское государство должно будет включать Галилею, Изрезьскую долину и прибрежную низменность. Большая часть территории исторического «библейского» Израиля – даже Иерусалим с Хевроном – окажется, таким образом, за его пределами.

Между друзьями вспыхнет яростный спор. Они как бы поменяются ролями. Кацнельсон станет со всей пристрастностью отстаивать свое кредо: все или ничего.

«Родина едина и неделима, и да не поднимется на нее еврейская рука, – не устанет он писать и говорить. – В чем сущность нашей любви к родине? Быть может, это физическая связь с землей, по которой мы ходили с дней нашего детства? Или радость, которую мы испытываем при виде чудесных цветов? Или воздух, которым мы дышим? Или ландшафт, с которым мы сроднились? Или незабываемые закаты? Нет и нет.

Наша любовь к родине выросла из Книги книг, всем сердцем срослись мы с ее стихами, с ее историческими именами. Мы любили абстрактную родину, мы вобрали ее в наши души, не расставались с ней во время всех своих скитаний. Этот абстрактный патриотизм превратился в могучую движущую силу».

Берл Кацнельсон не сможет даже представить себе еврейского государства без Иерусалима и Хеврона. Бен-Гурион же проявит себя прагматичным и дальновидным политиком, понимающим необходимость создания еврейского государства на условиях, продиктованных реалиями жизни.

Человек действия одержит верх над человеком мысли. Ход истории подтвердит правоту Бен-Гуриона. И все же не его железная логика, а кредо Берла Кацнельсона сохраняет и сегодня особого рода романтическую привлекательность.

* * *

Тем временем Бен-Гурион фактически объявил сторонников Жаботинского вне закона и открыто утверждал, что в борьбе с ними все средства хороши. Крайняя напряженность в отношениях между рабочими-социалистами и рабочими-ревизионистами то и дело приводила к столкновениям и вспышкам насилия. Самый значительный инцидент произошел в поселении Мигдал, в Галилее.

Там душной летней ночью вооруженные прутьями и досками активисты рабочей партии атаковали барак, где спали рабочие-ревизионисты. Началось настоящее побоище, сильно смахивающее на погром. Нападавшие с ревом били и топтали ошалевших спросонья людей, от неожиданности и страха утративших способность к сопротивлению. Некоторые из пострадавших попали в больницу.

Это было уж слишком. Бен-Гурион с его прагматичным умом понял, что дальнейшие внутренние раздоры лишь ослабят сионистское движение перед лицом нацистской угрозы. Об этом он и сообщил Берлу Кацнельсону, прогуливаясь с ним после напряженного рабочего дня по тель-авивской набережной. Уже начались мягкие сумерки, море словно застыло, и на берегу не было никого.

– Понимаешь, Берл, – сказал Бен-Гурион, – нет ничего более смешного и преступного, чем бороться конституционными средствами против силы, которая абсолютно антиконституционна. В нашей войне с ревизионистами невозможно ограничиваться нравоучениями. Ведь неприменение силы равнозначно ее отсутствию. Мы не можем проявить слабость. Это обошлось бы слишком дорого.

– Настоящая сила – это не насилие. Это то, что всегда добивается своего, – усмехнулся Кацнельсон. – Своего, заметь, а не чужого. Мы же в борьбе с ревизионистами зашли слишком далеко. Я бы сказал, перебрали по очкам. Мы забыли, что рабочие при любых обстоятельствах остаются рабочими, даже если они и придерживающиеся чуждой нам идеологии. Они такие же сионисты, как и мы.

– Не такие, – резко возразил Бен-Гурион. – Жаботинский хочет перенести сюда ущербное устройство отринутого нами мира. А я верю, что мы призваны указать путь к исправлению этого мира, создав особую модель этического социализма. Жаботинский тянет нас в прошлое, а надо смотреть в будущее.

– Будущее сионистской революции, как это ни парадоксально, находится в прошлом, – сказал Кацнельсон. – Ее главная особенность – это возвращение к исходной точке – к моменту рождения народа, к союзу с Богом, заключенному на Синае. Возвращаясь к этому союзу, превратившему кочевое племя пастухов в единую нацию, сионистская революция возвращает еврейскому народу те цели, которые он принял на себя в момент своего рождения.

– Это, Берл, может быть и умно, но только очень уж красиво, – вздохнул Бен-Гурион.

Некоторое время они шли молча. Кацнельсон энергично взмахивал в такт шагам тонкими, как жерди, руками.

– А Жаботинский – порядочный человек, – нарушил молчание Кацнельсон. – И напрасно мы вылили на него столько помоев. Я понимаю, конечно, что политика и этика не всегда совместимы, но все же можно было держаться в более приличных рамках.

– Да уж. Помнится, это ты в редакционной статье в «Даваре» назвал его ненавистником рабочего класса и лакеем буржуазии.

– А ты называл его Владимиром Гитлером, – отрезал Кацнельсон. Бен-Гурион пожал плечами, прибавив шаг.

– Но знаешь, что не дает мне покоя? – спросил Кацнельсон, тяжело дыша.

У него были слабые легкие, но Бен-Гурион на их совместных прогулках забывал об этом.

– Я ведь человек неглупый, образованный, говорят, даже талантливый. Как же так случилось, что я безоговорочно поверил в виновность ревизионистов, в то, что это они убили Виктора? Дело в том, что мой ум оказался заблокированным. Я был глух к аргументам и отказывался видеть очевидные факты. А все почему? Да потому что я стал носителем мифа о вине ревизионистов. А миф и истина несовместимы.

– Любая истина превращается в миф в сознании людей, ибо люди в состоянии постигать истину только на уровне мифов, – задумчиво произнес Бен-Гурион. – Ты, да и все мы поступали правильно. Миф невозможно разрушить, потому что это воображаемая величина. Фата Моргана. Борясь с ним, борешься с пустотой. Что же касается истины... Ты ведь читал Ренана? Он утверждал, что человек может обладать лишь частичной истиной, поскольку полная истина известна только Богу. Я, например, и сейчас считаю, что это Ставский с Розенблатом убили Арлозорова. И мне пока никто не доказал обратного. А вот насчет Жаботинского ты прав. Я больше не верю, что он способен поставить под угрозу нашу гегемонию в рабочем движении.

– Что ты думаешь о Рутенберге? – неожиданно спросил Кацнельсон.

Бен-Гурион даже остановился от удивления.

– Почему ты об этом спрашиваешь? Тебе ведь хорошо известно, что Рутенберг мой старый товарищ. И вообще, что я могу думать о человеке, который давно превратился в живую легенду? Дружит с Ротшильдом, Муссолини и Черчиллем. Создал Электрическую компанию и электрифицировал Палестину. Со всех точек зрения это личность выдающаяся, что и говорить. Сам Бог не разберет, социалист он или ревизионист. Но он превосходный инженер, великолепный организатор и один из немногих людей, которым я полностью доверяю. Вот только политик Рутенберг никудышный, но, слава Богу, он, кажется, бросил заниматься не своим делом.

Кацнельсон засмеялся. Он знал эту особенность Бен-Гуриона никогда не говорить о людях только хорошее.

– Я недавно был в Лондоне на лейбористской конференции, – сказал он. – Встретился там с Рутенбергом. Он хочет помирить тебя с Жаботинским – события в Европе обязывают прекратить внутренние распри. Мол, единый фронт и все прочее. Я обещал поговорить с тобой. Рутенберг не принадлежит ни к одной из партий, не вмешивается в политические дразги, не выступает на злобу дня. И вместе с тем он обладает влиянием и связями не только в Англии, но и в Америке. Он друг Жаботинского, да и твой тоже. Просто идеальная фигура для наведения мостов. Почему бы этим не воспользоваться?

– Если Рутенберг пригласит меня на встречу с Жаботинским, я приду, – ответил Бен-Гурион после недолгого молчания.

ГЛАВА ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕТАМОРФОЗАХ ОДНОГО ЕВРЕЯ

Террорист Петр

Рутенберга редко видели оживленным или просто веселым. Какая-то скрытая печаль не оставляла его. Он был из тех людей, незаурядность которых сразу бросается в глаза. Подтянутый и сдержанный, он не выносил вульгарности, и в его одежде всегда были заметны опрятность и вкус. У него были узкие, плотно сжатые губы, бесшумные, намеренно медлительные движения и голос низкий и ровный. За его скупой речью ощущалось холодное, но не отталкивающее внутреннее спокойствие. Волевой импульс сочетался в этом человеке с чувством самообладания. Силу и обаяние его ощущал каждый, кто с ним соприкасался.

Не избежал этого и Жаботинский. Летом 1915 года он встретился с Рутенбергом в Бриндизи для выработки плана создания еврейского легиона в составе британской армии. Тогда они и познакомились. Вот как описал его Жаботинский в своей книге «Слово о полку»:

Высокий, широкоплечий, плотно скроенный человек. В каждом движении и в каждом слове – отпечаток большой и угрюмой воли: я подозреваю, что он это знает и не любит забывать и тщательно следит, чтобы и другие об этом ни на минуту не забыли. Кто знает – может быть, так и надо. В сущности, общественный деятель всегда находится на сцене, и вряд ли ему полагается выступать без грима: я говорю, конечно, не о ложном гриме, а о том, какой действительно соответствует подлинной природе данного работника политической сцены. Но никакой грим не может скрыть того факта, что у человека добродушные глаза и совсем детская улыбка. Я понимаю, почему служащие Рутенберга и рабочие в Палестине повинуются ему как самодержцу, и любят его как родного.

Странная и загадочная судьба еврейства как бы воплотилась в этом человеке. Рутенберг жил в эпоху великих политических и социальных потрясений и каким-то образом всегда находился в эпицентре наиболее значимых событий.

Историки давно уже отметили сходство двух революций – французской и русской. Сходство, правда, чисто внешнее. Даже два века спустя французская революция, несмотря на все связанные с ней ужасы, продолжает хранить своеобразную привлекательность. Личности Робеспьера, Дантона и даже Фуше не утратили и сегодня своего ореола. Убогие же фигуры большевистских вождей не способны заворожить ничем. Даже масштабы их злодеяний не привлекают внимания к столь тусклым и ординарным характерам.

Зато отношение евреев к обеим революциям очень схоже. Все, что у них было, бросили евреи на революционный алтарь, не получив взамен того, о чем мечтали. Евреи отдавали революции всю свою душу, а их товарищи по борьбе требовали, чтобы прежде они вытравили из нее все еврейское. Ну а после того, как жертва была принесена, евреев беспощадно вытесняли из нового, созданного революцией порядка. Почему-то всегда выходило так, что в результате революций устанавливалось тираническое общество гораздо хуже того, которое было, и евреи страдали от этого в первую очередь.

Рутенберг долго шел по извилистым путям еврейства диаспоры, пока не отказался, наконец, служить чужим идолам.

Поразительны метаморфозы этой склонной к крайностям натуры. Его жизнь похожа на качели: туда-обратно, и снова туда-обратно.

Сначала он в ипостаси революционера Петра пытается преодолеть свои комплексы и обрести недостающие ему ценности. Из всех сил борется Петр за грядущее общество социальной справедливости, пока не обнаруживает вдруг, что революционная клоака отравлена миазмами резонерства и предательства. Осознав это, Петр совершает «переход Хаджи Мурата». Становится сионистом Пинхасом и обретает на какое-то время внутреннюю гармонию.

Но вот призывно звучат горны Февральской революции. Сионизм тут же забыт, и воскресший революционер бросается в Россию, чтобы включиться в отчаянную борьбу за безнадежное дело. Ну а после окончательного крушения революционных идеалов Петр вновь исчезает, и сионист Пинхас занимает его место – уже навсегда.

Для Рутенберга метания между Петром и Пинхасом означали нечто большее, чем просто выбор между русской и еврейской идентификацией. Проблема для него заключалась в том, что русским он хотел быть только на службе у революции, а евреем – только на службе у сионизма.

В конечном итоге мечтатель превратился в прагматика. Разочаровавшись в революциях, Рутенберг уже не верил никаким догмам, никаким учениям о лучезарном будущем. Но идеалист, утративший иллюзии, остался романтиком, защищавшим свой внутренний мир от любых посягательств. Может, поэтому никто не знает, каким был в действительности этот человек.

Он ценил картины Иеронима Босха. На полотнах этого художника ни разу не появляется конкретный дьявол с хвостом и рогами. Люди сами превращаются в мерзких и злобных тварей. Зло не приходит извне. Оно возникает в самих людях. Ад Босха существует не в нашем воображении. Ад – это мы сами.

На картинах Босха почти всегда есть где-то в самом верху миниатюрное изображение рая – смутного, далекого, непостижимого. Остальная же композиция – масштабная и жуткая – это адские владения, это наш мир.

* * *

Пинхас (Петр) Рутенберг родился 24 января 1878 года в городе Ромны Полтавской губернии, в семье купца второй гильдии Моше Рутенберга. Его мать была дочерью раввина Пинхаса Марголина из Кременчуга. Семья Рутенбергов пользовалась почетом и уважением у ромнинских евреев. Моше был достаточно богат, чтобы купить себе место в синагоге, и его не раз вызывали читать Тору. Он никогда не задумывался над устройством мироздания и искренне полагал, что Тора и Талмуд содержат все, что надлежит знать еврею.

А вот его сын Пинхас с детства отличался любознательностью, упрямством и беспокойным характером. Сначала он прилежно учился в хедере, но когда ему исполнилось одиннадцать лет, наотрез отказался туда ходить.

– Ноги моей там больше не будет, – сказал он отцу. – Эти бородастые козлы не в состоянии ответить ни на один из моих вопросов. Они только кричат на меня и обзывают шейгецом.

– А о чем же ты их спрашивал?

– О том, почему Всевышний повелевает в Торе истреблять целые народы вместе с женщинами и детьми. Дети-то в чем виноваты? Они ведь не успели согрешить.

– Не нам судить о намерениях Господа, строго сказал отец. – Что мы знаем о путях Его?

– Я не пойду больше в хедер, – упрямо сказал сын и выбежал из комнаты.

Пришлось отдать строптивца в реальное училище. Там обнаружилось, что мальчик обладает недюжинными способностями к математике и вообще к точным наукам. Достигнув совершеннолетия, он отправился в столицу и, с блеском преодолев процентную норму, поступил в Технологический институт.

Почти все высшие учебные заведения России были тогда рассадниками революционных идей. Студенческая молодежь копила яростную энергию протеста и косяком шла в революционные кружки. Вечерами молодые люди с буйными шевелюрами собирались где-нибудь на конспиративной квартире и в обществе строгих курсисток, успешно истребивших в себе все женственное, засиживались до утра. Пили чай с бубликами, яростно спорили, хлеща друг друга цитатами из Маркса и Кропоткина.

Пинхасу его новые друзья очень нравились. Сначала он примкнул к социал-демократам, но от их учения веяло дремучей скукой. К тому же Рутенберг никак не мог понять, за какие заслуги невежественный пролетариат должен определять пути общественного и социального развития человечества.

Его привлекают социалисты-революционеры, занятые не пустым теоретизированием, а настоящим делом. Рутенберг становится членом партии эсеров (партийная кличка – Мартын). Исчезает Пинхас и возникает Петр. Он меняет конспиративные квартиры. По его следам идут полицейские ищейки. Однажды Петр укрылся от разыскивавших его шпиков в публичном доме у девицы, женским чутьем угадавшей в странном своем «госте» затравленного, преследуемого человека. Она отнеслась к нему с сестринской нежностью, а он, поглощенный своими заботами, утративший чуткость сердца, оскорбил ее нравоучительной сентенцией, напомнив то, что ей хотелось бы забыть. Кончилось тем, что она вlepила резонерствующему террористу пощечину, а тот, поняв свою бестактность, поцеловал ей руку.

Этот эпизод из жизни Рутенберга стал канвой рассказа Леонида Андреева «Тьма». Писатель, правда, преподнес эту историю под своим соусом. У Андреева революционер, убедившись, что «падшая женщина» нравственно выше его, превращается в сутенера и подводит под своим героическим прошлым черту следующими словами: «Если нашими фонариками мы не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем во тьму».

Петр во тьму лезть отнюдь не собирался.

Наконец, его арестовывают и ссылают в Екатеринослав. Однако уже осенью 1900 года ему разрешают вернуться в столицу и восстанавливают в институте.

Тогда же он знакомится с Ольгой Хоменко, женщиной хоть и эмансипированной, но не имеющей ничего общего с мужеподобными курсистками. Ольга владела издательством «Библиотека для всех», выпускавшим просветительскую литературу, читала Лаврова и Кропоткина, знала, что такое скорость света и геометрическая прогрессия, жертвовала деньги на революционные нужды и симпатизировала эсерам. Ее манил и очаровывал загадочный мир эмоциональной напряженности, хотя сама она была человеком мягким и добрым, ненавидящим насилие во всех его ипостасях. Она считала, что мир спасет просвещение.

Ольга влюбилась в Петра: женщин вообще привлекают сильные мужчины, способные на все. Он же, не имевший опыта общения с женщинами, был очарован ее умом и обаянием. К тому же, рано оторванный от семьи, он нашел в ней материнское начало, в котором так нуждался. Ольга была старше Петра на семь лет.

И он женился, хотя по законам Российской империи для этого ему пришлось стать выкrestом. Впрочем, ему, революционеру, это было неважно. Он пошел на этот шаг с легкостью – не задумываясь над тем, что отречение от веры отцов есть акт предательства.

Почти девять лет длился их брак. Начало, как известно, прекрасно всегда, и первые годы их семейной жизни были счастливыми. Они умели ценить маленькие человеческие печали и радости. Но возникшая между ними душевная близость так и не смогла окрепнуть из-за рутины жизни. Постепенно они стали чужими друг другу, и, с головой уйдя в революционную работу, он оставил Ольгу не смотря на то, что она родила ему троих детей.

Еще одну робкую попытку обзавестись семьей он сделает спустя много лет в Палестине, но умрет в одиночестве. Ни одной близкой души не окажется рядом с ним в смертный час.

Вот что он сам писал о своей революционной молодости в брошюре «Национальное возрождение еврейского народа», изданной в 1915 году в Америке под псевдонимом Пинхас Бен-Ами:

«Как и большинство еврейской учащейся молодежи моего поколения, вышедшей из черты оседлости, мне приходилось преодолевать процентную норму, чтобы добиться высшего образования и права на жительство в столице. И вот, окунувшись в жизнь большого города, оторванный от семьи, я обнаружил внутреннюю потребность, которая росла и ширилась во мне с детства еще там, в еврейском “гетто”, – потребность протеста и борьбы против угнетения. И тогда я присоединился к лагерю русских революционеров и служил ему верой и правдой.

Русская литература, наука, искусство, музыка раскрыли передо мной всю глубину страданий русского народа. Еврейское же страдание было в них затушено или вовсе отсутствовало. Отдаляясь от него, я все менее и менее слышал его голос, все менее и менее наблюдал его. На тогдашнего меня влияло и время, и космополитические круги, в которых я вращался. И я сделался русским интеллигентом, идеологом русского пролетариата, борющимся за свободу русского народа, за его культуру.

Постепенно я освобождался от этого влияния подобно многим соотечественникам – представителям моего многострадального народа, – пока не избавился, наконец, полностью и окончательно».

* * *

Пройдут годы. Он станет сионистом, вытравит из себя Петра и превратится в Пинхаса. Он будет жить в солнечной Италии и пользоваться неизменным уважением – не только в еврейских кругах. Но память о том, что он когда-то предал свой народ, будет мучить его, как зубная боль.

И наступит день, когда он придет к главному раввину Флоренции и скажет:

– Рабби, я впал в грех дурного влечения, отрекся от веры отцов, убивал людей. Меня следует вырвать из нивы, как поганный плевел.

– Это наказание не в человеческой власти, грешник, оно в руке Господа, – ответит раввин.

– Но может ли такой великий грешник, как я, надеяться на прощение?

– Если ты, грешник, примешь на себя сорок ударов бичом, то Господь смилостивится. Но об этом наказании ты должен просить.

– Рабби, я прошу об этом как о милости.

Согласно древнему обычаю, Рутенберг подвергнется бичеванию на пороге флорентийской синагоги, и евреи в торжественном молчании будут наблюдать за наказанием отступника.

Тридцать девять ударов бичом нанесет ему экзекутор, ибо гласит Закон, что удары свыше этого числа могут привести «к посрамлению брата твоего пред очами твоими».

Но даже после этого ритуального очищения революционеру Петру еще предстояло воскреснуть.

Террорист Петр и поп Гапон

Начало 1905 года не сулило российской самодержавной власти ничего хорошего. Кровь русских солдат все еще лилась на сопках Манчжурии. В городах росло стачечное движение. Ширились крестьянские волнения. В столице империи тяга фабрично-заводских рабочих к организованным формам борьбы за лучшие условия жизни особенно бросалась в глаза.

Начальник департамента полиции в Санкт-Петербурге Сергей Васильевич Зубатов хотел контролировать этот процесс. В молодости Зубатов был вольнодумцем, но, основательно проштудировав работы теоретиков насильственного переустройства общества, пришел к выводу, что их лживые доктрины могут привести лишь к хаосу, террору и дальнейшему обнищанию народа. Поняв это, он порвал связи с революционерами, поступил на службу в полицию и повел энергичную борьбу с бывшими единомышленниками. Зубатов был грозным противником, ибо хорошо разбирался в психологии и методах тех, кто готовил блюда на революционной кухне.

Азеф был его креатурой. Так что он прекрасно знал, кто дирижирует радикальным террором, составляющим стержень маленькой ультрареволюционной партии неисправимых утопистов, безалаберных авантюристов и «сентиментального зверья» – по выражению того же Зубатова.

Еще в 1902 году Зубатов обратил внимание на выпускника Петербургской духовной академии Георгия Гапона. Как раз тогда Зубатов занимался созданием подконтрольных полиции рабочих профсоюзов. Оценив организационный талант Гапона, он предложил ему принять участие в этой работе. Гапон согласился – хоть и не сразу. На Гапона вылило столько ушатов грязи, что добела его, конечно, не отмоешь, да и не нужно. Но он все же был мало похож на ту безнадежно унылую и мрачную фигуру одиозного злодея, которую историки успешно внедрили в общественное сознание.

В начале своего трагического пути Гапон был подвижником-идеалистом, другом всех «униженных и оскорбленных». Он заботился о «сырых, больных и убогих» – обо всех «нищих духом», особенно о рабочих, которым искренне хотел помочь. Зубатов пробудил в Гапоне честолюбца и тем самым создал голема, быстро вышедшего из-под контроля. Когда в 1903 году министр внутренних дел Плеве, не разделявший воззрений Зубатова, отправил его в отставку, Гапон воспользовался этим, чтобы освободиться из-под опеки полиции.

В феврале 1904 года тот же Плеве утвердил написанный Гапоном устав «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» и таким образом поставил его во главе самого крупного профсоюза России. Вот тогда-то Гапон и почувствовал себя народным вождем. И, хотя формально профсоюз концентрировался на делах просветительских, Гапон расширил сферу его деятельности, создав внутри него тайный кружок для социально-реформаторских и политических занятий.

Профсоюз рос, ширилось его влияние. К началу 1905-го он насчитывал уже свыше двадцати тысяч рабочих. Соответственно, росли и становились все более радикальными взгляды и амбиции Гапона.

Этот нервный экспансивный человек с выразительными темными глазами был до предела заряжен энергией. Уже одна его внешность безотказно действовала на воображение: стройный тридцатилетний священник с задумчиво-меланхоличным лицом, окаймленным темной бородкой, нравился решительно всем.

Мастером риторики он никогда не был, но умел разговаривать с рабочими, понимал их нужды, ни разу не призвал их к сотрудничеству с властями. Было известно, что раньше он находился в связи с Зубатовым, но никто не ставил ему этого в вину. Слишком уж независимо Гапон держался. Люди, хорошо его знавшие, отмечали, что он обладал редким темпераментом и фантастической верой в свое призвание. Кроме всего прочего, Гапон производил то самое магическое воздействие на толпу, природа которого по сей день остается загадкой.

Ему верили слепо, без рассуждений, по одному его слову тысячи рабочих готовы были идти на смерть. И поразительно, что не только рабочие, но и выдавшие виды политические эмигранты, опытные конспираторы, которых не упрекнешь в недостатке интеллекта, с легкостью попадали под его влияние. Остается добавить, что он был доверчив, хранил верность жене и не проявлял никакой жадности к деньгам. Когда они были – раздавал всем, кто просил.

Разумеется, есть и другая сторона медали.

Гапон был человеком, сжигаемым внутренней лихорадкой особого рода, визионером и фантастом во всем, даже в предательстве. По жизни он летел, как гоголевская птица-тройка. Розанов писал,

что если Гапон и был негодяем – то с «огненным ликом». Идеи Зубатова, а потом и Рутенберга он воспринимал чисто эклектически и разделял их только для виду. Он думал, что использует своих покровителей себе во благо, на самом деле это они использовали его. Он был авантюристом по натуре и азартным игроком, этот «красный поп» с горячим характером и сумбурной головой. И он проиграл все, включая жизнь, в сложной игре, где его противниками были прожженные политические шулера. В конечном счете судьбу Гапона предопределило болезненное честолюбие. Его, по всей вероятности, искренняя привязанность к рабочим и забота об их благополучии не могли изменить этого факта. Ничто не могло избавить этого человека от тщеславия, ставшего его роковой болезнью.

В глубине души планы Гапона простирались очень далеко. Вплоть до бунта народных масс и свержения царя под его предводительством. А потом... А потом почему бы рабочим не короновать его, Гапона? Чем черт не шутит?

В лихорадочном своем состоянии, близком к безумию, видел он себя основателем новой династии в России...

Журналист-просветитель и общественный деятель Владимир Поссе записал свою беседу с Гапоном вскоре после Кровавого воскресенья. В комментариях эта запись не нуждается:

– На что же вы рассчитывали, – спросил я, – когда 9 января вели рабочих на Дворцовую площадь к царю?

– На что? А вот на что! Если бы царь принял нашу делегацию, я упал бы перед ним на колени и убедил бы его при мне же написать указ об амнистии всех политических. Мы бы вышли с царем на балкон, я прочел бы народу указ. Общее ликование. С этого момента я – первый советник царя и фактический правитель России. Начал бы строить Царство Божье на земле...

– Ну, а если бы царь не согласился?

– Согласился бы. Вы знаете, я умею передавать другим свои желания.

– Ну, а все же если бы не согласился?

– Что же? Тогда было бы то же, что и при отказе принять делегацию. Всеобщее восстание и я во главе его.

Немного помолчав, он лукаво улыбнулся и сказал:

– Чем династия Готорпов (Романовых) лучше династии Гапонов? Готорпы – династия Гольштинская. Гапоны – хохлацкая. Пора в России быть мужицкому царю, а во мне течет кровь чисто мужицкая, притом хохлацкая.

Ну что ж, случай с Распутиным показал, что такое завихрение в российской истории вполне могло произойти...

* * *

Если Зубатов создал Гапона, то Гапон создал Рутенберга как значимую фигуру в революционном движении. Один немыслим без другого, как Голем немыслим без пражского каббалиста Махарала. До своей дружбы с Гапоном Рутенберг был всего лишь рядовым членом эсеровской партии. Близость к «красному попу» ввела его в узкий круг террористического олимпа, известного как БО – Боевая организация.

Это была группа людей, спаянная железной дисциплиной, герметически замкнутая и абсолютно самостоятельная. Политические лидеры партии – Чернов, Гоц и другие – лишь выносили приговор какому-нибудь царскому сановнику. Все остальное было делом БО. Евно Азеф (бессменный руководитель БО) и Борис Савинков (его заместитель) сами вырабатывали план операции, сами подбирали исполнителей – потому в числе боевиков оказался, например, Иван Каляев, по кличке «поэт», друг детства Савинкова.

Никто не имел права совать нос в дела БО, не признававшей никакого контроля.

– Какой уж там контроль при такой конспирации? – изумлялся Азеф. – Мне не доверяют, что ли?

Ему еще как доверяли...

Именно эта бесконтрольность привела к тому, что во главе БО стоял провокатор, не только получавший жалованье в полиции, но и пользовавшийся партийной кассой как своим кошельком. Шестнадцать лет Евно Азеф водил за нос и царскую охранку, и революционеров.

Метод его работы был прост и эффективен.

Громкие теракты он ставил, как режиссер – спектакли, чтобы они непременно удались. Эти с дьявольской изобретательностью организованные убийства страховали его от подозрений революционеров, которые лишь смеялись, когда слышали обвинения в адрес Азефа:

– Как можно обвинять в провокации человека, который на наших глазах чуть только не собственными руками убил министра внутренних дел и великого князя?! – возмущался Савинков.

Другой ряд терактов Азеф своевременно раскрывал департаменту полиции, чтобы и там не было никаких подозрений. Минус накладывался на минус и получался плюс. Не придерешься. Обе стороны ему слепо верили.

Существуют два списка. Один из них, составленный Борисом Савинковым в защиту своего «вождя и брата», включает имена жертв двадцати пяти организованных Азефом политических убийств и заканчивается многозначительными буквами «и т. д.».

В другой список, более длинный, вошли революционеры, выданные Азефом полиции. В нем свыше ста имен. Список неполон, буквы в нем расплылись, потускнели, и уже нет возможности с точностью установить, сколько революционеров было казнено, а сколько сгинуло в горниле царской каторги.

Много лет пополнял Азеф два этих жутких списка. Но положение его со временем ухудшилось. Провалы конспиративных ячеек объяснять становилось все труднее. Он должен был напрягать все силы для соблюдения наиболее благоприятной для себя пропорции выданных и убитых людей...

В эсеровскую партию Рутенберг вступил под влиянием Савинкова, которого он хорошо знал еще со студенческих времен. Это Савинков, используя свои связи, устроил Рутенберга младшим инженером на Путиловский завод, где он вскоре стал начальником инструментальной мастерской. На заводе трудились свыше двенадцати тысяч рабочих, многие из которых проявляли политическую активность и были членами гапоновского профсоюза.

Посетив несколько раз рабочие собрания, на которых выступал Гапон – всегда по какому-нибудь конкретному делу, – Рутенберг проникся искренней симпатией к этому темпераментному радетелю за права рабочих. Гапону же явно импонировало внимание такого человека, как Рутенберг. Вскоре они настолько сблизились, что почти не расставались. Рутенберг тенью следовал за Гапоном.

Правда, делал он это не столько «по велению сердца», сколько по заданию партии. Лидеры эсеров уже давно обратили внимание на «красного попа» и подумывали о том, чтобы использовать его популярность среди рабочих в своих целях. Савинков регулярно получал от Рутенберга информацию обо всех начинаниях Гапона.

А Гапона несло, как на гребне большой волны. Война России с Японией усугубила и без того тяжелое положение рабочих. Из них выжимали последние соки. За малейшую провинность штрафовали или выбрасывали за заводские ворота. Скудного жалованья не хватало на содержание семьи.

Гапон убеждал рабочих, что царь – это отец родной. Просто он не знает об их тяжелой доле. Трон окружен корыстолюбцами и лжецами, скрывающими от него правду.

С маниакальной настойчивостью готовил Гапон мирное шествие рабочих к Зимнему Дворцу, чтобы вручить государю петицию о страданиях народа.

События ускорил инцидент на Балтийском заводе, где администрация уволила четырех рабочих – членов гапоновского профсоюза. Рабочие в ответ забастовали.

Пятого января Рутенберг пришел на завод, как всегда, к семи часам утра. Зашел в ремонтный цех железнодорожной мастерской. Цех молчал. У токарных станков лежали груды стружки. Пахло затхлостью и мазутом. У гидравлического пресса возился рабочий.

– Где люди? – отрывисто спросил Рутенберг.

– На митинге у конторы, – равнодушно ответил рабочий.

Рутенберг направился к конторе. Там, на заводском дворе, уже собрались сотни людей. День выдался морозный, ветреный. Все озябли, но стоят неподвижно. Ждут Гапона.

– Идет! Идет! – раздались крики. Гапон прошел по живому коридору быстрым шагом, подняв воротник мехового пальто. Рутенберг поспешил вслед, крепко сжимая в кармане револьвер. Мало ли что.

– Кати сюда бочку! – кричит один активист. Сильные руки переворачивают бочку вверх дном и ставят на нее Гапона. Теперь он возвышается над возбужденной толпой. Сбрасывает пальто, и все видят крест на его груди. Вот он – истинный защитник простого народа.

– Братья, – говорит Гапон, – мы пойдем к царю, и будь что будет.

– А если в нас начнут стрелять? – спрашивает кто-то.

Толпа замирает в ожидании ответа. Гапон пожимает плечами.

– Не думаю, – отвечает он. – Но даже если такое и произойдет, что с этого? Свобода – такой цветок, который не расцветет до тех пор, пока земля не будет полита кровью. Или вы боитесь?

– Не боимся, святой отец! Веди нас! С тобой мы на все готовы! – гудит толпа.

В тот же день вечером Рутенберг встретился с Савинковым в трактире на Французской улице. Здесь всегдалюдно, душно, накурено. Без перерыва крутит хриплые мелодии музыкальный ящик.

Публика – самая разношерстная: извозчики, студенты, рабочие, мелкие чиновники, проститутки, уличные торговцы. Гул стоит такой, что в двух шагах ничего не разобрать. Поэтому и выбрал это место Савинков. Здесь никто не бросается в глаза.

Он занял угловой столик, сел лицом к дверям.

Неподвижное алебастровое лицо Савинкова хорошо сочеталось с серо-зелеными глазами, хранившими далекое выражение фаталистической отчужденности. У него были маленькие изящные руки и непринужденные, исполненные достоинства манеры. Это отмечали все, кто его знал.

Всю свою жизнь он был конспиратором, не верящим в Бога, презирающим нравственные законы, предписываемые людьми. Ему были неведомы ни страх, ни жалость. Он был и охотником, и дичью одновременно.

Но была у него своя отрада. Он служил делу освобождения России от тирании. Для этой цели он был готов перенести любые лишения, перетерпеть любые муки. В первую половину своей недолгой жизни он боролся против царской деспотии. Вторую же половину посвятил борьбе с деспотией большевиков. Ленин в его глазах был таким же тираном, как и царь. И он не прекращал сражаться – часто в одиночестве – против штыков, застенков, тайных агентов, тюремщиков и палачей.

Вся его террористическая деятельность была в главной своей метафизической сути постановкой каких-то лично ему необходимых опытов смерти. Если он и был чем-то захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением в ее таинственную бездну. Его судьба была давно предreshена. Впереди маячила неминуемая гибель. Савинков знал это, но ничто не могло сбить его с взятого еще в юности курса. Он всегда следовал одной-единственной звезде, но эта звезда была кровавой.

Увидев Рутенберга, Савинков улыбнулся одними губами.

– Хочешь выпить чего-нибудь? В такую погоду это нелишне.

– Водочки, пожалуй, – сказал Рутенберг, садясь напротив него.

– Голубушка, – обратился Савинков к обслуживающей девице, полногрудой, с ленивыми глазами, – ты уж поухаживай за нами. Графинчик водочки, пожалуйста, и что-нибудь такое – на твоё усмотрение.

– У меня важные новости, – сказал Рутенберг.

– Валий.

– Гапон наэлектризовал рабочих. В воскресенье они двинутся к Зимнему Дворцу, чтобы вручить царю петицию. Их уже ничто не остановит. Демонстрация должна быть мирной с образами и хоругвями.

– Ты эту петицию видел?

– Я сам ее составлял.

– Ты включил в нее политические требования?

– Еще какие! О созыве Учредительного собрания, об амнистии всех политических заключенных, об отмене налогов, и даже о прямой отчетности царя перед народом. Царя кондрашка хватит.

– Тогда это не петиция даже, а революционный ультиматум, – усмехнулся Савинков и наполнил рюмки. – За успех обреченного дела.

– Почему обреченного? – удивился Рутенберг.

– Потому что демонстрацию расстреляют. Такая петиция – это ведь провокация. Как пить дать расстреляют. Ну и прекрасно. Если не поливать кровью рабов ростки свободы – они усохнут.

– Да, но позволяет ли такое революционная этика? – Рутенберг осторожно поставил на край стола пустую рюмку.

– Ты это серьезно? – удивился Савинков. – Не существует революционной этики. Если вообще можно убить человека, то безразлично, кого и по каким мотивам. Почему, например, министра убить можно, а мужа своей любовницы нельзя? Поэтому мы, революционеры, никого не убиваем. Когда нужно кого-то убить, убивает партия, убивает БО, а не я или ты. Думаю, что ты даже не представляешь, какую взрывчатую смесь готовит твой поп. Она может разнести всю империю. Все остальное не имеет значения. Это настолько важно, что инструкции тебе даст сам Иван Николаевич.

Встретив вопросительный взгляд Рутенберга, Савинков пояснил:

– Иван Николаевич – это наш шеф, товарищ Азеф. Мое предложение кооптировать тебя в БО одобрено, так что тебе уже можно это знать. Да вот и он сам.

У их столика неизвестно откуда возник человек толстый, грубый, с одутловатым тяжелым лицом и вывороченными губами. Глаза у него были темные, глубокие. Казалось, что в них нет зрачков. Он кивнул Савинкову и сел, не глядя на Рутенберга.

– В воскресенье состоится демонстрация рабочих. Гапон поведет их к Зимнему дворцу, – сообщил Савинков.

– А Мартын свою задачу знает? – Азеф все еще не смотрел на Рутенберга. Голос у него был неприятный, гнусавый.

– Я буду рядом с Гапоном, – сказал Рутенберг, успевший оправиться от чувства неловкости.

– Очень хорошо, товарищ Мартын, – впервые скользнул по нему взглядом Азеф. – Скажите, у вас есть револьвер?

– Да, он всегда со мной.

– Ну и замечательно.

Лицо Азефа приняло сонное выражение, он помолчал и произнес, лениво растягивая слова:

– Если царь все же выйдет к народу, то убейте его.

* * *

Заводской двор не вмещал и сотой доли собравшегося люда. Сплошная человеческая масса заполнила все прилегающие кварталы. Бурлило и волновалось живое море.

Гапон стоял в гуще толпы, бледный, растерянный, сомневающийся. Подошел Рутенберг, как всегда, подтянутый и спокойный.

– Есть ли у вас, батюшка, какой-нибудь конкретный план? – спросил он.

– Вовсе нет, – ответил Гапон.

– Но ведь солдаты могут открыть огонь, – сказал Рутенберг.

– Нет, не думаю, – неуверенно произнес Гапон.

Рутенберг пожал плечами и достал из кармана карту Петербурга с заранее подготовленными отметками.

– Если солдаты начнут пальбу, то отходить мы будем вот сюда, – показал он. – А вот здесь мы построим баррикады, потом за-

хватим оружие на ближайших складах и начнем прорываться к Зимнему дворцу.

– Да! Да! – поспешно согласился Гапон, но было видно, что он все еще не включился в ситуацию.

А люди все шли и шли. Гапон постепенно успокоился и обратился к народу:

– Товарищи, – заговорил он со страстью, – если нас не пропустят, то мы силой прорвемся. Если войска станут в нас стрелять, то мы будем обороняться. Часть войск перейдет на нашу сторону, и тогда мы устроим революцию. Воздвигнем баррикады, разгромим оружейные склады, разобьем тюрьму, займем телеграф и телефон. Эсеры обещали нам бомбы и... наша возьмет!

Толпа откликнулась восторженным ревом.

Полиция была предупреждена о том, что рядом с Гапоном будет находиться террорист, которому поручено убить государя, если он выйдет к народу. Поэтому, по настоянию министра внутренних дел князя Святополка-Мирского, государь уехал в Царское село. На основании этой же информации 8 января солдатам и казакам раздали боевые патроны. Развели также мосты через Неву. Войска расчленили районы города, чтобы не пропустить многотысячные толпы на Дворцовую площадь.

Началось похожее на крестный ход шествие. Колыхались хоругви, блестели золотые лики святых, кое-где виднелись царские портреты. Люди тяжелого труда шли и пели: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое».

Гапон с Рутенбергом находились во главе колонны.

У Нарвских ворот грянул первый залп. Потом второй, третий. Крики ужаса слились в один сплошной вопль, смешались со стонами умирающих. Люди бросились врассыпную, но пули их догнали. Стрельба велась уже беспорядочно, без перерыва.

– Свобода или смерти! – кричал Гапон. Он бежал, спотыкаясь, путаясь в рясе. Лицо его было искажено страхом и ненавистью. Одна из пуль задела палец его руки, и он упал.

У Невской заставы в обезумевшую толпу врезались казаки с обнаженными шашками и нагайками. Они теснили людей, рубили, топтали конями; убежавших ловили арканами и волочили по мостовой.

И в довершение всего, солдаты лейб-гвардии Преображенского полка прицельным огнем посшибали взбравшихся на деревья ребятишек. Это уже просто так, для забавы.

Точное количество погибших в тот день неизвестно. Установлено лишь, что их было несколько сотен, да раненых набралось до двух с половиной тысяч. Многие жертвы расстрела, упрятанные в мешки из-под картошки, были тайно захоронены, чтобы скрыть масштабы трагедии. Формально ответственность за это побоище несет великий князь Владимир Александрович, занимавший пост командующего Санкт-Петербургским военным округом. Слабый по натуре, он растерялся, впал в панику, и ситуация вышла из-под контроля.

Государь же ничего о происходящем в столице не ведал, однако революционеры и обожающие их либералы поспешили указать на него обличающими перстами. Это они прозвали его «Николаем кровавым». А государь, получив в Царском селе известие о произошедшем, записал в дневнике с несвойственной ему эмоциональной

лапидарностью: «Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!»

Рутенберг, прикрывая своим телом, вывел из-под огня вставшего в прострацию Гапона. В каком-то проходном дворе складными ножницами своего перочинного ножа подрезал ему волосы.

– Нет больше Бога, нет царя, – прохрипел Гапон, глядя перед собой остановившимися глазами. Он сбросил шубу и рясу и надел шапку и пальто одного из рабочих.

О том, что было дальше, пусть лучше расскажет сам Рутенберг:

Через забор, канавку, задворки мы небольшой группой добрались в дом, населенный рабочими. По дороге встречались группы растерянных людей, женщин и мужчин.

В квартиры нас не пускали.

О баррикадах нечего было и думать.

Надо было спасать Гапона...

Я сказал ему, чтобы он отдал мне все, что у него было компрометирующего. Он сунул мне доверенность от рабочих и петицию, которые нес царю.

Я предложил остричь его и пойти со мной в город. Он не возражал.

Как на великом постриге, при великом таинстве стояли окружавшие нас рабочие, пережившие весь ужас только что происшедшего и, получая в протянутые руки клочки гапоновских волос, с обнаженными головами, с благоговением, как на молитве, повторяли: «Свято».

Волосы Гапона разошлись потом между рабочими и хранились как реликвия.

Когда мы, оставляя за собой кровь, трупы и стоны раненых, пробирались в город, наталкиваясь на перекрестках и переездах на солдат и жандармов, Гапона охватила нервная лихорадка. Он весь трясся. Боялся быть арестованным. Каждый раз мне с трудом удавалось успокоить его, покуда не выбрались через Варшавский вокзал из окружавшей пригород цепи войск.

Меня его поведение корбило.

Раньше я знал и видел Гапона только говорившим в рясе над молившейся на него толпой, видел его звавшим у Нарвских ворот к свободе или смерти.

Этого Гапона не стало, как только мы ушли от Нарвских ворот.

Остриженный, переодетый в чужое, передо мной оказался предоставивший себя в мое полное распоряжение человек, беспокойный и растерянный, покуда находился в опасности, тщеславный и легкомысленный, когда ему казалось, что опасность миновала.

После пережитого утром 9 января такая нервность была естественной для каждого, но только не для Гапона.

Меня это и удивляло, и обязывало. Обязывало использовать свое влияние на этого человека, имя которого стало такой революционной силой.

Не следует забывать, что Рутенберг написал свои воспоминания спустя несколько лет. Он не искажал фактов, но в свете последую-

щих событий интерпретировал их иначе. Чисто по-человечески ему просто необходимо было вытравить из своей души все добрые чувства к человеку, убийство которого он так хладнокровно и расчетливо организовал.

Но это было потом. А вечером того памятного дня Рутенберг привел все еще находящегося в шоке Гапона к Горькому.

«Буревестник революции» был тогда в апогее славы. Каждая его новая вещь с ходу шла в печать и принималась на ура и читателями, и критикой. Фотографии долговязого парня в косоворотке, с некрасивым, но таким привлекательным, таким русским лицом не переставали мелькать на страницах самых известных газет и журналов.

Еще бы! Человек из самых низов, не получивший никакого образования. Босьяк, обошедший пешком чуть не всю Россию, теперь вот книги пишет. Это ли не чудо?

А бывший босьяк довольно быстро привык к роскошной жизни, снял огромную квартиру на Кронверкском проспекте и жил на широкую ногу. Талант у Горького был не высшей пробы, его произведения часто напоминают больничную палату отсутствием свежего воздуха. Зато он обладал прекрасными душевными качествами. Добрый и жалостливый, он не умел никому отказывать и всегда принимал близко к сердцу чужую боль, чужое горе. К тому же он был сентиментален и мог заплакать от умиления по самому ничтожному поводу.

Разумеется, Горький прослезился, увидев Гапона вечером 9 января. «Народный вождь» выглядел трогательно, жалко и был похож на оципанную курицу.

Встреча «Буревестника революции» и «народного вождя» не была содержательной.

Вот как ее описал Рутенберг в уже цитировавшихся нами воспоминаниях:

Вечером 9 января Гапон сидел в кабинете Максима Горького и спрашивал:

– Что теперь делать, Алексей Максимович?

Горький подошел, глубоко поглядел на Гапона. Подумал. Что-то радостно дрогнуло в нем, на глаза навернулись слезы. И, стараясь ободрить сидевшего перед ним совсем разбитого человека, он как-то особенно ласково и в то же время по-товарищески сурово ответил:

– Что ж, надо идти до конца! Все равно. Даже если придется умирать.

Но что именно делать, Горький сказать не мог. А рабочие спрашивали распоряжений.

Гапон хотел было поехать к ним, но я был против этого.

У Горького Гапон оставаться не мог – слишком опасно, и Рутенберг переправил его в пустующий загородный дом, откуда он внезапно исчез самым таинственным образом. Встревожившийся Рутенберг предположил даже, что его выследили и взяли агенты сысканого отделения. На самом же деле Гапон, заметив во дворе каких-то подозрительных людей, запаниковал и бежал через черный ход, без документов и денег. Не зная ни одного языка, кроме русского, он сумел каким-то образом перейти границу, и уже в начале февраля 1905 года оказался в Женеве – главном штабе русских политических эмигрантов.

* * *

Появление Гапона в Женеве произвело фурор. В то время о мятежном священнике вздох писали все европейские газеты. Еще ни один русский революционер не имел на Западе такой популярности. В России разгоралось в то время пламя революции, и имя ее зачинателя было у всех на устах. Вожди всех революционных партий искали встречи с Гапоном, чтобы привлечь его на свою сторону.

Первым видным революционером, с которым Гапон встретился в Женеве, был Плеханов. Разыскал его Гапон просто. Зашел в русский филиал местной библиотеки и назвал свое имя. Библиотекарь, оказавшийся социал-демократом, тут же отвел его на квартиру Плеханова.

Потрясенный явлением «народного героя», Георгий Валентинович устроил ему пышное чествование, на которое явилась вся партийная гвардия: Засулич, Аксельрод, Потресов, Дан... Несколько дней Гапона разглядывали, как какую-то диковинку, и, разумеется, охмуряли.

Гапон же, наслушавшись агитационных речей, заявил, что он, в сущности, всегда был стихийным социал-демократом.

Вскоре, однако, высветлилось колоссальное невежество Гапона, не знавшего самых элементарных вещей. «Через заросли его невежества не продерешься», – сетовал Плеханов.

Вместе с тем социал-демократы были не прочь заполучить Гапона в свои ряды, при условии, что он усвоит марксистское мировоззрение и не будет претендовать на роль выше той, на какую может рассчитывать по своим знаниям и способностям.

Но Гапон не проявил никакой тяги к теоретическим знаниям. К книгам же испытывал непреодолимое отвращение. К тому же, он никак не мог понять разницы между социал-демократами и эсерами. «Ну, скажите на милость, – спрашивал он с недоумением, – ведь социал-демократы хотят, чтобы народ перестал бедствовать и получил свободу, и социалисты-революционеры того же желают. Так зачем идти врозь?»

Над ними стали посмеиваться – сначала за глаза, а потом и открыто.

В начале февраля в уютном кафе на берегу женевского озера Гапон встретился с Лениным. Вождь большевиков, ненавидевший все православное, все поповское, к Гапону отнесся как к «стихийному революционеру» – живой частице нараставшей в России революционной волны. Особенно понравились Ленину гапоновские воззвания, призывавшие народ всем миром навалиться на «царя с его крокопийцами».

Беседа продолжалась минут сорок, и оба остались ею довольны.

– У вас, батенька, сумбур в голове, – сказал Ленин, прощаясь. Нет у вас выдержанного революционного мирозерцания. Учиться вам надо. Учиться.

Именно этого Гапон делать не собирался. Вскоре он сбежал от социал-демократов к эсерам – и праздник начался с самого начала. На пышное чествование героя пожаловала вся эсеровская партийная когорта – и политические лидеры, и генералы БО: Чернов, Гоц, Азеф, Савинков, «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская... Гапона славословили, окружили почтением. Один только Савинков

сидел, откинувшись в кресле, и глядел на него стальным взглядом, в котором явная насмешка сочеталась с недоверием.

Горячее воображение Гапона все резвее несло его по ухабам и рытвинам. Все больше походил он на Хлестакова. Его нервная импульсивность, отсутствие привычки к систематическому труду, слабая воля и капризное своеволие становились все очевиднее. Революционные теории и партийные программы его не интересовали, но он был не прочь использовать революционные партии в своих целях, которые он, впрочем, представлял себе весьма смутно.

Самой яркой чертой гапоновского характера оказалась хитрость – коварная, лукавая, вероломная, и в то же время наивная. Хитрость простодушного дикаря. Он стал радостно и по виду искренне соглашаться со всеми. Социал-демократам говорил, что разделяет их убеждения, а эсерам твердил, что во всем с ними согласен. Это привело к тому, что его перестали воспринимать всерьез и те, и другие.

Тем не менее слава его росла. Престижное лондонское издательство заказало у него автобиографию за баснословный гонорар. С ним встречались лидеры европейских социалистов Жорес и Клемансо, вождь анархистов Кропоткин. Вечера и званые ужины в его честь устраивались чуть ли не каждую неделю.

У него завелись деньги, появился вкус к красивой жизни. Он стал часто бывать в казино и обычно выигрывал. Везло ему тогда. Приехавший в Женеву Рутенберг был неприятно поражен, увидев Гапона. На нем был прекрасно сшитый костюм, яркий цветной галстук, и пахло от него дорогим коньяком.

– Сегодня я впервые ел омара, – доверительно сообщил он. И засмеялся.

Рутенберг приобщил к делу своего непутевого друга. Привлек его к участию в попытке контрабанды оружия на судне «Джон Крафтон» для боевой организации эсеров. Но поскольку операцией руководил Азеф, она провалилась. Судно попало в руки полиции, а Рутенберг, вернувшийся в Россию, чтобы его встретить, был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Правда, сидел он недолго – до Высочайшего манифеста 17 октября.

А Гапона все чаще видят в ночных заведениях сомнительной репутации. Захмелевший, грустный, он сидит, подперев кулаком отяжелевшую голову, и тихонько тянет: «Реве тай стогне Днипр широкий...» По лицу его текут слезы.

Поссорившись со всеми революционными партиями, Гапон их возненавидел.

«Прокисли здешние революционеры. Прокисли, – любит он повторять. – Оторвались от жизни. Не знают они рабочего человека. Не понимают его».

Он живет только вестями из России. Лишь они обнадеживают. Рабочие шлют ему теплые письма, зовут обратно. Он все больше тоскует. «Тяжко здесь, душно, душа простора ищет», – жалуется Гапон и предвкушает тот час, когда снова выйдет к рабочим со словами: «Ну, вот я опять с вами, дорогие мои».

Радостно встретил Гапон Манифест 17 октября и стал собираться в дорогу, но отказ правительства его амнистировать задержал отъезд. Гапон, пришедший в сильнейшее возбуждение, решил вернуться в Россию нелегально – и будь что будет.

На вопрос своего приятеля эсера Ан-ского, с кем же он теперь пойдет в России, Гапон ответил: «Не знаю, не знаю! Там на месте посмотрю!.. Попробую идти с Богом, с Богом... А не удастся с Богом, пойду с чертом... А своего добьюсь!»

В ноябре 1905 года Гапон нелегально возвратился в Россию и поселился в квартире, снятой для него рабочими. Вскоре он обнаружил, что его героический ореол изрядно потускнел, а авторитет и популярность неуклонно снижаются. Он понял вдруг, как необходимы были ему ряса и крест, как много веса и значения они ему придавали. Но Священный синод лишил Гапона духовного сана за «богопротивную деятельность», а вместе с рясой утратил он и значительную часть своего обаяния.

В январе 1906 года начинается стремительный закат его карьеры.

Газета «Русь» публикует статью «Долой маску», в которой открыто называет Гапона агентом охраны. Фабричные рабочие требуют объяснений, он торопливо пишет опровержение, но доверие к нему уже подорвано.

Между тем вопрос о провокаторстве Гапона так и остался гипотезой. Можно не сомневаться, что в его планы не входило становиться чьей-либо марионеткой. Царская охранка и революционные партии были ему одинаково чужды. Себя он видел не иначе как вождем народных масс, обладающим самостоятельной силой. Держать оба лагеря в напряжении и знать, что от него, Гапона, зависит, в какую сторону склонится чаша весов, было бы величайшим наслаждением для этого страстного игрока. К этому он стремился. Но, переоценив свои возможности, фатально ошибся, построив свой расчет на противостоянии охранного отделения и боевой организации эсеров.

Рутенберг – человек, мысливший неординарно, нестандартно, способный и на беспристрастность, и на сильную страсть, – в отчетах, направленных им в эсеровское ЦК, наверняка не все рассказал о своих отношениях с Гапоном. Крылась в них какая-то тайна, разгадать которую нам уже не дано.

Конечно, порядочность Рутенберга вне подозрений. Искренне поверив в то, что Гапон предал святую кровь рабочих, пролитую 9 января, он судил его своим судом и вынес смертный приговор. И он же привел его в исполнение руками трех косивших под рабочих эсеровских боевиков. Потом он долго и безуспешно добивался, чтобы ЦК эсеров взял на себя ответственность за его действия.

Так уж получилось, что перед лицом истории Рутенберг был и остался единственным обвинителем Гапона. Свыше ста лет прошло с тех пор, но никто из историков не привел ни одного документа, подтверждающего его предательство. Клеймо провокатора, навешанное на Гапона Рутенбергом, так и не получило подтверждения из каких-либо других источников.

А ведь еще в советское время секретные архивы царской охранки и департамента полиции были открыты для изучения. Историкам не составляло особого труда получить к ним доступ. В царской России дело тайного сыска было на высоте. Все сотрудники охранки и ее тайные осведомители имели и свои псевдонимы, и свои «личные дела», куда заносились их донесения. О Гапоне в этих архивах не найдено ни единой строчки.

* * *

По возвращении в Россию жизнь Гапона стремительно понеслась по рельсам, ведущим к гибели. Утратив ощущение реальности, он метался из одной крайности в другую. Понимая, что у него больше нет рычагов влияния в рабочей среде, Гапон обратился к председателю совета министров Витте с предложением возродить «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга».

Граф Сергей Юльевич Витте был одним из умнейших государственных деятелей России. Прозорливый и дальновидный, он понимал, в какую бездну низвергнется страна, если не удастся предотвратить «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Это он, Витте, собственноручно написал Манифест 17 октября и убедил царя его подписать. Витте хотел выпустить пары из революционного котла и этого добился. Но государь не простил ему своего унижения и, как только схлынула революционная волна, отправил его в отставку. Царь считал своим долгом передать наследнику престола самодержавную власть в том виде, в каком получил ее сам от своего отца.

Витте решил выполнить просьбу Гапона при условии, что тот выступит против революционного движения и призовет рабочих к сотрудничеству с властями. Гапон это сделал.

Тогда Витте отправил его в заграничную поездку расхваливать свою умиротворяющую политику и разоблачать злостные козни революционеров. Гапон и на это пошел.

Убедившись, что Гапон выполняет свою часть соглашения, Витте выполнил свою.

Пока Гапон за границей обрушивал на революционные партии свои инвективы, его уполномоченный, некто Матюшенский, получил от правительства Витте 30 тысяч рублей на организационные нужды восстановленного «Собрания». Матюшенский, не выдержав соблазна, украл эту кругленькую сумму и скрылся. Разумеется, тут же стали поговаривать, что он действовал в сговоре с Гапоном.

А деньги нужны позарез, и Гапон вступает в свою последнюю, как оказалось, смертельную игру. Он пишет министру внутренних дел Дурново письмо, в котором подтверждает свой отказ от революционной деятельности и просит помочь ему организовать рабочие профсоюзы под эгидой властей.

– Созрел, мерзавец, – удовлетворено говорит Дурново и через своего уполномоченного предлагает Гапону вступить в контакт с вице-директором департамента полиции Петром Рачковским, который отныне будет заниматься всеми его делами. Гапон соглашается, хоть и понимает, чем это ему грозит.

Петр Иванович Рачковский был одним из создателей тайного сыска в России, интриганом и авантюристом высшей пробы. Где уж Гапону с ним тягаться. Но известно ведь, что Господь, желая наказать человека, отнимает у него разум.

Встреча «кошки с мышкой» оказалось недолгой. Рачковский был хоть и любезен, но категоричен. Он потребовал от Гапона доказать, что у него нет больше революционных поползновений, и для начала выдать полиции боевую организацию эсеров.

– Да как же я это сделаю? – изумился Гапон. – Я ведь даже не член эсеровской партии.

– Сделаете, голубчик, сделаете, – успокоил его Рачковский. – Дружок-то ваш, Рутенберг, входит в эсеровское ЦК. Уж он-то прекрасно осведомлен обо всех их делишках. Вот если вы, голубчик, соблазните для нас Рутенберга, то получите полную легализацию и сто тысяч рублей. На все хватит. Ну а без Рутенберга – к чему вы нам, голубчик, сами посудите. И передайте Рутенбергу, что его услуги мы будем оплачивать по самому высокому тарифу. Он останется доволен. Кстати, я готов с ним встретиться и все обговорить. Сообщите ему об этом, голубчик. И вообще, подумайте обо всем.

И Гапон стал думать. И очень быстро понял, что ему нечего предложить Рачковскому и Дурново, кроме Рутенберга. Ведь у него, Гапона, нет никаких источников необходимой Рачковскому информации. А у Рутенберга их навалом.

Конечно, червячок сомнения шевелился в душе Гапона. Он-то знал железную волю и непреклонный характер своего друга. «Ну как подъедешь к нему с таким предложением? – думал он. – Рука у Мартына тяжелая. А с другой стороны, почему не рискнуть? Без риска ведь ничего не добьешься. Может, смогу убедить его, что все полученные от них деньги пойдут на революционную борьбу. Создадим мощную рабочую организацию. Я буду ее вождем. Рутенберг – руководителем. Он ведь тщеславен. Может, и клюнет на это. Ну, а если нет – просто разбежимся, и все. Закладывать-то меня он не станет».

Бедный Гапон плохо разбирался в людях и совершил ошибку, цена которой – билет на кладбище...

6 февраля 1906 года Гапон разыскал Рутенберга в Москве, на нелегальной квартире, где он скрывался от полицейских ищеек. Это оказалось не так уж сложно. Жена Рутенберга Ольга, вполне Гапону доверявшая, дала ему адрес.

Вид Гапона не понравился Рутенбергу. Весь он был какой-то помятый, пришибленный, беспокойный. Все время шарил глазами по сторонам, словно опасался чего-то.

– Я приехал предложить тебе дело. Большое дело, – сказал он с ходу. – Если выгорит, то мы оба останемся в выигрыше. Не надо только узко смотреть на вещи. Вот махнем вечером в Яр, там поговорим. Мне надо развеяться.

– Я не могу в Яр из-за конспирации, – сказал Рутенберг – Там полно филеров. Меня узнают.

– Брось, – поморщился Гапон, – тебя не арестуют, не бойся. Я отвечаю. Ты, главное, мне верь.

Рутенбергу стало уже интересно, и он махнул рукой на конспирацию.

В Яр они неслись на тройке через Пресню, где недавно было подавлено рабочее восстание. Всюду еще виднелись следы жестоких боев. Мелькали там и тут разрушенные артиллерийским огнем дома без крыш и без дверей. Черные провалы окон. Городовые с винтовками. Кое-где горели костры.

Посетителей Яра потчевали в роскошных залах и уютных кабинетах, расположенных на балконах. Изящная венская мебель. Витражи. Мозаика на полу. Официанты в элегантной форме, умело вобравшей в себя элементы костюма русских половых. Назойливый оркестр, ни на минуту не прекращающий наяривать цыганские мелодии.

Друзья расположились в кабинете.

Гапон был лихорадочно возбужден. Выбирая меню, то и дело по-смастривал на спокойное лицо Рутенберга.

— Знаешь, тут даже есть прейскурант для любителей покутить, — сказал Гапон. — Вымазать официанту лицо горчицей стоит 120 рублей. Запустить бутылкой в венецианское зеркало — 50 рублей. Что, Мартын, может, кутнем? — засмеялся он мелким смехом.

— Ладно, ты о деле давай, — оборвал Рутенберг.

— Хорошо. Но ты, Мартын, вникни в то, что я тебе расскажу. Не отменяй сразу мою идею. А то ведь вы, революционеры, люди действия, а не мысли. Все блуждаете в лабиринте Минотавра, где вас рано или поздно сожрут. Всех до единого. Не умеете вы широко смотреть на вещи. Верите во всякие предрассудки.

— Какие, например?

— Ну, что нельзя, мол, вступать в контакты с полицией. Аморально, мол, это. Какая чушь! Для пользы дела все можно. Ты ведь согласен с тем, что революция является высшим благом?

— Ну, допустим, согласен.

— Но ведь для достижения высшего блага любая тактика оправдана. Я хочу проникнуть в структуру врага, чтобы уничтожить его изнутри. Все, что ты от меня сейчас услышишь, должно остаться тайной. Поклянись мне в этом.

— На чем ты хочешь, чтобы я поклялся? Я не ношу с собой библии.

— Мне достаточно твоего слова.

— Ну, хорошо, клянусь.

Гапон помолчал, разлил смирновку из графинчика. Руки у него дрожали.

— Я уже четыре раза встречался с Рачковским. Два раза с его заместителем Герасимовым. Не волнуйся, я им ничего не рассказал и никого не выдал. Да не смотри на меня так. И народовольцы служили в полиции и все выдавали товарищам. Дело важнее всего. Если там кто-нибудь пострадает — это пустяки. Ты только представь себе, какие возможности открываются перед нами. На нас прольется золотой дождь. Мы с тобой войдем к ним в доверие и уничтожим их.

— Они предлагали тебе завербовать меня? — тихо спросил Рутенберг.

— Разумеется, предлагали. Они считают тебя птицей крупного полета. Но я сказал им, что ты сам все решишь. Рачковский приглашает тебя на обед без всяких условий. Более того, он готов заплатить за твое согласие. Почему бы тебе с ним не встретиться? Ты ведь ничем не рискуешь. А едят они как хорошо, если бы ты знал!

— И сколько же он даст мне, если я приму его приглашение на обед? Пятьсот рублей даст?

— Даст три тысячи, — уверено сказал Гапон. А если ты сообщишь ему ценную информацию, например, о подготовке покушения на Дурново или на Витте, то получишь двадцать пять тысяч.

— Но ведь погибли люди, мои товарищи.

— Лес рубят — щепки летят, — махнул рукой Гапон. — К тому же, людей ведь можно предупредить.

Рутенберг молчал. Им овладели отвращение и ужас. Он сидел неподвижно и чувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Гапон замарал грязью тех, кто погиб 9 января, и смыть эту грязь можно только его кровью. Из оцепенения его вывел голос Гапона:

– Ну, Мартын, что скажешь?

Рутенберг сделал над собой усилие и ответил:

– Не знаю, надо подумать. О многом подумать.

– Ну и хорошо, – с облегчением сказал Гапон. – Думай. Время еще есть. Но могу я уже сейчас передать Рачковскому, что, в принципе, ты готов с ним встретиться?

– Передай. Почему бы и нет.

– Давай перейдем в общий зал, – предложил Гапон. Там музыка, женщины. Там телом пахнет.

Рутенбергу было уже все равно. Он был опустошен и измучен.

Они спустились вниз, сели в переднем углу, около оркестра. Гапон заказал еще один графинчик смирновки. Он тоже выглядел разбитым. Часто в бессильном отчаянии ронял на руки свою голову. Несколько раз повторял сдавленным голосом:

– Ничего, ничего, Мартын. Мы им еще покажем.

Кому покажем – не уточнял.

Вдруг, восторженно, закричал оркестру:

– Эй, вы там! «Реве тай стогне Днипр широкий»!

* * *

Договорившись с Гапоном о дальнейших контактах в Санкт-Петербурге, Рутенберг поспешил в Гельсингфорс, где в то время находился Азеф.

Бесстрастно выслушал глава БО его рассказ. Долго молчал, глядя перед собой выпуклыми глазами-маслинами. Потом резко вырвал из кресла тяжелое колыхающееся тело и заговорил, растягивая слова и гнушая:

– Гадину надо раздавить. Это придется сделать вам, Мартын. Повезете его на извозчике в Крестовский сад, якобы поужинать. На козлах будет наш человек, который доставит вас в безлюдное место. Ткнете Гапона ножом в спину и выбросите из саней. Всего и делов.

– Я готов, – сказал Рутенберг. – Но нужно, чтобы решение об этом это было принято ЦК.

Азеф повернул к нему бычачью голову:

– Ну, разумеется. Приходите сюда завтра утром, часов в десять. У меня будут Чернов и Савинков. Тогда и примем решение.

На следующий день Рутенбергу пришлось повторить членам ЦК свой рассказ. Слушали его напряженно, не перебивая. Первым нарушил молчание Савинков:

– Я за немедленную ликвидацию этого вульгарного негодяя.

– А я против, – сказал Чернов, теребя серую жесткую бородку. И пояснил, хмуря черно-серые брови: – Гапон все еще очень популярен среди рабочих. Как мы убедим их, что ликвидировали предателя? Нет у нас никаких доказательств его сношений с полицией – кроме свидетельства Мартына, разумеется. Но одного этого недостаточно. Нам не поверят. Убить Гапона можно только вместе с Рачковским. Тогда ни у кого не останется никаких сомнений.

– А что? – оживился Азеф. – Двойной удар? Это идея. Я давно подумывал о том, чтобы отправить Рачковского на тот свет, но никак не мог подобраться к нему. Хитер, сукин сын. Теперь вот пусть составит Гапону компанию.

– Правильно! – поддержал Савинков. – Мартын примет предложение Гапона, пойдет вместе с ним на свидание с Рачковским, и там, в отдельном кабинете, обоих и ляпнут. В помощь Мартыну я выделю Иванова. Он опытный боевик.

На том и порешили. Рутенберг не возражал.

Но дальше все пошло кривь и вкось. Тройная встреча Рутенберг – Гапон – Рачковский была назначена на 4 марта 1906 года в ресторане Контана. Рачковский на нее не явился. Азеф, этот непревзойденный мастер двойной игры, по-видимому, предупредил своего начальника о готовящемся покушении. Убивать же одного попа Иванов категорически отказался.

Рутенберг опять отправился в Гельсингфорс к Азефу за дальнейшими инструкциями. Азеф пришел в ярость:

– Вы нарушили мои указания и вообще вели себя как идиот, – орал он, брызжа слюной. – Из-за вашего безответственного поведения уже арестованы наши товарищи.

Рутенберг вспылил и чуть было не ударил Азефа, настолько тот стал ему противен.

Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, он спросил главу БО, можно ли ликвидировать одного только Гапона. Азеф молчал насупившись. Потом небрежно кивнул головой и без единого слова вышел.

Нужно было очень сильно желать смерти Гапона, чтобы интерпретировать этот кивок как лицензию на убийство.

После оскорбительного поведения Азефа Рутенбергу так все осточертело, что он чуть было не махнул на это дело рукой. Но все в нем взбунтовалось против такого выхода из положения. Чудовищное предательство Гапона нельзя было оставить безнаказанным.

Ну хорошо, ЦК дал ему поручение, которое он не может выполнить в полном объеме. Мертвый Рачковский не станет доказательством вины мертвого Гапона. Но если нельзя свести счета разом с обоими, то следует найти другие аргументы, дискредитирующие Гапона в глазах рабочих. И тогда можно будет привести в исполнение приговор ЦК относительно его одного.

Рутенберг преодолел растерянность и слабость и вновь обрел присущую ему волевую энергию. Он обратился к трем эсеровским боевикам. Один из них пропагандировал эсеровские идеи в рабочей среде. Рабочие его хорошо знали. Все трое согласились действовать в соответствии с составленным Рутенбергом планом.

26 марта Рутенберг пригласил Гапона на снятую заранее дачу в Озерках, на северной окраине Петербурга. Там уже ждали укрывшиеся в засаде боевики.

О том, что же произошло в Озерках, рассказал сам Рутенберг в своем отчете, переданном в ЦК эсеровской партии:

Гапона я застал на условленном месте, на главной улице Озерков, идущей параллельно железнодорожному полотну. Встретил он меня, посмеиваясь над моей нерешительностью: хочу, но духу не хватает идти к Рачковскому...

Когда я убедился, что никого за нами нет, мы пошли в дачу. Подымаемся по дорожке. Гапон остановился и спросил:

– Там никого нет?

– Нет.

Рабочие находились в верхнем этаже, в боковой маленькой комнате за дверью с висячим замком ...

А Гапон заговорил. И неожиданно для меня заговорил так цинично, каким я его ни разу не слышал. Он был уверен, что мы одни, что теперь ему следует говорить со мной начистоту.

Он был совершенно откровенен. Рабочие все слышали. Мне оставалось только поддерживать разговор.

– Надо кончать. И чего ты ломаешься? Двадцать пять тысяч – большие деньги.

– Ты ведь говорил в Москве, что Рачковский даст сто тысяч.

– Я тебе этого не говорил. Это недоразумение. Они предлагают хорошие деньги. Ты напрасно не решаешься.

– А если бы рабочие, хотя бы твои, узнали про твои сношения с Рачковским?

– Ничего они не знают. А если бы и узнали, я скажу, что сносился для их же пользы.

– А если бы они узнали, что я про тебя знаю? Что ты меня назвал Рачковскому членом Боевой организации, другими словами – выдал меня, что взялся соблазнить меня в провокаторы, взялся узнать через меня и выдать Боевую организацию, написал покаянное письмо Дурново?

– Никто этого не узнает и узнать не может.

– А если бы я опубликовал все это?

– Ты, конечно, этого не сделаешь, и говорить не стоит. (Подумав немного). А если бы и сделал, я напечатал бы в газетах, что ты сумасшедший, что я знать ничего не знаю. Ни доказательств, ни свидетелей у тебя нет. И мне, конечно, поверили бы.

...Я дернул замок, открыл дверь и позвал рабочих.

– Вот мои свидетели! – сказал я Гапону.

То, что рабочие услышали, стоя за дверью, превзошло все их ожидания. Они давно ждали, чтобы я их выпустил...

Они поволокли его в маленькую комнату. А он просил:

– Товарищи! Дорогие товарищи! Не надо!

– Мы тебе не товарищи! Молчи!

Рабочие его связывали. Он отчаянно боролся.

– Товарищи! Все, что вы слышали, – неправда! – говорил он, пытаясь кричать.

– Знаем! Молчи!

Гапону дали предсмертное слово.

Он просил пощадить его во имя прошлого.

– Нет у тебя прошлого! Ты его бросил к ногам грязных сыщиков! – ответил один из присутствующих.

Гапон был повешен в 7 вечера во вторник 28 марта 1906 года.

Как видим, Рутенберг упорно называет эсеровских боевиков рабочими, пытаясь придать легитимность убийству Гапона. Он предельно лаконичен и о своем эмоциональном состоянии предпочитает не распространяться. Но он не единственный участник расправы над Гапоном, оставивший нам свои записки.

Человек, набросивший петлю на шею Гапона, отнюдь не был рабочим. Это был студент Военно-медицинской академии Александр

Аркадьевич Дикгоф-Деренталь. Отпрыск старинного рода остзейских баронов. Член боевой дружины эсеров с 1905 года. Школьный друг Савинкова. В дальнейшем – его верный оруженосец и его злая судьба. Но это – отдельная история.

Его записки о казни Гапона были сделаны вскоре после описанных выше событий. Из них следует, что смерть Гапона была страшнее, чем об этом рассказал Рутенберг. Боевики набросились на него, как изголодавшиеся волки. «Нет!» – кричал Гапон ртом, головой, плечами, каждой клеточкой своего тела. Его били, не переставая. Он весь изошел в крике, и когда Дикгоф-Деренталь накинул ему петлю на шею, он уже только хрипел.

Человек не выбирает, как ему умереть. Он выбирает, как ему жить. Но все дальнейшее зависит от его выбора – иногда даже то, какой смертью он умрет.

А что же Рутенберг?

Когда Гапона потащили в соседнюю комнату, он закрыл лицо руками и вышел вниз на крытую стеклянную террасу. Наверх поднялся, когда все было кончено. Посмотрел на мертвого Гапона и с ужасом отвернулся.

Дикгоф-Деренталь подошел к нему. Руки его еще были пронизаны дрожью той секунды, когда, затягивая петлю, услышал он тихий хруст.

– Все кончено, – сказал он.

Лицо Рутенберга было покрыто мертвенной бледностью. Плечи судорожно вздрагивали.

– Ведь друг он мне был! Боже мой... Боже мой... Какой ужас... Но так было надо...

– Да не убивайся ты так. Он получил по заслугам, – Дикгоф-Деренталь, сам потрясенный до глубины души, старался придать уверенность своему голосу.

– Да... но все-таки... какой ужас! Ведь сколько связано у меня с этим человеком. Сколько крови.

Сионист Пинхас

Тело Гапона было обнаружено лишь 30 апреля – через месяц после его гибели. Рутенберг к тому времени находился уже за границей – вне пределов досягаемости царских властей. Издалека он следил за ажиотажем в российской печати вокруг этой темы. Но вскоре ему стало не до этого.

ЦК эсеровской партии категорически отказался признать хоть в какой-нибудь форме свою ответственность за казнь Гапона. В коротком заявлении, опубликованном ЦК, утверждалось, что убийство Гапона было личным делом Рутенберга и партия не имеет к нему ни малейшего отношения. Рутенберг, расценивший это как коллективное предательство, впал в затяжную депрессию и резко отошел от активной политической деятельности. Ему опротивела эсеровская душно пахнущая кухня.

Партия отреклась от него, освободив тем самым от уз преданности и долга? Тем лучше. Теперь он свободен. Бывает ведь, что коварный удар вместо того, чтобы сбить человека с ног, отбрасывает его как раз в ту сторону, где находится верный путь.

Партия ему ничем не обязана? Она решила превратить его из справедливого судьи в палача? Очень хорошо. Раз так, то он ей тоже ничем не обязан.

Теперь он попытается совершить самое трудное. Теперь он будет жить только для себя и останется свободным от любых лжеучений, норовящих заключить бесконечную многогранность мира в рамки каких-то доктрин.

Ну а что касается Гапона... Тут, конечно, все непросто. Убийство, даже справедливое – это ведь тот Рубикон, перейдя который человек непоправимо меняется. Классики русской литературы, описывавшие психологию убийц, имели один недостаток. Сами они никого не убивали. Вот и получалось, что, хотя их персонажи весьма убедительно страдали после совершенного убийства, окружающий мир оставался для них почти неизменным.

На самом же деле для убийцы меняются почти все ориентиры жизни, потому что из мира обычного человека он внезапно попадает в мир человека, который убил. Это отнюдь не означает, что убийца непременно должен испытывать угрызания совести. Ведь истинные угрызания совести – это стыд за самого себя. Рутенбергу же нечего было стыдиться. По его понятиям, Гапон заслуживал смерти.

Другое дело, что душа Рутенберга страдала еще долго из-за того, что он позволил великому провокатору переиграть себя. Как выяснилось, Петр не властвовал над судьбой, не вершил историю, а был игрушкой в руках злой силы, преследовавшей свои мрачные цели. Азеф просто хотел устранить возможного конкурента в мире сыска и использовал его как мелкую сошку в своей сложной игре.

Россию Рутенберг покидал без особых сожалений. Он, понимая, что уезжает надолго, может быть, навсегда, местом для своей новой жизни выбрал Италию – это чарующее подобие эдема, каким-то образом возникшее на нашей грешной земле. Именно в Италии Рутенберг переосмыслил свою жизнь и «сжег все, чему поклонялся». Ну, а «поклонился всему, что сжигал», он не сразу. Напряженная внутренняя работа по переоценке старых ценностей шла в нем довольно долго. До тех пор, пока он не внес существенные коррективы в свое отношение к миру и людям.

В первые годы жизни в Италии Рутенберг почти ни с кем не встречается, целиком сосредоточившись на инженерной работе. Он становится крупным специалистом в области гидротехники, в его услугах заинтересованы солидные фирмы. Это дает не только моральное удовлетворение, но и приносит материальную независимость. Но он ведь не тот человек, который может всецело сосредоточиться на материальной стороне жизни.

Разочаровавшийся в революционных идеалах, потрясенный предательством своих вчерашних товарищей, Рутенберг ищет новую духовную точку опоры и находит ее в своем еврействе. Если святость революционных идеалов цинично растоптана, если то, что он считал своей путеводной звездой, оказалось химерой, то нужно обрести иные идеалы и создать иной «жизненный проект». И Рутенберг все это обрел, размышляя о судьбах еврейского народа, о которых прежде он, социалист-революционер, всерьез не задумывался.

Вот что он писал в уже цитируемой нами брошюре «Национальное возрождение еврейского народа»:

В то время, еще задолго до войны, встали передо мной следующие вопросы. Почему я, культурный человек, обладающий определенным авторитетом, стесняюсь своего «еврейского происхождения» и пытаюсь всеми силами и способами скрыть его от неевреев? Почему так же поступают очень многие другие евреи, люди, без сомнения, обладающие уважением и авторитетом? Почему неевреи, те люди, к которым я отношусь с большим уважением, даже близкие мне мои товарищи революционеры за единичными исключениями, почему и они не «любят» евреев, почему они в глубине души – антисемиты? Почему этот антисемитизм в той или иной форме существует не только в России, где есть так много бесправных, преследуемых и унижаемых евреев, но и в других странах, где евреев мало и они имеют все гражданские права?

Постепенно он приходит к выводу, что еврейские проблемы можно решить только путем национальной организации еврейского народа.

Теперь Рутенберг уже гордится своим еврейством. Он посещает синагогу во Флоренции и возвращается к еврейским корням, но делает это по-своему, по-рутенберговски.

Став сионистом, он покончил с затворнической жизнью. Ему приходится участвовать в собраниях и конференциях. Лидеры сионистских организаций стремятся заручиться его поддержкой, но он не намерен жертвовать им в угоду своим независимым положением. Личную свободу он ценит теперь превыше всего.

Бен-Гурион и Арлозоров, Вейцман и Жаботинский прислушиваются к его спокойному рассудительному голосу. У Рутенберга перед ними преимущество: он не профессиональный политик, а инженер, человек дела, который может изменить облик всей Палестины.

Сфера его контактов не ограничивается одними сионистами. Он подолгу гостит на Капри у Горького. Встречается иногда с русскими политэмигрантами, своими старыми товарищами, а также с видными европейскими социалистами.

Весной 1912 года он познакомился с молодым, но уже популярным Бенито Муссолини, главным редактором газеты социалистической партии Италии «Avanti». Свела их Анжелика Балабанова, которая в те годы была духовным ментором будущего диктатора. Муссолини живо интересовался подробностями первой русской революции, и Рутенбергу пришлось прочитать ему целую лекцию на эту тему.

У Муссолини было удлинненное лицо с крупным хищным носом, волевой подбородок, плохо сочетавшийся с пухлыми чувственными губами, глубоко посаженные темные глаза. Он уже тогда ощущал свою способность овладевать чувствами и настроениями масс и играть на них, как хороший музыкант на своем инструменте. Его инстинкт на жесты и интонации, возбуждающие толпу, был безошибочным.

Рутенберг говорил потом, что кроме политики этого человека ничто не интересовало. Поразило Рутенберга и то, с каким пренебрежением главный редактор официоза соцпартии говорил о социализме.

«Социалистическая доктрина мертва, – утверждал Муссолини. – Нацию возродит не социализм, а жестокий и энергичный человек».

Запомнил Рутенберг еще одно высказывание Муссолини и даже записал его в свой дневник: «Рабы, даже если их освободить, останутся рабами, ибо никуда не денется их рабская психология».

* * *

Грянула Мировая война. Старый порядок уже никого не устраивал, и началась кровавая борьба за передел мира.

Рутенберг выдвигает идею создания еврейских вооруженных сил, которые будут сражаться на стороне англичан за освобождение Палестины. Для осуществления своего плана он создает в Милане комитет «Pro cosa ebraica» («За еврейское дело»), куда входят видные итальянские и еврейские общественные деятели.

Но в руководстве сионистской организации не было единства мнений. Бен-Гурион одобрял идею Рутенберга, а Хаим Вейцман ее резко критиковал. Вейцман полагал, что такая затея может привести к катастрофическим последствиям для еврейского населения Палестины, входившей в состав Османской империи. Большая часть сионистского руководства поддержала своего лидера.

Тогда Рутенберг выбирает иной путь. Он предлагает свою помощь и сотрудничество Жаботинскому, который вместе с Трумпельдором борется за формирование еврейского легиона. По просьбе Жаботинского Рутенберг отправляется в Америку для агитации среди самой большой и влиятельной еврейской общины мира.

Очень быстро обнаружилось, что идея легиона не пользуется популярностью у американских евреев. Не поддержали ее и такие лейбористские лидеры, как Давид Бен-Гурион и Ицхак Бен-Цви, изгнанные турками из Палестины и перебравшиеся в Америку. Социалистическое прошлое Рутенберга сближало его с ними. Бен-Гурион становится его другом. Так или иначе, но легионом он почти не занимается. Впрочем, ему хватает и других, не менее важных дел.

Он вносит решающий вклад в учреждение Американского Еврейского Конгресса, излагает руководству организации свой план ирригации Палестины и восстановления плодородия ее почвы. План выглядит утопией, но придет время, будет осуществлено все, что он задумал.

Воскресение Петра

В феврале 1917-го рухнул царский режим. Революция, как бродячий музыкант из Гаммельна, поднесла к губам свою волшебную флейту. Музыка революции Рутенберг не хотел, да и не мог противиться. Он бросает все сионистские дела. Какое они имеют значение, когда на горизонте маячит призрак грядущей мировой революции.

На грандиозном митинге в Мэдисон Сквер Гарден в честь делегации Временного правительства, направленной Керенским в июне 1917 года в США, Рутенберг выступает уже не как сионист Пинхас, а как социалист-революционер Петр.

– Россия не нуждается в том, чтобы ее учили свободе, – говорит он под бурные аплодисменты.

К нему подлетает корреспондент «Русского слова»:

– Ну-с, господин Рутенберг, каковы ваши прогнозы относительно дальнейших событий? – спрашивает он.

– Русская революция должна побрататься с германской революцией, и тогда мы создадим Соединенные Штаты Европы, – отвечает Рутенберг.

11 июля 1917 года он садится на пароход, плывущий из Нью-Йорка в Россию. Рутенберг едет сражаться за всемирное счастье. Он убежден, что русская революция призвана изменить судьбы мира, а значит, и судьбу еврейского народа тоже.

В Петрограде его встретил Савинков, теперь комиссар Юго-Западного фронта и товарищ военного министра. (А военный министр – сам Керенский, он же глава Временного правительства.) Они долго бродили по городу, сильно изменившемуся с тех пор, как Рутенберг покинул его двенадцать лет назад. Город, изнуренный войной, поблек, потускнел, утратил значительную часть бывшего обаяния.

Война оставила свой след и на лице Савинкова. Он похудел, щеки впали, лоб прорезали вертикальные морщинки, но жесткий блеск его небольших серо-зеленых глаз остался прежним. Рутенберг знал, что события последних лет дались ему нелегко. Предательство Азефа надломило его.

Решив, что террор исчерпал себя, Савинков занялся литературой. Зинаида Гиппиус стала его наставницей. Она придумала ему псевдоним «В. Ропшин» и названия двух первых романов: «Конь бледный» и «То, чего не было». Обе вещи стали бестселлерами, хотя его товарищи по партии сочли их чуть ли не предательством. Ведь Савинков с исчерпывающей откровенностью и впечатляющим литературным мастерством описал свое участие в убийствах министра внутренних дел Плеве и великого князя Сергея Александровича.

После Февральской революции Савинков вернулся на родину и сделал стремительную карьеру. Казалось, у него было все для того, чтобы взобраться на самую верхушку качающейся политической мачты. Таланта, энергии и честолюбия хватало с избытком. Он любил Россию и не был партийным догматиком. Но его не зря называли виртуозом авантюры. Лучше всего он чувствовал себя в экстремальных ситуациях. Только они повышали его жизненный тонус. Савинков ненавидел рутину и не мог долго находиться в кабинете, за письменным столом и запертой дверью. Не умел следить, изучать, наблюдать и убеждать, оставаясь в тени. Он не был рожден для политических интриг, не мог, да и не хотел управлять партийным аппаратом. А значит, не был создан для того, чтобы властвовать.

Они шли и беседовали. Савинков торопливо описывал обстановку. В мае-июне 1917 года он помог Керенскому организовать наступление армии на Юго-Западном фронте. Керенский тогда превзошел самого себя. Он ежедневно выступал на десятках митингов – говорил о свободе, о революции, о земле, о демократии, о лучезарном будущем, ожидающем Россию после победы.

– Если бы ты знал, как его слушали, – с ироничной усмешкой рассказывал Савинков. – Его носили на руках, забрасывали цветами. Женщины целовали ему руки и жертвовали свои драгоценности на алтарь победы. Это был его звездный час. Деникин сказал мне, что даже офицеры тогда все ему простили и ждали от него спасения армии. Но июньское наступление провалилось, а с ним и наши надежды. Люди на фронте измучены, потери огромны, дисциплина падает. Невозможно воевать, имея вместо армии сброд. На Керенского надеяться теперь смешно. Спасителем армии, а значит, и страны мог бы стать генерал Корнилов, но Керенский его ненавидит.

– Ты считаешь, что Керенский плохой премьер-министр?– удивился Рутенберг.

– Не плохой, а никакой. Он способный оратор, субъективно честный человек, но нет у него ни государственной головы, ни хорошей политической школы. Он просто жонглирует словами, придавая им почти ритуальное значение. Но что стоит за этим театральным красноречием, за этими лаврами трибуны и эстрады? В том то и дело, что ничего не стоит. Пустота...

– Борис, но это ведь ужасно. Если дела обстоят именно так, то его надо сместить.

– Да? А кем мы его заменим? Он – это то, что у нас есть. Впрочем, не все ведь от него зависит. Результаты революции отодвинуты в будущее и постоянно меняются. Ты ведь знаешь, что по натуре своей я азартный игрок. И надеюсь, что главной ставки своей жизни я пока не сделал.

Керенский встретил Рутенберга с расprostертыми объятиями.

– Боже мой, Петр Моисеевич, как же вовремя вы появились. Такие люди, как вы, мне позарез нужны.

И тут же назначил его заместителем коменданта города и своим личным советником.

Несколько дней спустя Рутенберг уже сопровождал премьер-министра на митинг комитетов петербургского гарнизона. Зал был плотно набит массой в солдатских шинелях.

Керенский в коричневом френче и такого же цвета галифе говорил порывисто. Скачки его мыслей совпадали с ритмом слов. Медленные жесты сомнамбулы, остановившийся взгляд, судороги губ, торчащие волосы завораживали аудиторию. Он говорил о благах долгожданной свободы, о восстановлении строгой дисциплины в армии, о необходимости продолжать войну с Германией до победного конца.

Сидевший рядом с Рутенбергом юнкер, уловив удобный момент, громко выкрикнул:

– Арестуйте Ленина!

Этот актуальный призыв понравился многим. Его подхватили.

– Арестуйте Ленина! – гремела аудитория, но раздавался также пронзительный свист. Керенский смотрел прямо перед собой застывшим взглядом. Когда наступила тишина, произнес, чеканя каждое слово:

– Ученика, который плохо ведет себя в классе, учитель не высылает, а... (эффектная пауза) не замечает!

Поднялось нечто невообразимое. Под истерические вопли «дойлой» и шквал аплодисментов Керенский сошел с трибуны.

– Что вы об этом думаете? – спросил Керенский, когда все закончилось.

– То же, что и мой друг Савинков, – усмехнулся Рутенберг. – Для того чтобы вывести страну из кризиса, необходимо повесить двух человек: Ленина и Троцкого. Пули они не заслуживают.

– Уж так сразу и повесить, – поморщился Керенский. – Савинкову к подобным вещам не привыкать, а от вас я не ожидал такой кровожадности. В конце концов, Ленин и Троцкий такие же социалисты, как и мы...

– Не такие, Александр Федорович, не такие, – сказал Рутенберг.

В конце августа 1917 года верховный главнокомандующий генерал Лавр Георгиевич Корнилов в краткой, но убедительной речи призвал свои войска вытащить родину из дерьма и двинул их на Петроград. Мятежного генерала поддержало большинство офицерства, партия кадетов, промышленники. Казалось, что у Корнилова хорошие шансы на захват власти. Генерал намеревался в случае успеха разогнать Петроградский совет и повесить «немецких агентов» Ленина с Троцким. Он был уверен, что это стабилизирует обстановку.

28 августа Керенский издал указ о смещении генерала Корнилова с поста верховного главнокомандующего и разрешил Советам, в которых доминировали большевики, формировать свои вооруженные отряды. Это и стало началом его конца. Хотя корниловский мятеж был подавлен, Керенский сохранил лишь иллюзию власти, да и то ненадолго. Его политический авторитет неуклонно падал.

Ушел со своего поста и порвал с Керенским Савинков, поддержавший Корнилова. Рутенберг же оказался в положении Кассандры. Он понимал, к чему все идет, но это никого не интересовало. Никаких рычагов влияния у него не было. Керенский виделся с ним редко и мнения его не спрашивал. Был он скорее зрителем разыгрывающейся драмы, чем ее действующим лицом.

А драма приближалась к концу.

Петросовет учредил при себе Военно-революционный комитет и наделил его чрезвычайными полномочиями. Формально – для защиты столицы от наступающего врага, а на самом деле – для захвата власти. Во главе ВРК стал Лев Давидович Бронштейн (Троцкий). Его кипучая энергия и холодная расчетливая воля и предопределили дальнейшие события. Это он подготовил переворот и рассчитал своим изощренным умом всё до последних мелочей, исключив возможность неудачи.

Керенский еще пытается что-то предпринять. Так курица с отрубленной головой еще трепыхается. Но неотвратимый ход событий не оставляет молодой русской демократии ни малейшей надежды.

Утром 25 октября небольшие отряды большевиков захватывают телеграф, вокзалы, главную электростанцию, Госбанк... Нигде они не встречают сопротивления.

Около полуночи министры, получившие вызов на чрезвычайное заседание, съезжаются в Зимний со всех концов города совершенно свободно. Керенский, бледный, усталый, с места в карьер сообщает им о том, что он отправляется на фронт собирать верные части. «Я спасу революцию», – заверяет он ошарашенных министров и покидает собрание на машине американского посольства.

Верховный главнокомандующий открыто и беспрепятственно преодолел все большевистские посты. Его узнавали, и иногда даже приветствовали, так что история с переодеванием в женское платье – это всего лишь один из советских мифов.

Войска не простили Керенскому его поведения во время выступления Корнилова и за ним не пошли. Для него все было кончено, но, что гораздо хуже, для русской демократии – тоже.

Ну а министры, не получившие от своего лидера никаких указаний, остались ждать победоносного возвращения Александра Федоровича.

Пока же они провозгласили временным диктатором Зимнего дворца и Петрограда министра государственного призрения (как

теперь бы сказали – социального обеспечения) Николая Кишкина – замечательного врача, прекрасного человека, но личность сугубо штатскую и не воинственную. Его заместителями стали Петр Пальчинский и Петр Рутенберг. Из этих троих только Рутенберг обладал организационными способностями, но что он мог сделать, имея в своем распоряжении небольшой отряд юнкеров и женский батальон так называемых ударниц?

25 октября 1917 года Льву Давидовичу Бронштейну (Троцкому) стукнуло 38 лет. В этот день он преподнес себе любимому великолепный подарок – низложил Временное правительство и оказался человеком номер два в большевистской политической иерархии.

Никакого штурма Зимнего дворца, наподобие изображенного в знаменитом фильме Эйзенштейна «Октябрь», в действительности не было. Сначала группа в 30–40 матросов через окна по-воровски проникла во дворец. Их вожак, увидев в полутьме картину с изображением конного парада, запаниковал и с криком: «Кавалерия!» – дал деру. Остальные заметались и были с легкостью обезоружены. Правда, кто-то из них метнул самодельную бомбу, ранившую двух юнкеров. Им оказал медицинскую помощь лично доктор Кишкин. Это и были первые жертвы Октябрьской революции.

После этого инцидента Рутенберг попросил женский батальон покинуть дворец. Батальон ушел, но не в полном составе. Некоторые «амазонки» на свою беду остались.

Тем временем операция по овладению главной цитаделью российской власти вступила в решающую фазу. Громыхнула «Аврора» своим холостым зарядом. Вновь где-то началась пальба, а в окна Зимнего дворца полезли новые «гости». Оборонявшиеся захватили и их, но те все прибывали и прибывали, и вскоре количество пленных значительно превзошло число охранников. Тогда и случилось неизбежное: они поменялись ролями.

Проблуждав некоторое время по коридорам и галереям Зимнего, как по лабиринту Минотавра, пестрая группа штурмовиков во главе с Антоновым-Овсеенко обнаружила, наконец, министров в Малой столовой. Они сидели за большим длинным столом и ждали самого худшего. Антонов-Овсеенко объявил Временное правительство низложенным, а арестованных министров лично доставил в Петропавловскую крепость. Там их не без злорадства встретили царские саванники, «обломки империи», арестованные восемь месяцев назад.

Не все шло гладко. Озверевшая чернь пыталась линчевать арестованных на пути в крепость. Людям Антонова-Овсеенко даже пришлось стрелять, чтобы этого не допустить. При разгоне погромщиков на Троицком мосту Рутенберг получил легкое ранение в голову.

В Петропавловской крепости Рутенберг оказался в одной камере с известным черносотенцем Пуришкевичем. У этого господина был парадоксальный склад ума, и Рутенбергу нравилось с ним беседовать. Отношения между ними были корректными, почти джентльменскими, хотя они и резали друг другу правду-матку в глаза.

– Будь моя власть, я расстрелял бы вас в двадцать четыре часа, – мечтательно говорил Рутенберг.

– Я сделал бы с вами то же самое, голубчик Петр Моисеевич, но, поверьте мне, в этом не было бы ничего личного, – любезно отвечал Пуришкевич.

Как только Рутенберг оказался за решеткой, он вновь ощутил себя евреем. Факт по-человечески вполне понятный. Из Петропавловской крепости он шлет в адрес Американского Еврейского Конгресса поздравительную телеграмму в связи с Декларацией Бальфура, признающей за еврейским народом право на восстановление национального очага в Палестине. В том, что эта декларация появилась на свет, есть ведь и его заслуга.

Но его заслуга и в том, что он был единственным евреем, до самого конца защищавшим последний оплот российской демократии. Он ведь не покинул тонущий корабль, не оставил командного поста до самого конца, хотя командовать было уже нечем.

Сражаться за безнадежное дело, когда за него уже никто не сражается, – это ведь тоже еврейская черта.

Главным источником безграничного идеализма Рутенберга были его еврейские корни, которыми он всегда гордился.

А ведь в толпе, осаждающей Зимний дворец, было полно евреев, забывших о своих корнях. Среди них особо выделяется и по таланту, и по масштабам своей деструктивной деятельности фигура Троцкого.

Казалось, что демоны разрушения вселились в этого человека. Он ненавидел старый мир – и разрушил его до основания, он презирал демократию, даже социалистическую – и сокрушил ее. Он обладал организующей волей, холодным умом, демагогическим красноречием и безграничным честолубием. Революция должна была носить – и носила на первых порах – отпечаток его личности. Созданная им Красная армия была его армией. Личная власть являлась для него и смыслом, и формой жизни.

Свое еврейство он ненавидел. Оно ведь было главным препятствием на пути к вожделенной цели. Из-за него он не мог стать тем, кем стал Сталин. Неважно ведь, что Сталин был грузином и сыном сапожника. Важно, что он не был евреем.

Троцкий порвал со своей семьей, отрекся от своего народа, осквернил веру отцов. Все это не помогло. Он остался евреем. Ничто не могло изменить этого факта.

Много лет спустя, в мексиканском изгнании, журналист спросил Троцкого, нет ли в его революционном рвении чего-либо от неистовства еврейских пророков. Троцкий рассвирепел, вышел из себя:

– Никакой я не еврей! Запомните это раз и навсегда! – кричал он.

На поводке Троцкий держал громадную овчарку, которой передавалась ярость хозяина, и она рвалась к журналисту, обнажив клыки.

Таковыми клыками Троцкий впивался в историю, пока она не отторгла его.

После Карла Маркса этот человек был самым видным представителем евреев-самоненавистников.

Воскресение Пинхаса

В марте 1918 года, после полугодичного заключения в Петропавловской крепости, большевики освободили Рутенберга по ходатайству Горького и Коллонтай. Некоторое время он жил в Москве. События развивались стремительно. Неудачное покушение на Ленина дало большевикам повод для развязывания красного террора. Рутенбергу удалось бежать прежде, чем о нем вспомнили.

Бурный 1919 год он встретил уже в Одессе на посту министра снабжения белого правительства, действующего под патронажем французской армии.

Но белое движение обречено, и вскоре вместе с другими белоэмигрантами Рутенберг оказывается сначала в Стамбуле, а затем в Париже. Остались позади три невероятно насыщенных года, смертоносных и роковых, разбивших вдребезги его надежды.

Это был бесповоротный крах идеалиста-революционера Петра.

Зато у сиониста Пинхаса, окончательно занявшего его место, звездные часы были еще впереди. Ему осточертела политика. Теперь он будет заниматься совсем иными делами.

В Париже он возвращается к своей давней идее электрификации Палестины. Но для претворения этого проекта в жизнь нужны средства – и немалые. Рутенбергу удастся заразить своим энтузиазмом престарелого барона Эдмонда Ротшильда, который рекомендует его своему сыну, британскому финансисту Джеймсу Ротшильду. Появляются первые инвестиции.

В конце 1919 года Рутенберг поселяется в Палестине. И обнаруживает, что арабы, которым совсем не нравится декларация Бальфура, устраивают беспорядки, все чаще переходящие в погромы. Рутенберг и Жаботинский реагируют на это созданием боевой организации *Хагана* – отрядов еврейской самообороны.

Но самая важная задача заключалась в том, чтобы добиться от британского правительства концессии на строительство первой в Палестине электростанции.

Министром колоний Великобритании, от которого во многом зависело решение этого вопроса, был тогда Уинстон Черчилль. Ему импонировала идея возвращения древнего народа на свою историческую родину. Она соответствовала присущему Черчиллю чувству справедливости и его глубинному ощущению истории.

В 1921 году Черчилль объяснил арабской делегации, явившейся к нему, чтобы выразить протест против декларации Бальфура: «Евреи должны иметь родину. Это будет очевидной справедливостью. Где же еще может находиться их государство, как не в Палестине, с которой они откровенно и тесно связаны на протяжении трех тысяч лет?»

Вместе с тем Черчилль никогда не допускал, чтобы поддержка сионистских интересов противоречила его догме британского политика. Он искренне пытался сократить разрыв между чаяниями сионистов и возможностями Британии их осуществить. Но это оказалось не по силам даже ему.

В конце февраля 1921 года Черчилль и барон Джеймс Ротшильд прибыли в Палестину, чтобы своими глазами увидеть и оценить целесообразность реализации выдвинутой инженером Рутенбергом программы.

Высокие гости и свита разместились в нескольких автомобилях, припаркованных у здания британской администрации в Тель-Авиве, и кавалькада двинулась на север. Вскоре путь им преградила тогда еще полноводная и быстрая речка Яркон. Мостов через нее не было, и пожилой араб на лодке перевез всех на другой берег.

– Джентльмены, следуйте за мной, – произнес Рутенберг и легко взбежал на вершину холма. Черчилль и барон Ротшильд при-

соединились к нему. Панорама Эрец-Исраэль открылась перед ними во всей красе. С этой вершины было видно даже море в золотистой дымке. Рутенберг воткнул в землю свою трость и сказал:

- Электростанцию мы построим здесь.
- Это очень романтично, – усмехнулся Черчилль.
- И очень красиво, – сказал Ротшильд.

В 1922 году Рутенберг отправился в Соединенные Штаты в поисках дополнительных спонсоров. Ведь не об одной же маленькой электростанции на реке Яркон он мечтал. В его планы входило строительство на территории страны четырнадцати гидроэлектростанций, которые должны были не только залить светом всю Палестину, но и стать основой ее экономического благополучия.

Как раз в то время Палата общин приступила к обсуждению политики Великобритании в Палестине. Рутенберг сразу оказался под ударом. Несколько парламентариев обвинили Черчилля в безответственности. Мол, как же можно было доверить такое важное дело, как электрификация Палестины, бывшему террористу и вообще человеку с сомнительной репутацией.

Травлю Рутенберга подхватили британские газеты. Лондонская «Daily mail» опубликовала статейку под красноречивым названием: «Убийца священника Гапона запустил руку в британскую казну». Скандал был настолько раздут, что Черчиллю пришлось давать объяснения в Палате лордов. Вызванный «на ковер» министр колоний элегантно и уверенно отбил все атаки.

«Известно ли уважаемому министру, – спросил один из депутатов, – что Рутенберг – один из самых опасных русских революционеров, придерживающийся большевистского мировоззрения, что он убил священника Гапона сразу после первой русской революции?»

«Уважаемый депутат не может требовать от меня сообщить ему полную биографию мистера Рутенберга, поскольку это не входит в круг моих обязанностей, – любезно ответил Черчилль. – Однако я могу с точностью утверждать, что было бы безумием считать его большевиком. Г-н Рутенберг был изгнан из России именно из-за своего активного сопротивления большевизму и его учению».

Узнав о скандале, Рутенберг немедленно прибыл в Лондон и сразу разобрался, откуда ветер дует. За кулисами организованной против него травли стояли финансово-промышленные круги, опасавшиеся, что Рутенберг закупит оборудование для палестинской электростанции не в Англии, а в Германии, и они лишатся крупных прибылей. Рутенберг их быстро успокоил, договорившись о поставках оборудования с британскими фирмами, и буря тут же улеглась.

Благодаря энергии, целеустремленности и высокому профессионализму этого человека к 1923 году все препятствия остались позади и была основана Палестинская Электрическая компания, ставшая основой инфраструктуры будущего еврейского государства. Тогда же вступила в строй первая электростанция и «лампочка Рутенберга» пришла сначала в Тель-Авив, а затем и в каждый дом в Палестине. Электрические столбы и линии электропередач стали неотъемлемой частью палестинского пейзажа.

Рутенберг и Жаботинский

Говорят, что богатство губительно влияет на человека. Участи этой удается избежать лишь тем, кто, разбогатевав, продолжает трудиться, как во времена бедности. Именно таким был Рутенберг, сыгравший огромную роль в превращении клочка ближневосточной пустыни в пригодный для жизни оазис. Он работал с утра до вечера, причем заниматься ему приходилось не одной лишь энергетикой. Рутенберг был человеком состоятельным по европейским стандартам, а не по меркам крайне бедной Палестины. Благодаря своим способностям превратился он из террориста-революционера в финансового гения и мог пользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет человеку богатство. Не только палестинские евреи, но и живущие в Европе русские эмигранты обращались к нему за советом и помощью. И он старался помочь – и словом, и делом.

Со временем Рутенберг стал самым популярным человеком в Палестине. Он не занимался активной политической деятельностью, не принадлежал ни к одной из партий, не выступал на митингах и собраниях, не публиковал искрометных статей на актуальные темы. Ему все это было не нужно, потому что он обладал моральной властью, которая выше политической, ибо обращена к душе человека.

Его авторитет неуклонно возрастал. Его рациональный подход к любой проблеме вызывал уважение. И в левом, и в правом лагере считали его своим. Поэтому Рутенберг больше чем кто-либо другой имел шансы добиться мира – прежде всего промышленного мира – в растревоженном еврейском муравейнике Палестины.

Не следует забывать, что Рутенберг был человеком с необычайной судьбой, что не могло не отразиться на его характере и мироощущении. Человек, который так долго находился на кухне российского революционного радикализма, не мог освободиться от него без ущерба для своей психики. Знакомство с мрачными революционными тайнами, напрямую связанными с провокациями, сыском и террором, не способствовало сохранению нормального жизненного тонуса. Душевный надлом Рутенберга, от которого он страдал до конца жизни, был связан даже не с грехами его романтической молодости, а с неприятием несовершенства мира, которое он считал результатом человеческой ущербности. Вместе с тем Рутенберг прекрасно знал, что любая попытка исправить этот мир кончается трагически.

Вот он и стал мизантропом, хоть и понимал, что от этого мало проку.

Мизантроп, как известно, обречен на одиночество и непонимание. Правда, человек, называющий себя мизантропом, далеко не всегда им является.

Самым первым в истории мизантропом был древнегреческий философ Диоген. Тот самый, который жил в бочке и поразил воображение Александра Македонского. Когда Диогена спросили, почему он не любит людей, философ ответил: «Плохих не люблю за то, что они творят зло, а хороших – за то, что они позволяют им это делать».

Мизантропы бывают разные. Худшая разновидность мизантропии – это когда человек убежден в том, что он граф Монте-Кристо, а все остальные – дерьмо, но подкрепить свое убеждение аргументами не может. В целом же мизантропия – хорошее лекарство

от переживаний, связанных с несовершенством мироздания. Аргументы мизантропа просты.

Человеку вроде бы дан божественный разум, а что толку? Человечество как биологический вид существует, если верить теории эволюции, уже миллион лет и с каждым столетием становится все изощреннее в своей алчной кровожадности. Люди как раньше ходили, так и теперь ходят стенка на стенку, племя на племя, народ на народ, цивилизация на цивилизацию. Они покоряют, разрушают и убивают. Потом что-то строят и опять разрушают. Потом опять убивают...

Невольно возникает вопрос: можно ли считать все это проявлением «божественной сущности человека»?

Рутенберг, к счастью, стопроцентным мизантропом не стал. Он был слишком умен, чтобы впасть в такую крайность. Его мизантропия распространялась лишь на некоторые сферы жизни, правда, весьма обширные. Но вот создать для души оазис в этом мире, чтобы комфортно в нем жилось, он не смог.

Для этого нужно было забыть о зле и помнить только о добре.

Забыть о Гитлере и помнить об Эразме Роттердамском.

Забыть о нравственном сифилисе, разъедающем человечество, и помнить, что есть еще на земле миллионы здоровых людей.

Как и у каждого мизантропа, друзей у Рутенберга было немного. Наиболее духовно близким ему человеком из того круга, который обычно составляют соратники и единомышленники, был Жаботинский. Его Рутенберг уважал и высоко ценил еще со времен Легиона. Из всех политиков только по отношению к нему ощущал он душевно-человеческую близость и только ему писал доверительные письма. Это особенно удивительно, если принять во внимание, что по многим своим качествам они были антиподами.

Жаботинский владел энергией слова, а Рутенберг – энергией действия.

Жаботинский был неисправимым романтиком, а Рутенберг – последовательным реалистом.

Жаботинский был вождем правого лагеря, а Рутенберг считался центристом и «стоял над схваткой».

Жаботинский был в основном теоретиком, а Рутенберг – практиком.

Тем не менее ключевые позиции Жаботинского относительно будущего еврейского государства были Рутенбергу ближе, чем позиции Бен-Гуриона, включавшие набившую оскомину «классовую борьбу».

Об интимной жизни и Жаботинского, и Рутенберга известно мало, потому что оба хотели, чтобы эта сфера их человеческого бытия была закрыта для праздного любопытства.

Лакмусовая бумажка каждого мужчины – это его отношение к женщине.

У Жаботинского оно граничит с идолопоклонством. Для него женщины – это райские птицы, посланные на грешную землю как образцы совершенства для мужчин, для их исправления и утешения.

В этом Жаботинский был похож на Дон-Кихота, готового атаковать любого, кто посмеет отрицать, что Дульцинея Тобосская – прекраснейшая женщина на земле. Разница в том, что для Рыцаря печального образа существовала только одна Дульцинея, а Жаботинский видел ее во всех женщинах.

Он восхищался ими совершенно бескорыстно, как восхищаются произведениями искусства.

Рутенберг, в отличие от Жаботинского, отнюдь не склонен был идеализировать прекрасный пол.

В своем дневнике он как-то отметил странное, похожее на неприязнь, равнодушие, которое испытывает женщина к великим людям. Их гениальные способности, обогащающие и приумножающие духовный мир, женщину нисколько не волнуют. Гений может вызывать ее любопытство, но чувствовать себя естественно, как в родной стихии, она будет в обществе посредственности. Именно поэтому великие люди столь часто лишены женского тепла.

Нам не дано знать, почему происходит так, а не иначе. Почему женщина предпочитает простоватую заурядность величию человеческого гения. Не исключено, однако, что смысл полового отбора заключается в том, чтобы повысить уровень среднего человека. Ведь величие народа определяется не отдельными из ряда вон выходящими людьми, пусть даже и гениальными, а общим развитием всего ряда, состоящего из неисчислимых посредственностей.

Жаботинскому, впрочем, повезло в выборе спутницы жизни, что, вероятно, и сделало его убежденным феминистом. Но, как известно, исключения лишь подтверждают общее правило.

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Анна

В начале октября 1934 года Жаботинский завершил свое польское турне и вернулся в Лондон. Он открыл входную дверь своим ключом и поднялся по деревянной лестнице на второй этаж. Подошел к двери, из-под которой пробивалась узкая полоска света. Чуть помедлил, прежде чем войти.

Анна сидела на диване у голубого торшера.

– Почему ты не спишь? – спросил он. – Ведь уже два часа ночи.

– Тебя ждала, – сказала она просто.

Он знал, что большая часть ее жизни состоит из ожидания. Они поженились в октябре 1907 года, но в общей сложности провели вместе всего лишь несколько лет. Анне очень рано пришлось усвоить, как тяжело быть женой человека, посвятившего всего себя служению национальной идее. Она безропотно приняла его странный образ жизни с первого дня замужества. Им пришлось расстаться уже в день свадьбы. Вот как он сам рассказал об этом в «Повести моих дней»:

За пару дней до выборов в Думу я взял извозчика и вместе с матерью и сестрой отправился в синагогу. У входа мы встретились с Аней, той девочкой, которую прежде звал «мадмуазель», ей было тогда десять лет, и этим обращением я очаровал ее. В синагоге нас ждали казенный раввин и десять евреев. Я сказал ей: «Ты посвящена мне по закону Моисея и Израиля». Мы стали мужем и женой. Из синагоги я отправился на предвыборный митинг.

После митинга он должен был уехать, и жена, только что вышедшая из-под хупы, пожертвовала своим медовым месяцем ради его

политических интересов. Много ли есть на свете женщин, способных на такое?

Это была их первая разлука. А потом она уехала заканчивать университет в Нанси, а он отправился в Вену, где проводил время в библиотеках с утра до вечера. Круг его интересов был чрезвычайно широк. К тому же он учил языки.

Жаботинский, один из самых образованных людей своего времени, мыслитель и поэт, тончайший знаток мировой культуры не доучился в гимназии, бросил ее за год до окончания. Он сам затруднялся найти этому объяснение. «Это случилось, потому что потому», — написал он в своей автобиографии.

Этот глубоко цельный человек совмещал в себе несовместимые, казалось бы, вещи, что часто раздражало даже его политических единомышленников. Он, человек ренессанса, дарованный еврейскому народу на трагическом переломе между двумя мировыми войнами, так и не сумел стать общенациональным лидером и вынужден был тратить свои силы в основном на борьбу с нелепыми идеями. Это стало не только его трагедией, но и трагедией всего народа.

Два самых счастливых года они провели в Одессе после рождения сына Эри. Тогда они почти не расставались. Ну а потом снова его постоянные разъезды и ее нескончаемое одиночество.

Она никогда не упрекнула его даже взглядом за страдание, которое причиняла ей такая жизнь. Но то, что она и умом, и сердцем одобряла ее и даже боролась вместе с ним в меру своих сил и способностей, не освобождало его от чувства вины. Он знал, что свою судьбу она переносит с покорностью и отчаянием, и ему было горько сознавать это.

— Ты знаешь, — сказал он ей как-то, — что ты мое единственное утешение?

Она ничего не ответила, но, почувствовав его волнение, кивнула с такой нежной и пленительной грустью, перед которой мужчина навеки обречен быть беспомощным.

— Как Эри? — спросил Жаботинский.

— Хорошо. Он уже начал стажировку в Иерусалимском университете, — сказала она с едва уловимой печалью, словно боялась, что звук ее голоса не сможет передать всю глубину ее любви к сыну.

У нее было обостренное чутье на людей. Ей хватало одной короткой беседы с человеком, чтобы составить о нем точное и объективное суждение. Это качество своей жены Жаботинский ценил чрезвычайно. Ее изумительная интуиция не раз помогала ему принимать правильные решения в самых сложных и деликатных ситуациях.

— У меня потрясающая новость, — сказал Жаботинский. — Бен-Гурион согласился встретиться со мной у Рутенберга, чтобы обсудить все спорные вопросы. Если нам удастся договориться, то представляешь, какие откроются перспективы! Весь облик сионистского движения изменится до неузнаваемости.

Анна нахмурила тонкие брови, отчего на лбу у нее появилась складка, придающая суровость ее лицу.

— Мне этот профсоюзный босс всегда казался человеком заземленным. Фанатиком, лишенным воображения. Бессмысленно пытаться что-либо доказывать фанатику. Ведь он заблуждается только потому, что хочет заблуждаться. У него глаза инквизитора. Такому че-

ловеку нельзя доверять. Ты должен остерегаться его. Вспомни, что еще недавно он называл тебя Владимиром Гитлером.

– Ну да, ты права, – пожал плечами Жаботинский. – Бен-Гурион – человек с узким кругозором, но он каждой своей мыслью, каждым убеждением слит с рабочим движением, которому умеет придать целеустремленность своей личности. Я ценю в нем преданность идее сионизма и никогда не забуду, что он носил форму Легиона.

– Ну, когда это было, – скептически усмехнулась Анна.

– Неважно. Я знаю, что если бы дело потребовало, он без колебаний надел бы эту форму снова.

Больше они о политике не говорили. Она взяла его руку и прижала к своим глазам. Он чувствовал, как трепещут ее ресницы.

– Знаешь, я хочу всегда быть твоим единственным утешением, – сказала она.

Поля

В отличие от Жаботинского, Бен-Гурион не обладал универсальностью мышления и не ориентировался свободно в сферах человеческой деятельности, не связанных между собой идейными критериями. Мыслил и действовал Бен-Гурион строго в рамках своей идеологической доктрины, которой он с фанатичной настойчивостью пытался придать универсальный характер. В этом и был смысл его жизни. Он почти никогда не отступался от того, что однажды усвоил и принял.

Тем не менее романтическая восторженность не была чужда его натуре. Об этом свидетельствуют его многочисленные письма жене Поле в первые годы их брака.

Когда он познакомился с Полей Мунвейс, медсестрой из Бруклина, ему было уже за тридцать. Нависавшая над его лбом курчавая шапка волос уже начала редеть. Низкорослый, большеголовый, колючий, угловатый, он не имел успеха у женщин, да и не искал его в силу своей угрюмости и природной застенчивости. Неизменно серьезный, одетый в один и тот же мешковато сидевший на нем истрепанный костюм, он привлек внимание Поли своей непохожестью на всех, кого она знала. За ней ухаживал хирург больницы, где она работала, а ей вдруг понравился этот мрачный сионист из Плонска.

Она ему тоже понравилась, хоть и не было в ней той слегка кокетливой очаровательности, которая так привлекает мужчин. Круглолицая, близорукая, она не была красавицей, что в значительной степени компенсировалось живостью характера, детской непосредственностью, предельной искренностью. Не было в ней никаких комплексов, а переполнявшая ее радость жизни передавалась и ему, помогая освободиться от чувства печального одиночества.

«Видела бы ты его внешность, – писала Поля подруге, – его глазки с редкими ресницами, его потрепанную одежду. Но стоило ему открыть рот, и я сразу чувствовала, что это большой человек».

Бен-Гурион собирал тогда материал для своей книги об Эрец-Исраэль. Узнав об этом, Поля робко спросила, может ли она чем-то помочь.

– Разумеется, но боюсь, что тебе будет скучно торчать в библиотеке и выписывать цитаты, – ответил он.

– Нет, мне это интересно.

Он согласился, и Поля стала вечерами приходить в библиотеку, делать для него выписки. Работа пошла намного быстрее. Теперь они много времени проводили вместе, но Бен-Гурион никогда не говорил ей о своих чувствах. Поэтому она была не только обрадована, но и удивлена, когда он сделал ей предложение.

– Я согласна, – сказала она без колебаний.

– Не спеши, подумай, на что ты идешь, – попросил он. – Тебе ведь придется покинуть комфортную жизнь в Америке и уехать в маленькую бедную страну, где нет ни электричества, ни газа.

– Я на все согласна, – повторила она.

Утром 5 декабря 1917 года Поля закончила смену в операционной своей больницы, накинула пальто поверх ситцевого платья в горошек и поспешила в муниципалитет, где ее уже ждал жених в своем черном демисезонном пальто, мятых брюках и нечищенных ботинках. Они уплатили два доллара хмурому чиновнику муниципалитета, который и зарегистрировал их брак.

После этого торжественного события Поля вернулась в больницу, где ее ждала срочная операция, а Давид поспешил на заседание партийного комитета. В тот знаменательный день он записал в своем дневнике: «Я опоздал на четверть часа, и товарищи мои были поражены этим опозданием. Я объяснил им, что опоздал, так как только что женился. Все меня, разумеется, поздравили и удивились тому, что я никому раньше не рассказал о предстоящей женитьбе, а также тому, что я не оформил брак у раввина».

Только четыре месяца прожили они вместе на съемной квартире, а потом надолго расстались.

2 ноября 1917 года была обнародована декларация Бальфура, и самые дерзновенные мечты сионистских лидеров обрели вдруг конкретные очертания.

26 апреля 1918 года Бен-Гурион пришел домой в военной форме и сообщил своей беременной жене, что он вступил в Еврейский легион, который в составе британской армии будет сражаться за освобождение Эрец-Исраэль.

Поля восприняла эту новость как непоправимую катастрофу и заплакала горько и безутешно.

– Не плачь, – успокаивал ее Давид. – После рождения ребенка я заберу вас обоих в Эрец-Исраэль.

Много воды утекло, прежде чем ему удалось сдержать свое обещание.

В отличие от Анны, Поля обладала ординарным характером. В ней не было ничего от «стали и шелка» жен декабристов. Обыкновенная женщина без тяги к героическому, в меру умная, в меру глупая, мечтающая о тихой семейной гавани. Она была создана для того, чтобы жить в тени и безветрии, и не хотела для себя иной судьбы.

Но жизнь сложилась так, что ей пришлось в одиночестве рожать и растить дочку, бороться с нуждой. Ей было не только тяжело, но и обидно. Ее письма Бен-Гуриону той поры полны раздражения и упреков. Она любила его всем сердцем, посвятила ему всю жизнь, но ей не было дано преодолеть свою заурядность и бороться вместе с ним за тот великий идеал, который он всегда видел перед собой. Разделявшая их духовная пропасть с годами только увеличивалась.

Лицом к лицу

Была середина октября, и хмурая лондонская осень уже хозяйничала в городе. Пожелтевшая листва скудела с каждым днем. Редкий белесый туман заволакивал улицы.

Бен-Гурион весь продрог, пока нашел дом Рутенберга. Он позвонил, и дверь сразу же отворилась, словно этого ждала.

– Добро пожаловать, Давид, – приветствовал его хозяин.

Бен-Гурион пожал ему руку и вошел в гостиную. Жаботинский стоял у камина и смотрел на него с таким выражением лица, словно увидел привидение.

– Шалом! – произнес Бен-Гурион.

Жаботинский шагнул к нему с протянутой рукой. Спросил с легкой улыбкой:

– Разве вы не хотите пожать мне руку?

Заклятые враги обменялись рукопожатием.

– Вот и славно, – оживленно произнес Рутенберг. – Хорошая все-таки вещь рукопожатие. Оно ни к чему не обязывает того, кто протягивает руку, и дает какую-то надежду тому, кто ее пожимает.

– Если бы у меня не было надежды, я бы сюда не пришел, – сказал Бен-Гурион.

– То, что мы с вами встречаемся здесь сегодня, назовут самым невероятным эпизодом в сионистской истории, – усмехнулся Жаботинский.

Они славно поужинали втроем. Несколько бокалов вина помогли растопить лед. После ужина Рутенберг сразу же распрощался и ушел, сославшись на неотложные дела.

Оставшись наедине, Жаботинский и Бен-Гурион проговорили почти до рассвета.

– У меня к вам много вопросов, – предупредил Жаботинский. – Среди них будут и дерзкие, и не очень приятные. Уверен, что вы ответите на них по бен-гурионовски, без страха.

Бен-Гурион польщено усмехнулся.

– Я готов обсудить с вами всё, что касается отношений рабочих с ревизионистами, чтобы покончить с нашими разногласиями во имя конечной цели, – сказал он.

Изумление Бен-Гуриона росло по мере того, как теплела атмосфера встречи. Вот могут же они сидеть рядом и договариваться. Что же мешало им сделать это раньше? Он вдруг почувствовал себя легко и свободно, словно беседовал с близким единомышленником.

Бен-Гурион был известен своим пренебрежением к этическим нормам поведения, когда дело касалось его политических амбиций. Его страстные инвективы в адрес еврейских предпринимателей в Палестине, которых он огульно называл «буржуазными кровососами», тенью легли на его политическую репутацию. Успешно освободившись от багажа большевиков, он долго хранил приверженность к их тактике извращения фактов и очернительства противников. Он вел политическую игру, ставкой в которой была власть, но эта игра не затрагивала глубинных струн его души. Его яростные нападки на Жаботинского были всего лишь хорошо рассчитанным политическим актом. На самом же деле Бен-Гурион не

меньше других ценил многогранную личность своего политического оппонента и завидовал его колдовскому обаянию, хотя даже самому себе никогда не признался бы в этом.

Все, что Жаботинскому давалось легко, Бен-Гурион добывал тяжелым трудом. Он был гениальным самоучкой, но, выросший в затхлой атмосфере еврейского местечка, так и не стал своим человеком в чертогах мировой культуры, несмотря на все свое железное упорство.

Зато в этом неотесанном грубоватом человеке ощущалась бьющая через край могучая сила, энергия, решительность. И он обеими ногами стоял на почве палестинской действительности, ощущал пульс ее каждодневной жизни. Ревизионизм его не пугал – Бен-Гурион вообще ничего не боялся. Приход нацистов к власти в Германии и ухудшение положения евреев в диаспоре требовали сплочения всего сионистского движения. Поэтому он и не упустил предоставленную Рутенбергом возможность.

До рассветных часов они пили чай и беседовали, перескакивая с темы на тему, торопясь охватить самый широкий спектр вопросов, как бы опасаясь, что у них не будет больше такой возможности.

– Знаете, Давид, – сказал Жаботинский, – я ведь действительно не враг рабочим и с уважением отношусь к людям физического труда. И я один из тех, кому безразлична социальная окраска будущего еврейского государства.

– Ну, это вы для красного словца говорите, – усмехнулся Бен-Гурион.

– Да нет же, – остался серьезным Жаботинский. – Если бы меня убедили, что не существует иного пути к государству, кроме социализма, я бы пошел на это. Более того, если бы мне сказали, что у нас может быть только государство религиозных фанатиков, где меня заставят жрать фаршированную рыбу с утра до ночи, я бы и на это согласился. Я принял бы даже идишистское государство, хотя для меня на этом закончилось бы очарование сионизма. Если бы ситуация была такой, что вот хоть убейся, но нет другого пути, я согласился бы и на это.

– Нет уж, – сказал Бен-Гурион. – Мы создадим новый тип государства, не имеющего ничего общего с жалкими стереотипами прошлого. У нас будет государство величайшей социальной защищенности, которое повергнет в смятение всех историков и социологов. У нас сами массы будут управлять и решать.

– Массы сами по себе ничем управлять не могут, – возразил Жаботинский. – Им необходимо следовать чему-то высшему, чему-то, что исходит от элитарного меньшинства. Ведь человек, хочет он того или нет, самой природой предназначен для какого-то высшего начала. Кто обретает его сам – тот избранный. Кто получает его из вторых рук – тот так и останется частью массы.

– Ну, это ведь эсеровская теория героев и толпы, – усмехнулся Бен-Гурион. – Ее исповедует наш друг Рутенберг.

– Когда-то исповедовал, – поправил его Жаботинский. – Рутенберг уже давно порвал с партией, его больше не интересуют идеологии, но он хранит верность стране и людям, и это, по-моему, прекрасно. Что же касается нашего будущего государства, то я вижу в нем не аппарат власти одного класса, а средство национального единства. Но я хотел о другом вас спросить. Верите ли вы в Бога?

– Скорее да, чем нет. Но религиозных правил не соблюдаю и религиозным евреем в общепринятом понимании не являюсь. А вы?

– Со мной – сложно. Я считаю, что Бог вне природы, то есть вне пространства и времени. Это значит, что человеку не дано познать его сущность. Лично я думаю, что Бог или внутри меня, или нигде. Проблема в том, что человек сотворен так, что он должен во что-то верить. Ведь человек, который ни во что не верит, готов поверить во все. И мы не должны забывать о том, что все наши духовные ценности рождены в горниле контакта человека с Богом и связаны с величайшими тайнами вечности.

– В том, что вы говорите, есть рациональное зерно. Я вижу будущее еврейское государство как сплав сионистской идеологии с социализмом и иудаизмом. Религиозный элемент нам абсолютно необходим, ибо ничто не может заменить этот фактор еврейской уникальности.

– Вот видите, – улыбнулся Жаботинский, – за исключением социализма, у нас нет разногласий в столь важном вопросе. Это залог того, что мы сумеем договориться и по другим проблемам.

– Дай-то Бог, – сказал Бен-Гурион.

Соломон Якоби

Переговоры обоих лидеров продолжались с возрастающей интенсивностью сначала у Рутенберга, а затем в доме ученика и друга Жаботинского, Соломона Якоби. Его жена Эдна отправилась с детьми в Австралию навестить родителей, и дом Якоби в тихом районе Голдерс Грин был идеальным местом для конспиративных встреч.

Немногих людей Жаботинский так сердечно любил, как Соломона Якоби. Разница в возрасте – Жаботинский был на семнадцать лет старше – не мешала их дружбе. В жизни Жаботинского Якоби играл примерно такую же роль, как Нащокин в жизни Пушкина.

Сёма – так звали его друзья – был исключительной личностью. Этот красивый талантливый человек, отчаянно смелый авантюрист, готовый на любое безрассудство во имя добра и справедливости, балагур и рассказчик, был к тому же хорошим инженером. И в Англии, и в Палестине для такого энергичного одаренного специалиста открывались многообещающие возможности, но он предпочел связать свою судьбу с ревизионистским движением и его вождем, что, конечно, не сулило никаких материальных благ. Он был из тех разносторонне одаренных людей, которые могут все: и дом построить, и статью написать, и организовать побег обреченных людей.

Нежное сердце и врожденный аристократизм души особенно роднили его с Жаботинским. Но самое главное, сотни евреев были обязаны своим спасением этому человеку. Ведь это он переправил их в Палестину из ада гитлеровской Европы.

Он и умер, спасая евреев, где-то на Балканах 2 декабря 1939 года.

Жизнь его была замечательной, а смерть прекрасной.

В начале 1940 года Жаботинский, срок жизни которого тоже уже был отмерен, написал некролог на смерть друга.

Приводим наиболее яркие выдержки: Соломон Якоби не заслуживает забвения, а некролог Жаботинского – это реквием его памяти.

Один из эпизодов общественной деятельности Соломона Якоби имеет подлинное историческое значение, а ведь когда все это происходило, ему было всего 20 лет.

Еврейская боевая дружина, защищавшая одесское население на протяжении 1918-1919 годов, была делом рук Якоби: он был ее фактическим организатором и командиром, он сплотил добровольцев, он руководил или по крайней мере направлял ход всех щекотливых и рискованных переговоров с тринадцатью различными властями, которые сменяли друг друга в тот период. Список этих властей выглядит как ночной кошмар: украинцы Петлюры и гетмана, белогвардейцы Деникина, большевики, французская оккупация, греческая оккупация, и чего еще только не было...

На протяжении целых двух лет всего этого бедлама Украина «плавала» в еврейской крови. Сто шестьдесят тысяч евреев было убито. В каждом городе, в каждом местечке был свой список жертв. Единственным исключением была Одесса со своими ста сорока тысячами еврейских душ: ни одного серьезного волнения на протяжении всей гражданской войны. Все попытки спровоцировать погром пресекались в зародыше – ни еврейских, ни христианских жертв, исключительно благодаря Еврейской дружине. Все ее бойцы и командиры были евреями, они носили форму, размещались в бараках и были вооружены винтовками и пулеметами.

Все власти – некоторые вынужденно – признавали это формирование и полагались на него для сохранения порядка в городе, население которого (дюжина, если не больше национальностей) доверяло ему безоговорочно.

Г-н Брайкевич, который тогда был городским головой, а сейчас живет в Лондоне, рассказывая о тех днях, говорит: «Это был наш собственный, одесский полк», – и вспоминает мальчика, который возглавлял его и представлял перед муниципалитетом и пестрым сбродом этих эфемерных военных диктаторов.

...С концом существования дружины этот мальчик оказался в двух шагах от большевистской расстрельной стенки. Когда Красная армия окончательно водворилась в Одессе, Еврейский полк решил самораспуститься, и Якоби схоронил все оружие и амуницию в секретном месте. После этого, посчитав свой долг выполненным, он направился в Палестину на пароходе «Руслан».

Но за четверть часа до отплытия парохода от берегов Одессы нагрянули с обыском чекисты, Якоби был арестован и возвращен на берег. В ЧК ему предложили выбор: открыть тайник с оружием или расстрел... Он отказался выдать тайник, и этот маленький арсенал, возможно, до сих пор ржавеет в том секретном месте.

Каким-то чудом, практически невероятным (один из чекистов оказался бывшим членом дружины и не забыл все хорошее, сделанное Якоби), это дело было замято...

...Когда-нибудь, я надеюсь, полная история нашего военного ренессанса – возрождения Израиля как одной из борющихся за выживание наций на этой земле – будет написана; и среди томов этой истории дружина Якоби будет удостоена почетного места...

...Он умер на посту, и я вынужден умолчать о миссии, которая бросила его практически с больничной постели в Лондоне на балканский берег, где и свершилась его кончина...

...Нечто великое и редкостное по ценности было отобрано у нас всех: из его дома, где благородная женщина оплакивает его, и от нас – движения такого молодого, но уже с таким переполненным кладбищем.

Заблокированный успех

Целый месяц встречались они почти ежедневно в доме Якоби в обстановке полной секретности и делали все для того, чтобы прийти к соглашению. Это оказалось нелегким занятием, ибо их позиции по целому ряду проблем совершенно не совпадали. Но они выкладывались до конца, максимально шли навстречу друг другу, налаживали шаткие мостики над безмерными пропастями и неуклонно продвигались к желанной цели.

Соломон Якоби обеспечивал своих гостей всем необходимым, выводил на прогулки, иногда уже глубокой ночью, развлекал смешными рассказами и шутками и вообще всячески поддерживал их жизненный тонус.

Динамика развивающихся взаимоотношений двух лидеров отражена в письме Жаботинского к Эдне в Австралию:

Здесь, в нашем холостяцком дубле, явно пахнет юностью. Сёма сущий ребенок и не может этого полностью оценить, но мне-то на днях стукнуло пятьдесят четыре. Каждая коробка сардин, открытая без женской помощи, а главное – каждое блюдо, вытертое без катастрофы, имеют привкус совершенного подвига, что напоминает мне студенческие дни в Италии (а сейчас, в этом климате, напомнить об Италии может немного).

Эдна, ваш дом – историческая сцена для большинства моих бесед с самым главным драчуном из всех левых лейбористов Палестины, с Бен-Гурионом.

Наша дружеская сердечность – сюрприз для нас обоих, и когда его партия узнает, что он готовил для меня яичницу на вашей газовой плитке, то его линчуют.

Бен-Гурион все еще пытается делать вид, будто верит, что Ставский и Розенблат «это сделали», но мы с Сёмой выхохотали это из его внутренностей – к его скрытому удовольствию – я уверен!

А вот приведут ли наши переговоры к каким-либо результатам и принесут ли реальную пользу – это совсем другой вопрос. Но в любом случае, от имени обеих договаривающихся партий я шлю свою сердечную благодарность за ваше беспримерное гостеприимство. Поцелуйте за меня девочек и рекомендуйте меня вашим родителям как человека, неизменно и искренне восхищенного их дочерью.

Всегда ваш В. Ж.

* * *

26 октября их встреча, начавшаяся в два часа дня, закончилась на рассвете. Усталые и измученные, они вышли на улицу. С неба сочилась какая-то дрянь, до костей пронизывал холодный ветер, но они этого не замечали. В их карманах были черновики двух соглашений,

регулирующих отношения между лейбористской федерацией трудящихся и организацией рабочих-ревизионистов.

Оба были счастливы. Не будет больше классовой борьбы среди еврейских тружеников Палестины. Прекратится насилие. Брат не поднимется на брата. Трудовые конфликты будут решаться методом переговоров, а не силового давления. Много чего хорошего было зафиксировано в тех соглашениях, но всему этому так и суждено было остаться на бумаге.

Они, однако, этого еще не знали и были полны радужных надежд. Оставалось только выработать третье соглашение о справедливом представительстве ревизионистов в ВСО. Два уже выработанных соглашения вселяли в них уверенность в успехе.

На следующий день Бен-Гурион прислал Жаботинскому письмо, выдержанное в несвойственном ему тоне доверительной интимности:

Я надеюсь, что вы не разгневаетесь на меня, если я обращусь к вам как к товарищу и другу, без церемонного «господин».

Вчера мы расстались только из-за усталости после 15 часов напряженной работы. Я не сентиментален, и вы, мне кажется, тоже... Я не высказал вам всего, что было у меня на сердце. Не скажу этого и сейчас. Но что бы ни случилось впоследствии, это не изменит того факта, что мы встретились и на много часов забыли обо всем, что было между нами. Великая тревога за наше движение и за успех всего нашего дела, при взаимном доверии и взаимном уважении, подвигла нас на совместное усилие.

Этот факт не сотрется в моем сердце. И будь что будет. С уважением жму вашу руку.

Жаботинский немедленно ответил в том же духе:

Неописуемое впечатление произвело на меня ваше письмо. Я бываю сентиментален (и не стыжусь этого), но это гораздо больше, чем просто сентиментальность, если я тронут до самых глубин, услышав от вас после стольких лет – и каких лет! – слова «товарищ и друг».

Конечно, очень трогательно наблюдать, как вчерашние враги, развернувшись на сто восемьдесят градусов, клянутся друг другу в вечной дружбе. Но в политике, как известно, дружбы не существует. Жаботинский и Бен-Гурион могли по тактическим соображениям щадить друг друга, могли, как два бревна в одной реке, плыть некоторое время рядом, но в дальнейшем конфронтация между ними была неизбежной. Слишком уж глубокая пропасть разделяла оба движения.

28 октября проекты обоих соглашений были опубликованы в газете «Гаарец».

Неизвестно, узнали ли палестинские лейбористы о том, что Бен-Гурион вдобавок ко всему еще и делал яичницу их классовому врагу, но избиение, которое они устроили своему лидеру, действительно походило на линчевание.

Началось с того, что Берл Кацнельсон позвонил Бен-Гуриону в Лондон и голосом, полным тревоги, осведомился о его душевном здоровье.

– Я в порядке, – сказал Бен-Гурион.

– Сомневаюсь, – сухо произнес Кацнельсон. – Ты ведь не имеешь никакого представления о том, как воспринят твой политический кульбит всеми товарищами. Они серьезно обеспокоены твоим душевным состоянием. Ты должен немедленно приехать и разъяснить нам всем, что с тобой стряслось.

– Я приеду, но не сейчас, – раздраженно сказал Бен-Гурион и повесил трубку.

Начиная с этого момента он уже не знал спокойной минуты. Шквал гневных телеграмм из Палестины обрушился на него. ЦК его партии потребовал прекратить несанкционированные переговоры. Влиятельные члены Федерации рабочих профсоюзов клеймили своего вождя чуть ли не как классового врага.

Но Бен-Гуриона не испугала эта буря. Он был полон решимости довести дело до конца несмотря ни на что.

Жаботинскому было легче. У него не было таких проблем, ибо он являлся непререкаемым авторитетом и единоличным вождем в своем движении. Бен-Гурион же и в своей партии, и в Федерации профсоюзов был всего лишь первым среди равных.

Оба лидера продолжали форсировать переговоры и с энтузиазмом работали над третьим договором, который должен был привести к полной гармонии в отношениях между двумя движениями.

Но тут, что называется, нашла коса на камень.

7 ноября ЦК партии Мапай в ультимативной форме потребовал от Бен-Гуриона не подписывать договора о Всемирной сионистской организации, пока ЦК не обсудит его полного и окончательного текста. На следующий день прибыли резкие телеграммы от Чертока, Кацнельсона, Шпринцака и других не менее влиятельных лиц.

Давление стало невыносимым, и Бен-Гуриону пришлось подчиниться. Он объяснил Жаботинскому, что по вопросу о ВСО им не дано придти к соглашению, и отправился в Палестину, чтобы защитить то, что уже было достигнуто.

Надо отдать Бен-Гуриону должное. Он делал всё, чтобы убедить своих критиков в правильности избранного им пути. Встречался с людьми, выступал на собраниях, писал статьи, обращения и письма.

Всего этого оказалось недостаточно. Он пожал то, что посеял. Ведь это он так долго вел бешеную кампанию по дискредитации Жаботинского и его движения. Это он, полыхая яростью, осыпал ужаснейшей бранью своего политического оппонента и называл его то «лакеем буржуазии», то «дуче», то «Владимиром Гитлером».

И в партии Мапай, и в профсоюзах очень немногие знали подлинного Жаботинского. У них не было возможности судить, насколько обоснованы нападки Бен-Гуриона на ревизионистского вождя. Они поверили ему, потому что он был их лидером. Но, поверив ему тогда, они не хотели верить ему теперь.

«Ты говорил нам правду тогда или говоришь ее сейчас?» – спрашивали Бен-Гуриона на митингах и собраниях.

24 марта 1935 года Федерация рабочих профсоюзов Палестины провела всеобщий референдум. Большинство голосов достигнутые в Лондоне соглашения были отвергнуты. Бен-Гурион потерпел тяжелое поражение. Надежды на мир и сотрудничество в сионистском движении были похоронены.

Жаботинский немедленно сделал выводы. Пути обоих движений расходились окончательно, что необходимо было надлежащим образом оформить.

Через считанные недели после референдума в Палестине ревизионисты вышли из ВСО и создали свою Всемирную сионистскую организацию.

Дружеские отношения между Бен-Гурионом и Жаботинским сохранялись еще некоторое время, а потом логика борьбы взяла свое.

30 марта 1935 года – спустя всего четыре дня после пресловутого референдума – Жаботинский писал Бен-Гуриону:

Я недавно просмотрел большое количество ваших левых газет. Что меня изумило, так это их жестокость и отсутствие человеческого сострадания к людям – из плоти, крови и души. Это те же характеры, что так страшно проявились в пыточных подвалах Лубянки. Они проповедуют вседозволенность, включая даже физическое насилие по отношению к оппонентам...

Нельзя закрывать глаза на то, что среди вас вырос чудовищный еврейский хам. Вы можете сказать, что хамы есть с обеих сторон, и, возможно, будете правы. Но если я увижу человека, позволяющего себе хамство в реальной жизни или в печати, то позабочусь о том, чтобы его изгнали из наших рядов, и 99 процентов моих товарищей с энтузиазмом меня поддержат.

Можете ли вы обещать мне, что и из ваших рядов такие люди будут изгнаны?..

Не исключаю возможности, что вы прочтете эти строки уже другими глазами. Боюсь, что я немного переменялся. Признаюсь, например, что в момент получения известия о результатах референдума какая-то внутренняя слабость шепнула мне «счастливо отделался». Возможно, что и вы также испытали чувство облегчения. Но не изменилось во мне возникшее в Лондоне уважение к Бен-Гуриону как к человеку и к его целям.

В ответном письме Бен-Гурион обошел поднятый Жаботинским вопрос о хамах в рабочем движении. Тем не менее его ответ выдержан в духе не только дружбы, но и возвышенной патетики:

Возможно, наши лондонские усилия ушли, как дым, с общественной точки зрения. Но ведь кроме общественно-политического аспекта есть еще человеческие чувства, и когда я подвожу итог лондонским дням, то мне кажется, что мы не потратили время зря. Нам, вероятно, предстоит сражаться на разных баррикадах. Но что бы ни случилось в дальнейшем, лондонский эпизод не сотрется из моего сердца. Я многое могу забыть, но только не это. И если нам суждено бороться друг с другом, то вы должны знать, что среди ваших врагов есть человек, уважающий вас и разделяющий вашу боль. Рука, которую, как вы думали при нашей первой встрече, я не хотел вам подать, будет протянута к вам даже в разгаре битвы – и не только рука.

Увы, эти красивые слова оказались чем-то вроде фальшивого купона. Прошло не так уж много времени, и Бен-Гурион, благополучно вытравивший из своего сердца лондонский эпизод, стал атаковать еретиков-ревизионистов и их вождя с прежним яростным пылом.

Возвращение на родину

4 августа 1940 года Жаботинский внезапно скончался в лагере Бейтара под Нью-Йорком и был похоронен там, где его застала смерть. В своем завещании он просил перенести его прах в Эрец-Исраэль только по решению законного правительства еврейского государства.

Пятнадцать лет стоявший во главе израильского правительства Давид Бен-Гурион всеми силами противился принятию такого решения, опасаясь, что церемония перезахоронения станет по-смертным триумфом его давнего политического соперника. Поэтому он до последнего дня упрямо отказывался видеть в переносе останков Жаботинского нечто большее, чем чисто политический акт. Напрасно его одолевали просьбами представители всех кругов общества, включая видных деятелей его собственной партии. Он находил все новые отговорки и не уступал.

«Нам не нужны мертвые евреи, нам нужны живые евреи», – неизменно отвечал он всем, кто обращался к нему по этому вопросу, и добавлял, что готов сделать исключение лишь для двух людей: барона Эдмонда Ротшильда и Теодора Герцля.

Ставший преемником Бен-Гуриона Леви Эшколь был совсем другим человеком. 15 марта 1964 года израильское правительство утвердило предложение Эшколя о переносе останков Жаботинского и его жены Анны на родину.

Произошло то, чего так опасался Бен-Гурион. Церемония перезахоронения, состоявшаяся 9 июля 1964 года, вылилась в демонстрацию всенародной любви к Жаботинскому. 250 тысяч человек сопровождали траурный кортеж в скорбном молчании. Медленно кружились людские завихрения на боковых улицах. Сразу за катафалком шли постаревшие соратники Жаботинского по Еврейскому легиону, а за ними – члены созданной им организации, которой еще предстояло взять на себя ответственность за судьбу государства. Мало кто из них знал его лично, но они жили и сражались по его заветам.

Ну а дальше бурлило людское море. Шли тысячи простых людей с детьми и внуками. Народ отдавал должное своему великому сыну, вернувшемуся из изгнания.

Было бы несправедливо не сказать в заключение несколько слов о женщине, которая его любила и посвятила ему всю свою жизнь. Она, как могла, помогала мужу в осуществлении его великой миссии, и было в самой сути ее души то царственное величие, которое он особенно ценил.

После смерти мужа Анна поселилась в Нью-Йорке и прожила еще десять лет.

Ни к кому она не относилась с такой чернотой, как к Бен-Гуриону. Она даже имени его никогда не произносила. На все призывы друзей и близких переселиться в Эрец-Исраэль Анна отвечала: «Я не могу оставить его могилу». Ее пугала мысль о том, что ее похоронят в Израиле, и он навсегда останется один на чужбине.

Анна Жаботинская умерла 22 декабря 1949 года и была похоронена на Нью-Йоркском кладбище Нью-Монтефиоре рядом с мужем.

Сегодня она покоится рядом с ним на горе Герцля в Иерусалиме.

Шмуэль Йосеф Агнон

С КВАРТИРЫ НА КВАРТИРУ

Зимние дни миновали, но облегчения не принесли. Я не успевал излечиться от одной болезни, как начиналась другая. Врач сделался постоянным гостем в моем доме. Приходил два-три раза в неделю, осматривал, щупал пульс и прописывал снадобье. Одни микстуры отменял, другие назначал, и советы следовали за советами. Даже время теперь подчинялось врачу, и весь дом наполнился лекарствами, в запахе которых ощущалось присутствие смерти. Тело мое ослабло, губы растрескались. Горло хрипело, язык обложило, а гортань, созданная для беседы, отзывалась одним лишь кашлем. Я был близок к отчаянию, но врач не отчаивался. Он назначал новые микстуры и давал моей хвори новые прозвания. Улучшения, однако, не наблюдалось.

В заботах о здоровье миновали холодные дни. С каждым днем солнышко поднималось все раньше и задерживалось на небосклоне все дольше. Небо улыбалось земле, а земля улыбалась людям. Выпростала ростки и цветочки, травки да колючки. По склонам и долам рассыпались козы и овцы, и из каждого дома, из каждой лачуги проклюнулись малые дети. Прилетели две птицы, принесли в клювах листья да соломку, порхнули с окна на дерево, а с дерева – снова к окну, пощебетали и соорудили себе гнездышко. Новым ветром повеяло в мире, и мир пошел на поправку. Болезнь ослабила хватку, тело стало легким, необременительным. Врача тоже не обошли перемены, инструменты заплясали в его руках, да и сам он глядел проще и веселей. Входил со словами: «Вот и весна наступила», – и растворял окно, смахивая с подоконника склянки с лекарствами, а разбились, нет ли – ему все едино. Он по-прежнему был внимателен и прописывал снадобья. Писать-то пишет, но вместо латыни женское имя выводит и в кармашек себе засовывает, либо за ремешок часов на левой руке. А по прошествии нескольких дней посоветовал мне сменить обстановку, скажем, съездить к морю и насладиться освежающим бризом.

Я решил не продлевать аренды, а съехать с квартиры и перебраться в Тель-Авив. Поменяешь место – поменяешь счастье, гласит пословица, сказал я себе, глядишь, море поможет, и мне полегчает.

Узкая, с низким потолком комнатка, которую я снял в Тель-Авиве, выходила на улицу, где не прекращался поток пешеходов и теснились тележки с мороженым и газированной водой. Внизу находилась автобусная остановка, где круглые сутки толпились народ. С пяти часов утра и до часу ночи снуют туда-сюда автобусы да всевозможные коляски и повозки, ведомые двуногими и четвероногими. Вот уж и продавцы лимонада ушли, и людской гомон утих, а гулкое эхо все бьется о стены моей комнатухи, будто бросили камень в медный котел, и хоть выскочил камень, а котел все гудит и грохочет, гудит и гремит. Несчетно просыпался я среди ночи от дребезга ста-

канов и скрипа тормозов, словно все уличные водonoсы сошлись в моей комнате и наполняют стаканы страждущим и все на свете автобусы ездят взад-вперед над моим потолком. А может, и не эхо то было, может, и впрямь рокотали автомобили и шумели дворники, подметая улицы, пока другие спят. Что ж до наполняемых стаканов, то, верно, пришел сосед с собрания, сунул под кран разгоряченную голову, а мне уж кажется, будто кто-то разливает шипучий лимонад и звякают, и звякают стаканы. Так и проводил я ночи без сна, а предрассветные часы – без сладкой грезы. Поступился я сном и желал лишь одного – полежать спокойно, но под окна являлись торговцы рыбой и принимались нахваливать свой товар, а потом всходило солнце и накаляло мою комнату адским жаром.

Нехватка сна мешала мне насладиться тем, что предлагает человеку Тель-Авив. Шел я к морю и начинал раздеваться – усталость одолевала меня, и не было сил скинуть одежду. Один башмак стяну, а другой – нет мочи. Плещут мне навстречу морские волны, не то зазывают, не то прогоняют. Так, несолоно хлебавши, я возвращался домой совсем изможденный. И снова советовали мне друзья: смени квартиру, добром это все не кончится. В меру воображения и красноречия расписывали мне ужасы и напасти, подстерегающие человека в таком, как мое, жилище. Одни беседовали со мною степенно и деловито, другие пугали тем, что случилось с ними. Когда хватало во мне силы думать, я думал, что правда на их стороне и необходимо съехать с этой квартиры. Но не всякая мысль ведет к делу.

Так и оставался я на месте, пока не грянула новая беда. А что это за беда? У хозяев квартиры был сынок, и множество разных недугов угнездилось в его тщедушном тельце. До того как я у них поселился, мальчик жил у бабушки, но стоило мне въехать, мать забрала его домой. Не то от тоски по сыну забрала, не то оттого, что плата за комнату позволяла ей прокормить его самостоятельно. Не знаю, было ли ему хорошо у бабушки, но у матери ему хорошо не было. Вечно она занята, все общественные дела на ней, и не хватает ей времени на собственного сына. Каждое утро, с рассветом, она выносила его на улицу, совала в руку помидор или баранку, наставляла, что делать и чего не делать, целовала в губки и уходила. Отец малыша был занят поисками работы, и свободного времени у него вовсе не было. Лежал себе мальчик у порога и ел землю либо соскабливал со стены известку и тоже совал ее в рот. Разве мать не оставляла ему поесть? Да только так уж человек устроен, что жаждет недоступного, а доступным не утешается. И всякий раз, как я проходил над ним, он тянул ко мне свои худенькие ручонки, цеплялся за меня и не отпускал до тех пор, пока я не возьму его на руки и не покачаю легонько. И что он во мне нашел? Я-то не видел в нем ничего хорошего. К детям я отношусь точно так же, как ко взрослым: нравятся – сближаюсь, не нравятся – держусь подальше. Много всякой неправды придумано людьми, да и я не безгрешен, но тут скажу без ложной скромности: я перед детьми никогда не кривлю душой.

Все вышесказанное касается дня. А ночью дела обстояли еще хуже. С того момента, как мальчика укладывают, и до самого утра он мучается, стонет и плачет. А не плачет и не стонет – еще горше,

ибо кажется, что отдал Богу душу. Я говорю себе: встань, пойдй разбуди его родителей. Но не успею встать, а уж слышатся его плач или стоны. Я, как и вы, ни плача, ни стонов не люблю, но тут мне его плач слаще райской песни, потому что знаю – ребенок жив.

Короче говоря, прилепился ко мне этот мальчик. Может, оттого, что отец и мать не занимались им, как положено, и он жаждал общества, а может, оттого, что я его качал. Так ли, эдак ли, но едва я ступлю на порог, он просится на руки. Возьму я его, а он тычет пальчиками мне в глаза и смеется. Бывало, целый день не увидишь улыбки на его лице, а стоит ему ткнуть мне пальцем в глаз – смеется. Уж сколько раз твердили ему отец и мать: «Нельзя, Буби, нельзя». Впрочем, строги они были только для виду, а сами горды и рады, что сынок их такой смышленный. Я же, отнюдь не разделявший этой радости, удивлялся другому: тучи комаров и мух облепляют болячки мальчика, и он ленится их прогнать, а лишь завидит меня – делается проворным.

Тогда я стал действовать умнее. Прежде чем выйти из дому, проверяю, где Буби. Если он на пороге, я прячусь дома и пережидая. Но поскольку днем в моей комнате не высидишь, приходилось идти. Только выйду – мальчик хватает меня за ноги. С вящей любовью цепляется за меня, ждет, что возьму его на руки и покачаю. И я качаю его, а он тычет пальцем мне в глаз и смеется. Положу его на землю, он кричит: «Тять-тять, зять-зять», что значит «дядь-дядь, взять-взять». И кто это придумал такой стишок, он сам или воспитательница? В любом случае, сюсюканье уж точно от какой-нибудь воспитательницы. Человека, как известно, отличает от животных способность к членораздельной речи, да только все содеянное Творцом ждет своего довершения. Вот воспитательницы и стараются. И коль скоро ребенок просил, я снова брал его на руки и снова принимался качать, а он тычет мне пальцем в глаз и говорит: «Буби, Буби». Собственное отражение он обнаружил в моем глазу и все норовит выковырять его оттуда.

Когда человека одолевают напасти, он начинает размышлять о своих поступках. Кроткий во всем винит себя, не кроткий – на чужой счет списывает. Коли это предприимчивый человек – старается что-нибудь предпринять, а коли созерцатель – ждет, чтобы беда миновала сама собою. Случается, и вправду проходит беда, а бывает, нагрянет новая и позабудешь о прежней. Я не достиг пока ни величия скромников, ни расторопности деятельных, а потому сидел и размышлял о порогах. И зачем только их вообще делают? Не было бы в доме порога, не лежал бы на нем ребенок, и я бы с ним не встречался.

Выше упоминал я своих друзей, но из добрых к ним чувств вспомню о них снова. Поначалу они меня просто предупреждали. Когда ж их предсказания сбылись, заговорили со мной как с недужным и вразумляли: «Всякому человеку необходимо нормальное жилье, тем более тому, кто нуждается в исцелении». Но у меня не было сил заниматься квартирой, и я ссылался на мудрость Талмуда: никогда не следует человеку менять свою обитель. Что ответствовали мне мои друзья? Вопреки Талмуду подыщем тебе жилище! Только легче сказать, чем сделать, тем более сослужить службу ближнему. И я продолжал жить, где жил.

Однако одна женщина не стала со мной спорить, а потрудилась и подыскала мне славную комнатку в красивом месте, на свежем воздухе, и не отступалась от меня до тех пор, пока я не согласился отправиться вместе с нею смотреть новое место.

Сказала: «Обычно этот хозяин жилье не сдает, но дочка его переехала в кибуц, и комната стоит пустая. Отец согласился пустить туда жильца. Что же касается платы, возьмет с вас не больше, чем платите теперь. Так прямо и объявил: главное не деньги, а квартирант; если человек ищет покоя, мой дом для него всегда открыт».

Средь садов и виноградников на нас глянул холм, окруженный стройными тополями, а на холме – небольшой домик. Вверх к дому ведут заросшие травой ступени, и живая изгородь из плодовых деревьев окаймляет его и осеняет дом и траву благодатной тенью. Войдешь во двор, там прудик с разноцветными рыбками. Посмотрел я на дом, оглядел двор – радостно стало мне и тревожно. Радостно, оттого что вот есть все же такой уголок у нас на Земле Израилевой, а тревожно, оттого что не был я убежден, что мне уготовано место сие.

Вышла из дому хозяйка, улыбнулась приветливо, глянула на меня по-хорошему и провела нас в красивую комнату, где не чувствовалось дневного зноя, и принесла прохладной воды напиться. Вошел и хозяин, старик лет шестидесяти, высокий и худощавый; голова его слегка склонена влево, а голубые глаза хоть и печальны, но светятся добротою. Поздоровался со мной и налил нам воды, а когда мы утолили жажду, показал комнату, которую я собирался снять.

Славная квадратная комната распахнулась вдруг мне навстречу. Простая деревянная мебель, и всякая вещь на своем месте. Ничего лишнего. Так же проста картина на стене, нарисованная их дочерью: одинокая девушка в поле смотрит на заходящее солнце. Вид заходящего солнца обычно навеивает грусть, но от этого заката веяло сладким покоем. Здесь все дышало покоем – и залетавший со двора ветерок, и сама эта чистая комната. Когда я договорился о найме, хозяин пригласил меня в сад, попить чаю. С моря тянуло прохладой, деревья шелестели листвою, самовар пыхал паром, и мирная безмятежная благодать разливалась над нами. За чаем хозяйка рассказала нам о своей дочери, которая оставила всю эту красоту и ушла в кибуц. Не жалуясь, говорила, а как мать, которой любо вспоминать о дочери. Хозяин дома молчал. Но поскольку смотрел на нас с приязнью, казалось, что и он беседует с нами.

Я спросил у хозяина, как он оказался здесь. Отвечал мне хозяин: «Я прибыл сюда тем же путем, что и большинство жителей Страны Израиля. Только ведь как бывает? Приедет человек в расцвете сил, страна эта ему в радость, и он этой стране в радость, а приедет в старости – он-то радуется этой стране, да она ему не рада. Я вот не удостоился прибыть сюда в молодости, а оказался здесь уже стариком, хотя мысли о Стране Израиля посещали меня еще смолоду. Как дело было? А вот как. Я торговал зерном. Однажды случилось мне быть в поле, пошел я за жнецами и вспомнил о Стране Израиля, где живут евреи и сами пашут, сеют и жнут хлеб свой. С тех пор образ той страны неизменно стоял у меня перед

глазами, и я говорил себе – вот бы мне воочию увидеть ее. Не жить в ней думал я, а только поглядеть на нее. В те годы я много трудился, и выбраться сюда мне так и не удалось. Потом началась война, и пути были отрезаны.

Когда успокоилась земля и открылись пути, я продал все, что у меня было, и прибыл в Страну Израиля. Не просто повидать ее приехал, но поселиться здесь навсегда, потому что в то время моя страна сделалась для евреев адом и будущее не сулило им ничего хорошего.

Поле я покупать не стал, поскольку большую часть своих лет уже прожил и в земледельцы не годился. Батраков брать тоже не захотел, чтобы не кормиться чужими трудами, хоть бы и от своей земли. Решил я купить дома и жить от сдачи внаем. Не успел приняться за это дело, как понял – не для меня оно. Почему так? В первую ночь в Стране Израиля сон не шел ко мне. Вышел я на улицу, посидеть у входа в гостиницу. Небеса чисты были неземной своей чистотою, звезды лучились серебром, и бездонный безмолвный покой разливался в вышних. Однако на земле не было ни тишины, ни покоя. С грохотом проносились автобусы, шумели и галдели люди. Усталые юноши и девушки с трудом передвигали ноги после работы, но все-таки пели, и из каждого дома, из каждого открытого окна вырывались нестройные звуки музыки. Я смотрел по сторонам и не знал, не то сердиться, не то жалеть их, ведь и им, верно, спать хочется, да комнаты их непригодны для отдохновения, как и эта моя гостиница. Мне что – я старый человек, сижу себе на лавочке, а они-то молоды – вот им и остается по улицам бродить.

Постепенно стих городской шум. Пойду лягу, сказал я себе. Но только собрался встать, слышу – голоса какие-то сдавленные. Глянул туда-сюда, никого. И кажется мне, из-под земли звуки доносятся. Вспомнились мне Корах со товарищи, которых живьем поглотила земля, только у тех на устах песнопения, а эти голоса звучат гневом и огорчением. Снова стал я оглядываться, вижу – из-под ног моих сочится свет, и понял, что есть тут подвал, а в подвале люди живут. Подумал я: возможно ли? Еврейский город в Стране Израиля, возведенный достойнейшими в народе, чтобы всякому еврею дать радость и смысл жизни в еврейской стране, – а люди в подземелье живут?! Встал и пошел прочь, чтоб не лишать их доступа воздуха. Всю ту ночь я не сомкнул глаз – комары и докучливые мысли мешали мне уснуть. И пришел я к выводу, что никак нельзя мне приобретать дома в этом городе, потому что кто знает, чем дело кончится – может, и тот домовладелец приехал сюда с любовью к ближнему, а сделал то, что сделал. Принялся я объезжать окрестности и увидел этот холм. Но и его приобрел не сразу, а сперва присмотрелся к соседям. И только тогда решился, когда понял, что они не из тех, кто землю кроит и на лоскуты кромсает, чтобы потом перепродавать втридорога. Решился и построил тут дом – себе, жене и дочери. Дом построил и деревья насадил, чтобы усладить эту землю, и она тоже улаживает нас и дарит нам плоды, и зелень, и цветы».

Тут вступила хозяйка и добавила: «Так уж люди устроены – заведется у них немного денег, едут за границу подлатать свою плоть да поправить здоровье. Ради этого покидают родной кров и долго в пути маются и по суше, и по морю. А и придут в красивое

место, квартиру найдут крохотную – ни развернуться в ней, ни свежего воздуха глотнуть. А мой муж и дом поставил в красивом месте, и свежего воздуха тут вдоволь, оттого нет нам надобности изнурять себя дорогою – сидим мы у себя дома и наслаждаемся всем, что ниспослал Господь».

Собираясь уходить, я вынул фунт, в залог за взятую комнату. Отвел хозяин мою руку и сказал: «Если по вкусу вам моя комната, вы и так придете, а не придете – где мне вас потом разыскивать, чтобы деньги вернуть». Обрадовался я, что с Божьей помощью оказался в славном месте, у хорошего человека, и поблагодарил свою спутницу, которая привела меня сюда.

Главное, и комната, и хозяева, и само место понравились мне, а плата не превышала того, что я платил родителям мальчика. Обрадовался я покою, ожидающему меня в этом доме, и сладкому сну, который не преминет прийти. Тот, кому приходилось не спать ночами и дни проводить без отдыха, поймет мою радость при мысли о новой комнате.

Легче обзавестись крыльями и перелететь с квартиры на квартиру, чем сказать хозяину, что собираешься от него съехать. Есть в этом что-то для него обидное, как будто зазорно для тебя проживание в его доме, уж не говоря о том, что ты лишаешь человека дохода.

Размышляя о переезде, я отвлекся от шума автобусов и уличного гомона. А отвлекшись, несколько раз даже умудрился вздремнуть, и во сне отдыхало мое сердце от грустных мыслей. Я думал: «Ведь есть люди – жители подвалов, например, – которые были бы счастливы иметь даже такую комнату, как у меня; нет, не следовало мне подыскивать другое жилье. Только раз уж я договорился, придется мне туда переехать, но коль скоро я на прежнем месте, может, и переезжать-то незачем.

Так ли, эдак ли, стало у меня неладно с глазами. Пошел я к врачу. Врач прописал мне капли и наказал не трогать глаза руками, а то как бы хуже не сделалось. Будь я сам по себе, выполнил бы его наказ без труда. Но как быть с мальчонкой – ведь, едва заходит меня, виснет на мне и в глаза мне пальцами тычет. Мало того что пальцы у него перепачканы, у него и глаза больные. И отчего это врачи предупреждают того, кто и сам бережется? Им бы со своими советами – да к тем, кто осторожностью пренебрегает.

Но Небеса смилостивились надо мною. Так случилось, что пришлось мне на время уехать. В этом ничего обидного для хозяев не было, ибо знали, что дела вынуждают меня покинуть город. Я простился с ними по-дружески, и они тоже расстались со мной как друзья. И от полноты чувств дали мне поддержать своего мальчика. А на прощанье сказали: «Если вернетесь в Тель-Авив, наш дом для вас всегда открыт будет». Покивал я, а про себя подумал: «Благословен Тот, Кто избавил меня от вашего гостеприимства. Больше вы меня под своей крышей не увидите».

Восемь дней я провел в разъездах. Много пришлось мне трудиться, и многим меня утруждали. Но я знал, что не сегодня-завтра окажусь в славной просторной комнате, и принимал все тяготы с любовью. Одного только ждал – поскорее вернуться в Тель-Авив.

Много пришлось мне трудиться, и многим меня утруждали. Всю страну я проехал и увидел, что новые селения появились у нас. Места, где росли волчцы и тернии, обернулись райским садом. И подобно земле – ее жители: радуются они работе своей, с веселием возводят дома, и дети их растут крепкими и здоровыми. Ручонки детские чисты, глаза не гноятся. Такое дитя взять и покачать – одно удовольствие. Пальцем в глаз тебе не тычет, а если и дотронется – словно чистейший ветерок скользнул по твоему лицу.

В одном кибуце я познакомился с дочерью моих новых хозяев. Если бы годы мои еще впереди были и если б я не договорился уже с ее родителями, остался бы в том кибуце. Я простился с девушкой, как прощаются с другом – зная, что вернешься и встретишься с ним вновь.

В Тель-Авив я возвращался с великой радостью. Такой радости я не испытывал много лет. И уже видел себя в славной комнатке, на свежем воздухе, среди красивых вещей, у добрых хозяев. Вхожу и выхожу когда вздумается, и никакой младенец не тычет мне в глаза грязными пальцами. Но главное – сон. Сон, не прерываемый ни автобусами, ни лотошниками, ни плачем, ни стонами. Я вам открою секрет: в последнее время здоровый сон видится мне главным человеческим достоянием, и всякий, кто умеет крепко спать, кажется мне мудрецом, постигшим тайну бытия, ибо ведомо ему, ради чего человек живет. Легко понять, как я радовался при мысли о доме, где смогу спать без помех.

Не знаю я, стоит ли еще сегодня тот дом, что на холме. А если стоит, не открыли ли в нем конторы да магазины, как сделали со многими тель-авивскими жилыми зданиями. Но в те отдаленные времена дом этот был особенный и хорош был необыкновенно.

Поезд подошел к Тель-Авиву, и сердце мое запело. Я представил, как войду в свою новую комнату, лягу на кровать и засну сладким целительным сном. Да благословится Тот, Кто наделит Свои создания радостью!

Я подозвал носильщика, и тот взял мои вещи. И раз уж сердце мое ликовало, я спросил его ласково, где он живет и хороша ли его квартира, как человек, у которого легко на душе и хватает досуга осведомиться о делах ближнего. А потом я поведал ему о своих жилищных злоключениях. Слово за слово, заговорили мы о первых днях Тель-Авива и о том, как вырос и изменился город. Вздыхнул носильщик и сказал: «Такого покоя, какой был тут когда-то, не видать нам до прихода Мессии».

Так за разговорами мы добрались до моего нового жилья. Зеленый холм возвышался в венце своих деревьев, яркие цветы благоухали. Носильщик остановился и огляделся. Ясно было, что такой красоты он еще не встречал.

Мы молча взойшли по травяным ступеням. Из сада тянуло свежестью и сладостными ароматами. В воздухе порхали и кружились бабочки, а внизу, в воде, плескались рыбки, ловя свои проворные тени. Показался хозяин, радушно меня приветствовал и сказал носильщику: «Вносите вещи».

Вдруг взгляд мой упал на порог, и сердце сжалось. Чист и вымыт был тот порог, и тени от цветов ластились к нему. Но мальчонки там не было, никто не рванулся ко мне, не обхватил мои ноги, не потянулся ручками. Бесшумно скользили по порогу цветочные тени, и никакие младенцы не лежали там.

Носильщик стоял, не двигаясь, и не сводил с меня взгляда. Неужто ждал, что попрошу его отнести вещи в другое место?

Вышла хозяйка, ласково кивнула мне и сказала: «Ваша комната готова».

Понурил я голову и сказал ей то, что сказал. А может, ничего не сказал, просто повернулся и пошел обратно. И носильщик побрел за мной следом, неся на плече мои вещи. Помяну добрым словом носильщика за то, что молчал и не мешал мне размышлять. Может, он думал о покое, что наступит с приходом Мессии, а может, сердце подсказало ему, что не стоит докучать человеку, возвращающемуся туда, откуда сбежал.

Так, в молчании, я пришел к своему прежнему жилью. На пороге лежал мальчонка, весь перепачканный и расцарапанный. Ресницы его слиплись и покрылись зеленоватой коркой. Я сомневался, что эти глаза были в состоянии видеть хоть что-либо.

Но он меня увидел. А увидев, протянул вперед неверные пальчики и позвал: «Тять, тять», – то есть «дядь, дядь». Голос его си-пел, как у охрипшей от лая собачонки.

Я взял мальчика на руки и покачал – вверх-вниз, вверх-вниз. А он изо всех сил обхватил меня за шею. Был он легче цыпленка, и странным жаром дышало это тщедушное тельце. Мальчика лихо-радило.

Долго-долго держал я его на руках, а он колотил меня ножками в своей бессловесной радости. И раз, и другой я взглядывал на него, желая напомнить, что у меня в глазах живет его образ. Но он не потянулся к моему лицу – за те восемь дней, что я отсутствовал, глаза его опухли от плача, и он не мог видеть своего отражения.

Тут появился молодой хозяин. «Вы вернулись?» – спросил он и сделал важное лицо. Я покрепче обнял малыша и промолчал. Наконец, опустил его на землю и уплатил носильщику за услуги. Мальчонка протянул ко мне руки и сказал: «Тять, тять». Я снова поднял его. Он приклонил головку к моему плечу и задремал.

Я вошел в дом и уложил мальчика в кроватку, а он зашевелил во сне губами: «Тять, тять, натья, натья», – то есть «дядь, дядь, надо, надо».

Вошла мама мальчика. Поставила сумку, подкрасила губы и сказала: «Выходит, вы вернулись. Если б мы знали заранее, прибрали б у вас в комнате...» Я кивнул и прошел к себе. На полу кусочки сора скрывались под слоем пыли.

Я разделся и лег. Под окном гудели автобусы, продавцы зазывали покупателей, торговцы наполняли стаканы шипучим лимонадом. Но постепенно все звуки словно отступили, исчезли – все, кроме тишайшего посапывания спящего ребенка, доносившегося до моих ушей. Я приставил к уху ладонь, чтобы лучше слышать.

Перевела с иврита Зоя Копельман

Эли Люксембург

*ВОЗВРАЩЕНИЕ АНГЕЛОВ**

Мальчик колючий, сердитый, – не подступись, не тронь, мы называем Борю подарком сыновей Ктуры. Между собой, естественно...

В ботинках истоптанных, черном костюме явно с чужого плеча, с начатками пейсов, монгольской жиденькой бородашкой, в хасидской жеваной шляпе, Боря напоминает мне меня самого. В его же примерно годы – запущенным в Израиль «подарком».

...Белый вишневый сад в запутанных переулках Юнусабада рядом с пионерским лагерем «Красная Зорька», где я состоял физруком. Через арык – мостик с перилами. По субботам я звонил в калитку, нажав скрытую кнопку. Стоял июльский пышущий жар.

Мне открывал славянский витязь Давид с былинными кудрями. По случаю невыносимой жары, а также святой субботы – в белом чесучовом халате. С царскими почестями сопровождал в горницу и громко, с порога, объявлял: «Братья и сестры, милостью Божьей израильтянин явился!» Все принимались мне в пояс кланяться. И взору моему мерещились скрытые горы, ровная, как стрела, дорога. Ликующая от счастья толпа несет меня на плечах – с песнями, танцами. Как у пророка об этом сказано.

Имена у них были библейские – дюжина мужчин и женщин, тайная секта субботников. По стенам горницы, как в храме, горели свечи, лампы, стоял восхитительный запах ладана, навевавший мир и покой. Огромный стол помещался посередине, за ним подолгу читались псалмы. Время от времени гремели табуретки, люди падали на колени и бить принимались поклоны. Истово, чуть ли не расшибая лбы. И я, чтобы им не колоть глаза, тоже валился на чистые доски пола, пахнущие лесной поляной. Чувствуя неведомый стыд, прятал лицо, смутно ощущая, что все это не мое.

Было лето Шестидневной войны. Давид приволок неизвестно откуда карту Израиля, вешал ее – крупномасштабную, цветную, наклеенную на несколько слоев марли – на стену. И принимался читать лекцию о ходе боевых операций, освобожденных территориях. Звенящим, восторженным голосом вещал об исполнении древних пророчеств, о временах мессианских и Воскрешении мертвых. И самое неожиданное: будто спасение мира и всех христиан произойдет от евреев. Такое я слышал впервые. Тем временем Давид продолжал, цитируя пророка: «Десять инородцев ухватятся за подол еврея и станут просить: возьми нас в свою веру». Во мне боролись при этом смущение и гордость – одновременно...

В конце августа, когда переулки и тупички Юнусабада тонули в сказочном дынном запахе, а в пионерлагере кончался летний сезон, Давид мне подарил Библию. В те времена – криминал: книги Ветхого и Нового Завета с ятями, изданные императорским Синодом. И

* Глава из книги «Времена второй вечности». Журнальный вариант.

сказал: «Езжай, мой сын, в свою землю, древнюю и святую. Помни о ней, не забывай! И душу в себе разбуди... Ибо имя тебе – еврей, а это свидетельство Бога по всей земле».

После занятий, после молитвы, когда ешива пустеет, Боря берется за швабру, моет посуду на кухне. Спешить ему незачем, да и некуда, собственно. Родители его живут далеко, на Голанах...

Своего угла у Бори в Иерусалиме нет. Ночует здесь же, в ешиве, на тюфяке, набитом, словно камнями, свалявшейся ватой. На веранде, под камышовым навесом, оставшимся от сукки. Питается тем, что подьедает от разного рода остатков: питы с хумусом, орешки. Нищета, равно как и богатство, давно перестали его занимать.

Мало-помалу Боря взвалил на себя и должность шамаша: обслужива рава, его неизменного спутника на вечерних прогулках под мшистыми стенами Старого города. Походы в Меа-Шаарим, где расположены десятки ешив, на рынок Маханэ-Еуда, ибо не Торой единой жив человек. Словом, масса необходимых услуг, совершаемых ежедневно: молча, преданно, расторопно. Этому качеству – «сидеть подле ног учителя» – Боря научился чуть ли не с детства, сбежав из дома в поисках высшей истины. Сначала к шаману на несколько лет. А после в буддийском дацане на берегу Байкала. Став анахоретом, приучив себя выживать в условиях самой суровой аскезы.

Он появился у нас в прошлом году за пару недель до Хануки. Угрюмый, тощий юнец, он поразил меня глубоким и зрелым мышлением. «Старое вино в молодом сосуде! – подумалось мне. – Теперь все чаще такое бывает». По-русски он говорил с сильным распевом на окончаниях фраз, свойственным скорее уроженцам Кишинева, Одессы, но никак не аборигену Сибири.

Раз в неделю, а то и чаще, что-то у нас отмечают: поминки родителей, помолвки и обрезания. Случился и йорцайт моего отца.

Явившись в ешиву к середине ночи, я приволок две огромные сумки, набитые бутылками и продуктами. Минувя зал, где шли занятия, оставил сумки свои на кухне. Когда вернулся, мне все понятно улыбнулись. Когда приблизился конец молитвы, Боря снял с себя тфилин и талит. Принес рулоны бумажных скатертей. Ловко, словно заправский официант, одним движением их раскатал. Пробрался затем на кухню, вынес тарелки, стаканчики, вилки, ножи. В сердце мое вошла благодарность: ведь я его ни о чем не просил!

Закончив произносить *кадиш* и *кадиш де-рабанан*, я тоже пришел на кухню. Здесь было полно работы.

– Ступайте к столам, – сказал мне Боря. – Прекрасно один управлюсь!

С минуту я глядел, как он умело орудует консервным ножом и штопором, сыпает крекеры в вазочки, укладывает бананы и мандарины. Я все это стал хватать, выносить к столам. Цепляя попутно бутылки с ликерами и вином, водкой и виски.

Всякий раз, возникая на кухне, я что-то у Бори спрашивал. Он отвечал, не поднимая глаз от блюд и тарелок, тихо и односложно, словно давая понять о безбрежном, великом покое, разлитом в его душе. Его состояние передавалось мне, и вся моя суетливость мало-помалу гасла.

– Откуда приехал, откуда ты родом?

– Бурятия, слышали?

– Еще бы – тайга, болота... И сплошные зоны в колючках... Кто-то из предков твоих был ссыльным?

– Верно – мой прадед!

– И что тебя привело в Каббалу? Ты там, в тьмутаракани своей, хотя бы слышал об этом?

Боря насмешливо на меня глядит, утирает со лба пот. Сначала одним рукавом, затем другим, словно пытаюсь получше меня разглядеть. И произносит слова, приведшие меня в восхищение. Вернее, в полное замешательство.

– Без Каббалы сегодня уже нельзя! Да и выхода нет: рано или поздно Каббалу всем придется учить, не только евреям. Такие пришли времена.

Странный мальчишка, выросший среди дикарей, как он про это узнал? Ведь то, что он произнес, – высочайшая истина. Мудрость человека, погруженного день и ночь в размышления о Боге, путях развития человечества и его назначении. Я к такому открытию шел целую жизнь, покуда его постиг. И не уверен даже, что во всей полноте. Лишь смутно осознаю, будучи не в силах вот так оформить – четко и ясно. А если б не жизнь моя в Святом городе, включая полтора десятка лет упорных занятий, – не дотянул бы, пожалуй, и до стопы этого загадочного юнца.

В семейном архиве его родителей сохранилась копия судебного постановления, выданная мещанину Витебской губернии Мошке Татарбунару, сыну Зиновия, – желтый, полуистлевший лист, гласящий что он, гимназист семнадцати лет, за участие в революционной деятельности приговаривается к заключению в Акатуйской тюрьме Нерчинского округа, в Забайкалье, сроком на восемь лет. А по отбытии наказания лишается права проживания в Москве и Санкт-Петербурге, а также центральных городах Российской империи.

Прадед Бориса, а также трое его поделльников, такие же, как он, гимназисты, отмотали положенный срок от звонка до звонка... Благодарение Богу, без большого ущерба здоровью, что мало кому удавалось. Ведь Акатуй, господа любезные, – гиблое место! С норами вместо камер. Ядовитыми испарениями, болотной гнилой водой... Что равняется по нынешним меркам урановым рудникам.

В один из забегов моих на кухню Боря спросил:

– А что известно вам про Ктуру?

Задушевно, будто об общей нашей знакомой или родственнице, сделавшей мне и ему немало добра. И я, признаться, слегка растерялся: парнишка удивлял меня все больше и больше.

– Та, что Агарь, ставшая служанкой у праматери Сары?

– Во-во, дочь фараона, согласившаяся быть у Сары рабыней. Так и сказала: «Предпочтительней мне прислуживать у праведницы, нежели быть принцессой при дворе фараона». Ее прозвали Ктура...

Мошка Татарбунар вышел на поселение, рыбачил, охотился, поставил избу пятистенную, зажиточный стал мужик. Однако покоя на сердце не было, не мог подобрать жену. Много лет назад, когда Мошку отправляли в Сибирь, отцу дозволили сопровождать его до

Москвы. И там, на вокзале, взял с него отец обещание. Скорее – клятву: жениться все-таки на еврейке. Куда бы Бог его ни забросил.

В Иркутске была синагога, и Мошка туда поехал. Он тешил себя надеждой, что здесь, в Иркутске, ребе найдет ему невесту. Пусть самую захудалую – вдову, разведенку. Однако и этих не оказалось. А жившие в городе молодухи ни за какие шиши не согласились отправиться с «каторжанином» Мошкой в тайгу, к медведям.

– Найди себе, бухер, язычницу, здоровую девку, и привози сюда. Мы сотворим из нее еврейку! – сказал ему ребе, уже не раз решавший, видать, подобные галахические задачи. Мошка изъяснялся с ребе на идише, прекрасно понял его и восхитился этой простой неожиданной мыслью: для ребе нет безвыходных ситуаций! Ибо законы Российской империи категорически запрещали переход православных девушек в иудаизм. А также мусульманок, буддисток... Влепили бы ребе срок!

Ребе сказал: ищи язычницу, чистый, девственный лист! И на тунгусском стойбище Мошка себе такую нашел. Ее звали Алтан-Шегай, что означает «Золотая Лодыжка», – чтобы нечистая сила не обращала на ребенка внимания. Стойбище ее, в излучинах Нижней Тунгуски, называлось Киренгой.

Трое подельников Мошки – еврейские парни – также скорбели и маялись. Искали жен по казачьим станицам, искали в Чите, в Красноярске, поскольку никому не давали клятвы связать свою жизнь с еврейкой. Но голосу крови и зову предков оказались послушны. На то и выпадает судьба, испытание мукой, чтобы смирился человек перед Богом. И ребе иркутский послал их все в ту же Киренгу.

Три новые невесты, скуластые, плосконосые, – Ринчин, Данзан и Дулма – «Сокровище», «Опора Души» и «Мать-Надежда» – уселись в седла степных жеребцов и поскакали следом за женихами. Мошка Татарбунар и «Золотая Лодыжка» уже их ждали у ребе.

За тысячи верст отсюда, в Европе, шел великий передел земли – первая мировая бойня, где гибли миллионы людей. Травили газом солдат, и поливали их с воздуха пулеметы. Могучие крейсера бороздили моря-океаны, вовсю палили огнем, отправляя в бездонные пучины один другого. Сама держава российская кипела и клочкотала.

И только здесь, в сибирской глуши, ничто не колыхало библейской ауры преображений. Старенький хлопотливый ребе и его ребец давно уже так не трудились. Зато шоколадные лица невест все более просветлялись, словно внутри у них разгорались свечи.

Учились молитвам и языку – буквам святого текста *иврис*, пасхальному седеру и воздержанию от работ в *шабес*, какая птица и какая скотина пригодны к пище и как их кашеровать. Посуда молочная и мясная... Дни отлучения от супруга и близости дни. Как зажигать субботние свечи, стол накрывать, выпекать хлеба, благословляя Всевышнего. А напоследок научились готовить *гефилтэ фиш*.

Год спустя их отвели в синагогу – бревенчатый двухэтажный сруб, к которому примыкала банька. На самом же деле – миква с дождевой водой. Девушки обнажились в присутствии двоих свидетелей, снимали кольца, браслеты и ожерелья, ибо ничто не должно препятствовать освящению плоти в таинственных водах. И при-

нялись одна за другой погружаться. Обсохли, не обтираясь, досуха, заново облачились и стали выходить в предбанник. Сияющий ребе их там встречал. Благословляя и радуясь, нарекая их новыми именами: Сара, Ривка, Лея, Рахель – словно праматери в Торе.

И напоследок воскликнул: «Благословен Ты, Господи, Царь вселенной, родивший души ваши в Израиле!»

Четыре пары венчались в бревенчатой синагоге, одна за другой четыре «хупы». Неделю гулял народ – лихие сибирские иудеи. Гулял и гудел Иркутск, катали новобрачных в расписных санях, запряженных тройками с бубенцами.

Напутствовал ребе в дорогу: «Детей привозите на обрезание! Детей и внуков – плодитесь и размножайтесь! Да уподобит Всевышний потомство Израиля морскому песку!»

Так под хребтами Малого Хамара возникла новая, молодая станция – Жидовий Стан.

Сижу возле ребе, будто припаянный к табурету, а зад мне колют иголки – йорцайт, обряд степенный, окрашенный в черный колер, нельзя мне выдать внутренней суеты. Ни возбуждения, ни суеты. Голосом чужим и глухим вещаю застолью про жизнь родителя, еврея-кочевника: Румыния, Бессарабия, Средняя Азия... Жизнь во Имя Всевышнего. И опасаюсь повториться – не говорил ли этого в прошлом году? Могила его на Масличной горе, его и матери. А мы им высекли на камне у изголовья: «Спасибо, что за горами ужаса вы бились за нашего Бога, за наше еврейство – в пустынях мрака...»

Бутылка вина перед ребе пуста. Сам он по каплям цедит. Свое же из кубка другим наливает – от благодати цадика, такова у нас, у хасидов, традиция. И я на кухню несусь, к Борису.

– А где Ктура похоронена? – вопрошаю. – Я вот сидел и думал: где могила ее?

Он достает вино, пару бутылок, вонзает штопор.

– Понятия не имею, вот уж о чем не думал! Надо полагать, где-нибудь на востоке – Тибет, Гималаи... А сколько сыновей Ктура родила? По одной из версий шесть, а по другой – чуть ли не восемнадцать.

– Во-во, священная книга «Зоар» так поясняет: благодаря тому что образ жизни она поменяла, приняв «тшуву», Авраам женился на ней уже после смерти Сары.

На всю жизнь запомнит Боря Татарбунар, ученик пятого класса, то раннее, бесснежное утро, когда впервые в его ушах отчетливо прозвучали странные слова, изменившие его биографию. Голос ангела – «вести», ставшие для него путеводной звездой.

...В прекрасном расположении духа, словно на крыльях, Боря сбежал со ступеней резного крыльца, облаченный в куфейку, ушанку, со школьным ранцем за плечами, и выскочил в переулок. Грязь на дороге промерзла, порывы ледяного ветра гнали ворохи прелой листвы. И Боря заскользил по замерзшим лужам. Они скрипели под ним, прогибались. Видать, не шибко схватило. Он добежал до большой поверхности и по инерции на нее влетел. Совсем позабыв, что тут яма, что все ее объезжают, упал плашмя,

круша ледяную слюду. И с головой в нее провалился. Он в ужасе завопил, хлебнув грязи полным ртом.

Боря выбрался на край ямы, медленно встал с четверенек. Кругом было безлюдно, пустынно. Во взбаламученной черной жиже качались оторванный ранец, ушанка.

«Ну вот, – отчетливо услышал чей-то знакомый голос. – Пора уже заводить гнездо!»

Дрожь улеглась, он снова обвел глазами соседские избы, выловил ранец, ушанку и, погруженный в глубокие размышления, вернулся домой.

Стараясь не наследить на вымытых половицах, скинул в сенях начавшую леденеть одежду. Свалил ее в кадку, пошел к рукомойнику и долго мылся – голый и отрешенный, будто во власти чужой, неведомой силы. Насухо вытерся, снова стал одеваться. Во все уже чистое, теплое – для долгой дороги. С таежным рюкзаком на спине присел к столу и начеркал записку – отцу и матери: чтоб не искали, не волновались, не заявляли в милицию. В положенный час он даст им знать о себе.

В Киренге шел уже снег и начинала выюжить метель.

Попутка довезла его до опушки тайги, минуя город и новостройки. Он вышел напротив усадьбы, где жил его дядюшка, великий шаман Тутказак.

Боря увидел: за лето и осень, что он отсутствовал, здесь мало что изменилось: толкались за редким штaketником могучие звери – упитанный табунок оленей, рядом с черным вездеходом «мерседес» стояли в ангаре большие, глубокие сани.

Великий шаман Тутказак его по-отцовски обнял, прижал к груди. Повел по винтовой лестнице наверх, сразу же к себе в кабинет.

– Я чуть со страху не умер! Ты так внезапно вызвал меня... – выпалил Боря, глядя не столько дяде в глаза, сколько на крупную бородавку на лбу, точно посередине, – отметину посвященного.

Сидели долго, чуть ли не целую ночь, и в эту ночь в нем родилась жажда запредельных знаний.

Говорил исключительно дядя, сидя в вертящемся кресле возле компьютера. Боря располагался напротив, утопая в диване из белой кожи. Внимая тому, как стать шаманом-целителем, защитником племени. Летать по воздуху, превратившись в птицу. Обрести «рентгеновский глаз» – способность видеть человека насквозь: не только больные органы, но и духовную сущность. Ибо из всех известных ему представителей рода «мураока», к которому оба принадлежат, великий шаман избирает Борю учеником и наследником.

Дядюшка иронически улыбнулся: Боря всего лишь провалился в зловонную жижу и утверждает, что чуть не умер... Ха! Когда дядюшке было десять лет, он обучался в знахарской школе. Несколько раз учитель набрасывался на него с криками: «Я тебя задушу!». И в самом деле душил, но каждый раз реанимировал. Однако это не помогало, «третий глаз» никак у него не хотел открываться. Вконец отчаявшись, он заглянул однажды в глубокий колодец, увидел на дне духовного двойника и бросился вниз. Его нашли, он был уже синий, разбухший утопленник. Снова вернули к жизни. Тогда он сразу стал видеть через любые преграды, обозревая земные пространства. И даже видеть будущее.

Мы с Борей остаемся в ешиве одни. Разносим по прежним местам скамьи, столы, стулья. Распахнуты настежь двери, окна. Утренним солнечным светом облиты древние фолианты на стеллажах. Тикают ходики на стене, колышутся занавески из тюля.

Все угощение со столов подмели – все подчистую. Комки бумажных салфеток, перепачканную посуду одноразовую из хрусткой пластмассы скидываем в мусорные мешки.

– Давай-ка лучше продолжим тему Ктуры. Много лет назад, в России еще, я хаживал в секту субботников. Представь себе, эти люди меня в Израиль и отослали, вызов устроили. По сей день бесконечно им благодарен. Когда ты спросил меня про Ктуру, я эту историю вдруг припомнил...

Четыре года длилось Борино мучение. Пытаясь пробудить в нем скрытые силы, дядя на целые недели бросал его посреди тайги, обрекая на голод и жажду, жару и холод, уединенное созерцание. Все, что доводит человеческий дух до крайних границ.

Боря берет метлу, принимается тщательно подметать пол, каменный и щербатый. Просто так его не осилишь, лет триста этим камням. Я помогаю носить столы, скамейки и табуретки.

– всю жизнь пытаюсь понять, – говорю я ему, – что за «подарки» преподнес праотец Авраам сыновьям Ктуры, отправляя их на Восток, подальше от сына своего Ицхака? И что вообще это было: веление Господа Бога или же личное желание Авраама – детей Ктуры рассеять по свету?

Боря опирается подбородком о палку метлы, подложив под голову руки.

– Подумать только! – восхищенно говорит он. – Все человечество, в сущности, состоит сегодня из потомков праотца Авраама.

Говорю я ему:

– Сомнения вызывают хамитские племена в Африке, происхождением якобы из Кнаана, дикари в джунглях... Так в чем разница между учением Будды и книгой «Зоар», которую мы постигаем?

– Если в двух словах, – снимает он подбородок с палки, – созерцание собственного пупка, глубинное самокопание. Центральная доктрина – нирвана, прекрасное и счастливое состояние. Любое проявление жизни есть зло. И это зло несет всему живому страдание. Короче, наивысшее счастье в нирване. Она научит тебя понимать сердца и души людей, сделает тебя обладателем космического сознания...

– Ну а Каббала? – прикидываюсь протачком.

– Вы же знаете, в Каббале я покуда профан! Едва погрузил ноготок в безбрежное море.

– И все-таки, не робей!

– Божественный мир – гармоничнейшее из творений. Всевышний милосерден и терпелив. Человек рождается, чтобы возвысить себя, многое исправить в себе. А исправляя себя – спасаем мир, человечество, ибо все мы часть единого организма... Ждем Мессию – придет Мессия, наступит новая эра сближения со Всевышним.

Дядюшка назвал Борю новым, незнакомым именем. Никто прежде так его не называл.

– Послушай, Барух, – сердечно сказал он. – Ты будешь моим спутником, ты им назначен. Таково решение Совета Воплощенных Лам. Но вовсе не учеником. Ибо ты и многие другие в твоём поколении – взошедшие на иной виток. Мы сами у вас должны поучиться. Ты станешь знакомиться с религией своих праотцев – учением великого Моисея, других иудейских святых, пророков и мудрецов. С одним непременным условием: не задавать мне никаких вопросов. По крайней мере год.

Спустя месяцев шесть дядюшка спросил его неожиданно:

– Как полагаешь, Барух, какого цвета душа у негра?

Боря с испугом на него уставился.

– Да-да, душа! С точки зрения иудаизма.

– От бело-молочного до густо-лилового, как и у всех обычных людей! – выпалил он. – А кто не верит, пусть сам слетает в их эгрегор, воочию убедится!

С серьезным лицом дядюшка поглядел на взволнованного Борю. Обнял за плечи, повел к другому бревну, где их никто не мог бы подслушать.

– Барух, мой мальчик! – они присели на бревно. – Не я придумал вопрос. Совет Воплощенных спросит меня: каков был путь его размышлений?

– Начнем издалека – с Ноя... Потоп кончился, звери и птицы из ковчега вышли, разлетелись и разбрелись. Ной же со своими сыновьями насадил виноградник. И стал он пить вино, в которое вошел дух одержимости и безумства. Ной опьянел, обнажился, это увидел Хам, младший из сыновей... – Боря неуютно поерзал, повертев по сторонам головой. – И тут, дядюшка, мне пришлось столкнуться с серьезными разночтениями! Одни комментаторы говорят, что Хам над отцом посмеялся, узрев его голым. Так в Торе и сказано – и ничего больше. Другие же утверждают, что Хам совершил неслыханное злодеяние: собственноручно отца оскотил. А все потому, что не желал себе больше братьев. Земля ему сделалась тесной, и восстал он против важнейшей заповеди Господа Бога «плодитесь и размножайтесь». Проспавшись от вина, Ной обнаружил, что младший сын его изувечил. Велел позвать к себе Хама и проклял его. И даже будущее его потомство. И отошел Хам от отца весь черный, будто смолой облитый, – Боря поднялся с бревна, встал перед дядюшкой, слегка склонившись, желая быть более убедительным. – До второй половины шестнадцатого века души хамитов пребывали в состоянии дикости. Дотягивая цветом как максимум до бледно-желтого... С рождением рава Ицхака Лурье Ашкенази, величайшего из каббалистов, началась на земле новая эра. Беседуя с учениками в Цфате, он не раз утверждал: моя миссия в нынешнем воплощении – вымолить у Небес прощение Патриархам. Именно тогда началось вступление сыновей Хама в великую семью народов. Освобождение их от рабства, инфантильного мышления, чувства неполноценности... Есть комментаторы, которые пошли еще дальше: именно со второй половины шестнадцатого века, считают они, человечество вступило в техногенную эру.

Навстречу парому из густого тумана выплыл лесистый берег Ольхона. Небо наливалось дождем, собирался ливень, они заторопились в путь. Вскоре показалась главная святыня острова – мыс

Бурхан и Шаман-скала из сияющего белого камня. Скала вырастала из глубокой воды, соединенная с берегом тонким песчаным перешейком. Они слезли с коней, дядюшка принялся что-то бормотать, закрыв глаза, воздавая, видать, хвалу и почести местным духам.

Спустя минуту открыл глаза и спросил:

– А любит ли Бог Гитлера?

Покуда люди обматывали копыта коней тряпками, чтобы поменьше шуметь, так было тут принято, у Бори готов уже был ответ.

– Никогда не любил! – воскликнул Боря. – С первого дня зачатия, поскольку зачат он был в тяжких грехах. Я говорю об Амалеке, ибо Гитлер, как известно, – очередное воплощение Амалека. Он только имя себе поменял. Из рода в род меняет имя свое и облик!

Дядя попросил его отойти с ним в сторону, чтоб не смущать людей непонятными разговорами. Лошади вдруг взволновались: вздыбились, тараща безумно глаза, всхрапывая и мотая гривами.

Дядюшка кивнул Боре, и тот продолжал:

– Агада сообщает, что все народы были потрясены, когда колена еврейских рабов вырвались из Египта, сильнейшей мировой державы, оставив ее обескровленной и разрушенной. А волхвы и черные маги повсюду разнесли весть: чудеса эти – дело рук еврейского Бога, Бога Всевышнего: десять казней египетских, рассечение вод Тростникового моря, где погибло воинство фараона с конями и колесницами. А рабы его прошли посуху – по морскому дну – и спаслись. Народы прониклись страхом и трепетом к еврейскому Богу Воинств. К вождю Моисею, самому народу-избраннику...

С хмурого неба упали первые капли дождя. Дядя поднял глаза к тучам.

– И вот Амалек, желая всему миру доказать, что Бога евреев он не боится, пришел с огромным войском в Рефидим, решив затеять великое избиение. В Торе говорится: «Амалек пришел издалека». Это значит, что евреи ему ничем не грозили и не мешали. Не собирались даже пройти по его землям, направляясь в Кнаан, куда вел их Господь. Во-вторых – это были недавние рабы, не державшие никогда в руках копье или меч. Слабосильные, малодушные, не обученные искусству войны. Амалек же был народом воинственным и могучим. Но Бог евреям и тут помог – они одержали удивительную победу. И это была первая война в истории евреев. Сказано в Торе: «Война у Господа против Амалека из рода в род... Сотру Я память об Амалеке из-под небес!» О какой любви тут может быть речь?

В ту ночь Боря несколько раз просыпался от воя собак, далеких глухих ударов, стука дождя по крыше. Когда ночь еще не закончилась, а утро уже было близко, он продолжал маяться между сном и бодрствованием в жарко натопленном доме.

Потом оделся и вышел. Пустынные улицы были темны, тут и там лежали брюхом вверх рыбацьи лодки. А ноги, будто сами собой, понесли его в степь.

Он часто далеко уходил – в одиночестве и полном молчании, полагая, что именно так быстрее избавится от горькой накипи на душе. Еще он мечтал услышать звуки других миров, но тут почувствовал жуткую боль, будто душа начала отделяться от тела. Казалось, он изучал свою анатомию – отрывался от каждой косточки, каждой мышцы, каждого сухожилия. И вдруг оторвался, как миль-

ный пузырь от соломинки. Его понесло сквозь густые зеленые мхи. И стал превращаться то в точку, а то и вовсе в необозримое ВСЁ, улетающая дальше и дальше, за далекий светящийся горизонт.

Очнулся Боря в реанимации, с диагнозом «нарушение мозгового кровообращения». Нашли его незнакомые люди. Случайно, неподалеку от местного кладбища, и тут же позвонили в «скорую».

Возле кровати он обнаружил дядюшку, тот пытался накормить его жареной щукой из котелка.

Набравшись духу, Боря сказал:

– Скоро пойдет снег, год мой давно прошел! Могу ли задать вам один вопрос? С недавних пор, все чаще и чаще, происходят со мной непонятные вещи. Иду я, скажем, один в степи, кругом ни души. И слышу вдруг за спиной шаги, будто толпа за мной следом: топот, шарканье ног, разговоры... А оглянусь – никого: одинокий я путник в пустынной местности! Кто они, дядя, вы можете мне сказать?

– Вот ты и выздоровел, мальчик, пора тебе заводить гнездо!

К обеду другого дня в доме у дядюшки был щедро накрыт стол. С копченой и жареной рыбой, кусками баранины, водкой и молочным вином тарасун. Но мало что ели. Курили трубки, набитые редкими травами, пили чай, круто заваренный чабрецом.

Напротив окна, на улице, стоял черный внедорожник – отвезти Борю к родителям. В Жидовий Стан, где он уже не был пять лет.

– Мы называем их «ангелы возвращения», – говорил дядя. – По большей части они реют над вашими головами, шумят и свистят в воздухе крыльями. Но если поднимешь глаза, то их не увидишь – пустое, голое небо. Редко, правда, но слышал, что топают и за спинами, как ты мне вчера рассказывал... Знатные шалуны, однако! Каждый год буддийские дацаны наводняют израильтяне – парни и девушки. Сотни молодых людей, как пчелы на мед! Никого так не тянет сюда, как их: в Монголию, Гималаи, Тибет... И это понятно – мы родственны, от одного происходим отца! «Ребятки, – мы им говорим, это вовсе не ваше, езжайте назад, домой, на Святую землю». Но ты же знаешь: евреи народ упрямый, жестоковыйный... Ты полностью повторил их опыт и путь: общался с шаманом, был послушником, почти что монахом. Готовился в ламы – надежды, кстати, пустые и глупые... Это все проходят твои старшие соплеменники, ибо с порога не принято никого отвергать. В сокровенных знаниях мы никому не отказываем! Затем сажаем весь табунок за книги и за компьютеры, чтобы познали свое наследие, корни свои, от которых из дома удрали, не потрудившись даже сравнить – познать и сравнить. И через год назначаем тесты, как бы экзамен. Ты в этом сам убедился – вопросы довольно простые. Затем, как правило, прилетают ангелы, и наши гости принимаются собирать рюкзаки.

К субботе пол еще надо хорошенько надраить, и Боря идет за тряпкой, ведром. Наливает воду из крана, добавляет пару стаканчиков «Экономики» – для свежести, против микробов, мочит тряпку и отжимает ее.

Я понимаю, надо мне уходить. Теперь я буду только мешать.

– Ты что, и в самом деле мечтал стать ламой, войти в Совет Волнощенных? – задаю Боре вопрос.

Он набрасывает мокрую тряпку на швабру.

- Мне по карме суждено стать духовным лицом!
- Значит, в Израиле будешь равом? – пытаюсь дознаться.
- Вашими бы устами! Если Господь будет милостив...

Спустя минуту, не поднимая головы, Боря мне говорит:

– Как же умудрились вам вызов устроить эти «субботники»? По тем временам, бездну лет назад? Это ведь денег стоило сумашедших! И связи нужны были...

Орудя размашисто шваброй, он медленно надвигается на меня, а я отступаю шажками.

– Не так-то просто мне этот вызов достался, его предстояло еще заслужить! Они мне прямо сказали: «Когда душа в твоём теле проснется...» И назначили мне Давида духовным отцом.

Мы стали с ним ездить на Байрам-озеро, вроде бы как рыбачить. В предгорья Тянь-Шаня – посёлок рыбацкий, неделями там пропадали. Поздняя осень была, в горах стояли дивные дни...

Я вдруг увидел себя снова в лодке, как много лет назад, с Библией на коленях. Той самой, что подарил мне Давид в августе. Увидел Давида на веслах, себя напротив. Удочки с обоих бортов. Над нами прозрачное голубое небо, по которому плывут журавлиные клинья. Плывут и кричат, а мы далеко от берега, на волнах качаемся. Читаю Ветхий Завет – все подряд. Давид меня молча, внимательно слушает, будто что-то важное между нами подстерегая.

Случалось парочку раз, что я открывал Библию не на тех страницах: на житиях Иисуса, Евангелиях, и мой наставник духовный тотчас меня обрывал: «Это не надо! Оно не твоё, нет!» И возвращал меня на прежние тексты.

А однажды и в самом деле нечто случилось. Читал я главу «Итро», где возле горы Синай собрал Моисей народ, чтобы внимать гласу Всевышнего. И поднял глаза от Книги. Все оставалось таким же, как раньше: небо, водная гладь, далекие горы на горизонте... Но замерло в неподвижности. И в это мгновение я ощутил гармонию вечности, подлинное чувство счастья. «И что же ваша душа? – услышал я голос. – Чего вы вдруг замолчали?»

И вот назавтра снится мне, Боря, сон. Будто сижу я один в лодке, полный штиль на озере. Поблизости, вокруг меня, какое-то рыбье буйство. Тут и там вылетают из глубины пескари. Ростом с ладонь, будто отлитые из серебра. Так и спят блики от них – глазам моим больно. И вдруг рыбка одна шмякает меня по груди. Ударила и пропала. И я тотчас забыл про нее: куда вообще она подевалась!

Проснувшись, рассказал я Давиду свой сон.

Спросил он меня: а что ты сейчас в груди ощущаешь? Прислушавшись с минуту к себе, сказал, что малость болит. Вроде пульсирует что-то... А ты потрогай, велел он мне. Потрогай это руками. Возьми, поддержи в ладонях! Я мысленно так и проделал. Затем сказал восхищенно: как рыбка трепещет, живая рыбка...

Он облегченно вздохнул, стал повязывать былинными кудри широкой лентой, вышитой цветными крестами, вокруг затылка и лба. Ждать и стеречь уже было нечего, и он сказал:

– В Преданиях говорится, что на горе Синай собрал Моисей народ, все свое поколение, людей из плоти и крови. И души тех, кого еще нет, кому родиться еще предстояло. Ибо Всевышний давал народу Закон, Десять Заповедей: про это как раз ты вчера и читал.

Юрий Каминский

А ЧТО ТАМ ЗА ОКНОМ?

* * *

Бессонница и дождь.
Но все не так уж плохо:
Малыш переболел,
Закончилась эпоха
Ничуть не хуже всех других эпох.
И самое реальное – под боком –
За тонкой тканью – теплотворный бок.

Пора вставать.
Сегодня ждут подмости:
Я родился сегодня.
Будут гости,
И надо запастись с утра тоской...
А что там за окном?
На перекрёстке
Стоит рассвет с протянутой рукой.

* * *

...На роковой стоим очереди

Ф. Тютчев

Ты ждёшь меня?
А ты меня не жди.
Кто знает, что там будет впереди,
Куда свернёт петлистая дорога.
На роковой стоим очереди –
Вот вся недолга.

И он стоял на ней, и я, и ты.
Что от того, что наши все мечты
Останутся без наших душ и толка:
Почти живые, мёртвые почти –
Вот вся недолга.

И ты меня не жди.
И не спеши,
Не торопи события души,
Их слушай только.
И, если затоскуешь, напиши –
И вся недолга.

* * *

Не сеял я и не косил,
Не строил силосные башни.
На ломком языке осин
Благословлял луга, и пашни,

И вымя спелое коров.
Антоновку в саду вечером,
Когда мне не хватало слов,
Чтоб описать её свечение.

А бормотание корней
Священных знаков
Давно благословил во мне
Мой праотец Иаков.

* * *

Не ем продукцию мучную.
Не пью вина.
Пишу вручную.

Моя вина,
Что никогда не успеваю
Вскочить в вагон.
В том никого не обвиняю –
Какой резон?!

Живу не бережно, не жадно,
И тем, что есть,
То с птичкой, то с лошадкой ладной
Делюсь всегда.
И это – честь:
Они берут, а я радею.

Но есть корысть:
То выужу у них идею,
Очеловечу мысль.

Вдали от говорливых истин,
Ни от чего не защищён,
Живу не медленно, не быстро...
А как ещё?!

* * *

*Чужбина так же сродственна отчизне,
Как тупику соседствует пространство.*

И. Бродский

Хорошо, если, голову вверх подняв,
Ты увидишь жизнь свою не по дням
И годам,
А, быть может, всю...

И не станешь завидовать даже псу,
У которого тоже нет конуры,
Да и сам он изрядно жизнью изъеден.

А когда осыпется блеск мишуры
Звёздной ночи
И, всё ещё бледен,
Первый луч явится.
А нетопырь
Из щели вырвется, поднимая пыль,
А потом и свет во все щели брызнет,
Обходя тупики, язык-поводырь
Из чужбины тебя поведет в Отчизну.

ОДИНОЧЕСТВО ГОРБАТО

Одиночество горбато...

Ночь поката и влажна.

Выбор есть, но небогатый –
Можно – противу рожна:
Захлебнуться острой болью,
Тихо выкричать себя
И смириться.
И обои
Переклеить,
Не любя
Эту грязную работу.

Можно выйти на балкон,
Глянуть вниз, сказать чего-то
И исполнить давний сон:
Быстро заморгают веки,
Словно крылья, на ветру,

А позёмкой – имяреки –
Человеки, человеки,
Руки подняты, орут.

Растянули свои сети,
Сдвинулись – плечо к плечу.

Очень хочется ответить:
– Да пошли вы...

Но молчу.

ТЕТЕРЕВ. РАССВЕТ

Дитя рассвета – Тетерев –
До петуха до третьего
Проснется и поёт.
И голышом – по камешкам,
Как пальчиком по клавишам, –
Тра-ля, тра-ля – живёт.

А выпь в густом раkitнике,
Как будто бы калитками
Столетними скрипит.
А кулики куликали,
Будя густыми кликами
Небес ночной санскрит.

А вот и гребень – гоголем –
У горизонта волглого,
Кут неба раскаля,
Зашёлся и откинулся.

И Тетерев откликнулся:
Тра-ля, тра-ля, тра-ля.

ИЮНЬ

Над лесом и над озером
Июнь сухими грозами
Распугивал грачей,
Оглохшими стрекозами
Прижав к земле ручей.

А я в своём скворечнике,
Как подобает грешнику,

Грехи припоминал:
Почти бесстрашно взвешивал
Замшелый криминал.

А там гремело бешено,
Как будто бы замешаны
Все силы были там:
И ангелы, и лешие,
А может быть, и Сам.

И в промежутке крохотном
Успел подумать: плохо там,
Все плохо, как на грех,
И тут же был я грохотом
Расколот, как орех.

И в тишине расколотой
Я, на окраине города,
В скворечне номер два,
Из мусора какого-то
Вылущивал слова.

НОЧЬЮ

Такого раньше не бывало:
За стенкой я услышал смех.

На золотую ложь бульвара
Уже ложился первый снег.

Светясь, он осыпался тихо,
Преображая мрак ночной.

А сумасшедшая портниха
Смеялась рядом, за стеной.

* * *

Теперь всё чаще на губах
Я ощущаю вкус полыни.

Моей душе все ближе Бах,
Его небесные глубины.

Его подземный светлый гул,
Как слёзы, слизываю с губ.

* * *

Вот сижу в пустой квартире
И бренчу на ржавой лире.

Что бренчу?
Зачем бренчу –
Даже думать не хочу.

День скатился по лучу,
Темнотой окно завесил.

Я не грустен и не весел.
Бросил лиру.
Взял дуду.

День ушёл.
И я уйду.

* * *

Памяти П. Волина

Хорошо бы успеть то, что хочешь успеть,
На себя одного полагаясь.

Медь заката уже потускнела на треть.
Скоро ночь. Скоро сцена другая.

Вот и небо раскинуло звёздную сеть.

Хорошо бы успеть.
Хорошо бы успеть.

Щахокас Мерас

ТОРЬКИЙ ВКУС ЩАВЕЛЯ

Мурзе твякнула разок, потом еще, потом радостно взвизгнула, но Морта все равно вздрогнула и уронила половник. Он короткой толстой ручкой ударился о стенку чугунок, плюхнулся в кипящее варево широким донцем, большая горячая капля брызнула на верхнюю губу женщины, и когда она облизнула губы, во рту осталась горько-кислый вкус.

– Пожадничала, пожадничала, – укорила себя, – не только листья, еще и стебельки покрошила, но, может, если подбросить соли, пропадет эта горечь...

Тут Мурзе подала голос, и Морта отвернулась от дверей, страшась того, что увидит, не зная, кто там на этот раз – ненароком ли забрел, забежал навестить, зашел по делу или Бог весть чего еще.

Так всякий раз, когда Мурзе чужая приходившего – мужчину ли, женщину, – вздрагивала Морта и отворачивалась от двери.

Между тем уже и клямка звякнула, и сами двери, открываясь, закрипели давно не мазанными петлями, и Морта покосилась через плечо, вдруг ощутив поток тепла онемевшей спиной.

И вправду...

– Боженька ты мой...

Да ведь Стяпукас!

Не ждала, так долго его не видела, а вот он, с повизгивающей Мурзе, треплющей его за штанину, с узелком подмышкой. И вроде бы веселый, только весь какой-то обросший, а под глазами – темные круги.

– Уже бреешься? – то ли радостно, то ли огорченно пробормотала Морта. – Уже? Как же так теперь...

– Так уж...

– Давно?

– Нет, – почему-то покраснел Стяпукас, – недавно.

– А чего так почернел? – почти сердито допытывалась Морта. – Небось, ночами не спишь? – пошутила. И вдруг страх камнем навалился: а не Стяпукас ли ночью ходил по двору, не его ли тень накрыла окно, не увидел ли он то, чего ему не надо бы видеть?

«Нет! Нет! Нет! – убеждала она сама себя. – Он бы вошел, все равно бы вошел...»

– Что ты, в самом деле, – махнул рукой Стяпукас и соврал: – Спал всю ночь, чего там...

«Показалось, – продолжала она успокаивать себя. – Все со страху... Уже мерещится мне, день и ночь мерещится...»

– А я как знала, – громко заговорила, подбадривая себя и парня, – щавеля вот насобираала, надергала и варю, словно тебя дожидаясь.

Теперь Стяпукас помолчал, только посмотрел в осунувшееся, поблекшее лицо женщины, посветлевшее в этот миг, и опустил глаза.

Опустил глаза, потому что пришел он ночью и бесшумно обошел вокруг дома, даже Мурзе не залаяла, только взвизгнула пару раз, обошел вокруг и слышал там чужой голос, но, хоть и очень хотелось, не заглянул в окно, словно мог этим маманю обидеть. А обидеть маманю он не хотел – хоть знай она об этом, хоть нет. Потому кинулся в лес, в свой старый заброшенный шалашик, и там всю ночь вертелся на шершавом мху, руками пытаясь защитить себя от сырости и холода. А утром, так и не сомкнув глаз, поднялся со своего ложа, подался тропками да полянками, собирая ягоды, и только к полудню оказался дома.

Мурзе кругами носилась около парня, а он, присев на корточки, гладил теплую коричневую шерстку.

Морта за это время успела перевести дух и, совсем уже успокоившись, спросила:

– А что лба не перекрестил?

И Стяпукас, не поднимая еще глаз, пробормотал:

– А я больше не крещусь, маманя...

– Так что, совсем уже евреем заделался? – краска бросилась в бледное до того лицо Мorte.

– И еврей и не еврей, ни то ни се, – ответил Стяпукас.

– Хоть так... Я говорила! Лучше безбожником! Только не евреем...

Стяпукас молчал.

Тогда, не найдясь, что еще сказать, Морта утерла губы передником, топ-топ своей искалеченной ногой и – на шею парню. Поцеловала в щеку, в другую, и еще и еще – истосковалась.

Хоть все еще ворчала, все не успокаивалась:

– Блудный сын... Блудный... Но, слава Богу, хоть еврей, да и не еврей...

Стяпукас, совсем еще сосунок, но долговязый, на целую голову перерос уже Морту, поцеловал ей руку, потом сгреб в охапку, прижал к себе, ощутил плоскую грудь, выпирающие ребра, острые позвонки – и подумал: плохой я сын, раз маманя так сдала.

– Ты ведь не голодаешь, упаси Боже... Или голодаешь? – сказал, медленно отстраняя ее, но все еще не выпуская из объятий.

Она вздрогнула, теперь в его руках, содрогнулась всем телом, он ощутил ее дрожь и сам затрепетал от своей нежданной догадки, хотя все еще не хотел понять, отгоняя налетевшее вдруг вихрем недоброе предчувствие.

Потому зашел с другого бока:

– Может, домовой какой завелся, все съедает, до последней крошки? Что? Домовой? А ты пустым варевом жива? Что, коза уже не доится?

И замолк, ожидая, что она скажет.

Скажет ли?

Если признается, что прячет человека, так и слава Богу.

Если нет, – значит, Миколюкас под полом в тайнике сидит.

– Так домовой? – повторил он, все еще надеясь, что ответит.

Она молчала.

– Боже праведный, – простонал Стяпукас и прикусил губу.

– Уже и Господа-Бога призываешь..., – пришла в себя Морта. – Видишь ведь, я жива-здорова. И сыта, не выдумывай. А теперь отпусти меня, уже полдень, мне пора помолиться.

Она высвободилась из объятий сына и торопливо захромала к иконе Богоматери Остробрамской, сложила руки ладонь к ладони:

– Ангел господен...

А Стяпукас уставился в пол, в доски под кроснами.

Это был непростой пол. И кросна – тоже. Под этим полом Стяпукас три года хоронился.

Как только начал Миколюкас со своими сообщниками рыскать по всей волости в поисках прятавшихся евреев, позвала Морта дядю Пранцишкуса. Тот поставил на верстак незаконченную фигурку Боженьки, пошел и выкопал в доме Морты под полом продолговатую яму, потом обшил ее досками и так сложил лаз, что, не зная, ни за что не отличить его от пола. А хоть бы кто и отличил, все равно ничего не мог сделать, потому что кросна были установлены намертво, если не знать секрета, как вытащить потайную задвижку. А кто знал – толкни кросна, крышка лаза поднимется и – эй, кто там, вылезай из ямы.

Стяпукас хотел тут же подвинуть кросна и открыть крышку. Откинуть крышку над головой Миколюкаса и тихо сказать:

– Выбирайся наружу...

Он долго искал Миколюкаса, но никогда не думал, что станет делать, когда найдет.

А теперь подумал.

Жаль, ружья не было.

Он бы прикладом ему зубы выбивал – по одному, по два, по три, понемногу, удар за ударом, так же, как тот выбивал доктору Суральскису, когда доктор карабкался из ямы.

Он бы ему лицо размозжил, как тот размозжил раввину Элизеру, что молитвенно протягивал к нему руки:

– Детей пожалей... Хотя бы младенцев...

Он бы вырвал его гнусное сердце.

Он штыком бы его колол – за отца, за мать, за братьев, за сестер, за бабушек, за дедушек, за дядьев и их жен, за двоюродных, за троюродных – за всех, покуда тот не превратился бы в кровавое месиво, исходящее такой же кровавой пеной, как исходил он, Велвл, кровью и трупами вымытый наверх, на край ямы, когда тонкий слой земли пенился, кипел, пузырился над могилой.

И тот все же так и остался бы неотмщенным, потому что нет кары такому.

И все равно – карать ли его сто раз или убить одним выстрелом – одно и то же, никакой разницы.

Стяпукас уже и с лавки поднялся, но тут заворковали голуби под крышей, и он снова опустился на лавку, понимая, что надо ждать ночи.

А может, опамятовался.

Потому что был самый полдень, и, может, кто шел мимо или хворост в лесу собирал неподалеку, или в поле работал, а может, солдаты или каратели где-то на опушке, на полянке хоронились, следили – что тогда с маманей будет?

Да и ружья у него не было, а свое оружие, чтоб маманю не напугать, сунул под крыльцо, прежде чем войти в дом.

Только дьявол мог до такого додуматься – привести Миколюкаса в дом к мамане.

Ясное дело, никому и в голову не придет.

Он, Стяпукас, полгода уже, как развозит почту по домам в поисках Миколюкаса, а Миколюкас в его доме, в его тайнике хоронится. Только дьявол мог до такого додуматься, только Миколюкас...

Нет, не надо бы ждать ночи.

Надо закончить теперь, сейчас же, и все.

Стяпукас выскочил на крыльцо, достал свой наган и застыл в растерянности.

Как поднять оружие при мамане?

Как выстрелить, когда маманя молится?

Морта, прикрыв глаза, сложив руки, била поклоны перед Святой Девой.

Клен тихо шелестел за окном.

Коза бляла у забора.

Мурзе все еще виляла хвостом, заглядывая в глаза.

Снова заворковали голуби.

А больше – ни звука.

Светлый покой летнего полдня.

– Господи, – думал Стяпукас, – может, и нет здесь вовсе Миколюкаса, может, я все выдумал? Может, маманя никого и не прячет? Может, и не было голосов ночью? А если были – может, вовсе не Миколюкаса? Может, не Миколюкаса прячет маманя, а ничего не говорит, потому что меня оберегает?

Разве решится Миколюкас прийти в их дом?

Разве протянет маманя руку такому? Что она, забыла Тереселе?

– Выдумал я... Выдумал... – бормотал тихонько сам себе Стяпукас.

Нет, нет, ни за какие райские блага маманя не стала бы прятать Миколюкаса.

И Стяпукас перевел дух и снова спрятал оружие.

И полегчало.

Хотя надо было начинать наново.

Как сквозь землю провалился, пропал Миколюкас. Кружили его следы: в лес и из леса, в лес и снова из леса, пока не пропали, исчезли где-то поблизости – никто его нигде больше не видел, нигде он не появлялся, может, с полгода.

Тогда и пришла эта странная мысль, словно предчувствие: а не в его ли тайнике Миколюкас?

Но нет! Конечно же, нет...

Наново начинать придется.

– Побуду с маманей и уйду под вечер, – бормотал он сам себе.

Маманя все еще молилась.

– Ангел господен возвестил Деве Марии: Ты зачнешь от Святого Духа. Пресвятая Мария-заступница! Господь с тобою...

Тут Морта замолкла, голову опустила.

Не могла сосредоточиться на беседе с Богоматерью, а попусту сыпать слова молитвы не хотела. И слабость какая-то охватила ее, голова закружилась – так уже не в первый раз.

Может, и прав мальчик.

Как же не прав?

Уж сколько месяцев она капли молока во рту не держала, мяса или шкварочки какой и не пробовала, хлеба себе жалела, только

картошка да какое-нибудь пустое варево, без заправки, страхом поперченное, слезою посоленное.

Может, и прав, да нельзя ему того знать.

Нельзя, нельзя!

Как бы ни хотелось, а не сказать, не признаться. Лучше уж кому угодно, хоть карателям, только не Стяпукасу. Не простит... До гробовой доски... Ненавистью зальет сердце и ум. И что тогда делать?

Успокоить надо мальчика, успокоить.

Она перекрестилась, обернулась к Стяпукасу и произнесла – еще без обмана, но уж почти:

– Иди, глянь, как у козы вымя набухло. По две кринки каждый день надаиваю. «Не голодаешь ли...» Мне же почтальон те твои червонцы привозит. И яиц женщины приносят, масла, сыра, сальца кусочек. Я ведь и пряду, и тку!

Тут она покривила душой. Прясть пряла, но ткать – ничего не соткала за эти месяцы, и женщины недовольно ворчали, не дождавшись обещанного.

Стоило ей только присесть к кроснам, так и начинал стенать-молить тот, что под станком, под полом прятался:

– Перестань, Морта! Сжался! Каждое твое движение – мне как пуля в голову...

Морта поднималась со своего места, и нет как нет полотна, и не оставалось уже мяса для самой хоть попробовать, потому что такого крупного мужчину, пусть он и заточен под полом, ведь надо накормить, а как поест, и напоить. Ему эти две кринки молока в день – всего ничего, опрокинет и одним духом высосет до последней капли, еще и пенку с глиняных стенок слижет – и как не было.

А кому пожалуешься?

Стяпукасу? Упаси, Господь!

Только Пресвятой Деве да чаду ее, на кресте распятому, – никому больше.

– Ты благословенная среди женщин и благословен плод чрева твоего Иисус... – снова перекрестившись, продолжала молитву Морта.

Но тут другая мысль, недобрая, объяла ее: а что, если он не на побывку, а насовсем пришел, домой возвратился, полгода пометавшись на стороне? Как тогда выкрутишься? Тогда конец, хоть иди и своими руками себя распни...

– Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных ныне... – про себя голосила Морта, рыдая без слез, сухими немигающими глазами вперяясь в лик Марии Остробрамской. – Хочу, чтоб мальчик дома остался! Ой, как хочу! Ведь мой он, мой, как из лона бесплодного моего... Что делать, Пресвятая Дева? Молись за нас грешных ныне и в наш смертный час... Иисусе! Иисусе! Иисусе! Вот я, слуга господня, да будет мне по слову твоему! Святая Мария-заступница...

Вдруг что-то стукнуло, словно в пол ударило, задребезжало.

Морта обернулась к Стяпукасу, а тот на нее посмотрел.

«Не он ли там вертится, услышал ведь голос Стяпукаса», – думала Морта.

«Не под полом ли кто стучится... Хоть бы только... Только бы не Миколюкас...» – думал Стяпукас.

Тут оба увидели Мурзе – не в силах справиться со своей ще-нящей радостью, она самозабвенно била хвостом по полу.

Вот она подскочила вверх, поднялась на задние лапки – служить, хвостом стук об пол и снова его вверх, дышит часто, а потом волчком вокруг себя, схватила обглоданную кость, что притащила в зубах, и – под ноги Стяпукасу, а потом снова – вверх-вниз хвостом по полу с громким лаем.

Усмехнулся Стяпукас, положил на стол узелок, с которым пришел, стал развязывать. Развязал, разгладил льняную холстину, а там – краюха хлеба, баночка масла, хвостик колбасы, кусочек окорока и впридачу обглоданное ребрышко.

Увидел, что Морта поднимается после молитвы, сказал:

– Может, закинь в суп это мясо?

– Давай...

– А это тебе, – Стяпукас сунул ребрышко Мурзе.

Та схватила гостинчик, забилась под стол и самозабвенно вгрызлась в кость.

Тут снова кто-то стукнул и вроде бы закричал, и Мурзе, бросив кость, оскалила зубы, зарычала, кидаясь к кроснам и отскакивая обратно.

Морта, побледнев, с криком погнала ее прочь:

– Сдурела, что ли? Или уже взбесилась?

И ногой притопнула и добавила:

– Чтоб мигом мне утихла!

И утихла Мурзе, вернулась к своей косточке, но все погрызет-погрызет – и зарычит, оскалившись, на кросна, и снова погрызет – и зарычит.

И Стяпукас то ли спросил, то ли так сказал:

– Прячешь или нет? Ведь прячешь кого-то...

Припертая к стенке в конце концов, не зная, как защититься и что соврать, Морта сказала:

– Кого преследуют, тому и протяни руку...

И, произнося эти слова, обратила лицо к распятию над своей головой, словно это были слова молитвы.

– Так почему же ты сразу не сказала? – спросил Стяпукас.

– Теперь знаешь, так что? Что из того?

«Ну и слава Богу, – про себя подумал Стяпукас. – Раз сказала, значит, не Миколюкас. Слава Богу...»

Долго оба молчали.

Морта помешивала щавель.

Стяпукас сидел за столом, подперев рукой подбородок.

– Может, козу бы подоил, – тихо попросила Морта. – Хоть суп молочком забелю.

Он, ничего больше не спрашивая, вышел во двор, снял маленькое ведерко с колышка ограды.

Огляделся.

И увидел, как сильно двор по хозяйской руке тоскует.

Крыша погребца покосилась.

Стенка хлева скособочилась.

А дров осталось всего-навсего две вязанки – только на щепу для растопки.

И обрадовался Стяпукас.

Ведь ему тот погреб – как дом, много дней в нем просидел, пока Пранцишкус не выкопал убежище в избе.

Поднимет крышу погреба, укроет дерном, залатает.

Выправит стену хлева, подопрет, укрепит, крышу переберет. Разве не под этой крышей отлежал он множество дней и ночей на сеновале, пока Морта и Тереселе выхаживали его – трое суток он убегал от ямы, простреленный, истекающий кровью, дядя Пранцишкус нашел его полуживого в ближнем лесу и на себе бегом приволок и спрятал на сеновале, в том хлеву.

И хлев здесь был ему домом.

И дров привезет из лесу, впряжется в маленькую повозку, привезет из лесу, как из дома, ведь и там было у него убежищетаиник.

И ворот колодца смажет, если слишком скрипит, а может, и не станет смазывать – пусть себе скрипит, даже веселее.

Есть у него несколько свободных дней, можно не возвращаться на работу, совсем незачем спешить в его сумрачный угол в развалинах усадьбы.

Редко теперь навевывался домой Стяпукас.

А если сейчас вернулся, так почему бы и не порадоваться?

И о мамане позаботится. Захочет – не захочет, а все молоко он ей скормит, она совсем как больная.

Может, принесет еще какого-нибудь укрепляющего зелья, попросит у дяди Пранцишкуса. Пусть попьет, окрепнет.

А может, пчелиного молочка. Да и самим бы надо улей поставить – как-то продержаться.

Может, зайца поймает или хоть куропатку, поставит несколько силков, будет свежины кусок.

И по ягоды каждый день ходить станет. Ягоды – они тоже как лекарство.

И сегодня вон, как знал, принес штук двадцать полевичек – на-собирал в лесу.

Вот зачерпнет свежей воды из колодца, ополоснет, освежит ягоды, оставленные на скамейке у крыльца, зальет желтым, сладким козьим молоком и поставит перед Морттой:

– Подкрепляйся, набирайся сил, маманя...

Еще хлеба ломоть отрежет, пододвинет ей, и просветлеет ее лицо, и морщины разгладятся.

Потому что вкусно.

И потому что сын рядом.

И потому что сыну не все равно.

А и не все равно, как же все равно.

– Ешь и ты, и ты угощайся, – спохватится вдруг маманя.

Возьмет и он плешечку.

А тому, кто прячется, он так скажет:

– Иди в лес. Маманя болеет, не может она о тебе заботиться. Теперь много народу в лесу. Иди и ты. Дай мамане прийти в себя. Настродалась она в войну, при немцах. Надо ей отдышаться, не может человек вечно в страхе жить, потому что не выдержит.

Так он скажет.

И если там добрый человек – поймет.

Что тут не понять?

Ведь гибнет маманя!

Была бы Тереселе, так ведь нет Тереселе.

Стоял Стяпукас под кленом, около низкого деревянного креста на могиле Тереселе, обсаженной настурциями и анютиными глазками.

Тереселе нет, сам он как заведенный по волости мотается с места на место, из деревни в деревню, а Морта одна-одинешенька брошена, нет ей покоя, совсем нет покоя.

И чего им всем надо от этой женщины? Чего они хотят от этой бедной хромой богомолки, что они все к ней пристали, что кроме нее больше не осталось уже кому добро творить? Ни зимой ни летом?

Так злился Стяпукас и вдруг подумал: а вправду, почему и летом?

Зимой многие заходили поздним вечером, ночью, порой и к рассвету. И лесной брат, и каратель, а то и русский солдат. Отогреться, горячего попить, иногда помыться. Не отказывала никому.

Бывало, раненого приведут, просят кровь остановить, и останавливала Морта – она это умела.

Бывало, на руках принесут в горячке, в бреду – и такого Морта знала, как выходить.

Но никто без дела не задерживался. Ни лесной брат, ни каратель.

Не задерживался никто, нет! Так чего этот летом в избе сидит, в убежище прячется?

Ранен? Ничего такого Морта не говорила, а если что, сказала бы.

В бреду? Так не слышать было.

Миколюкас! Этот и леса боится! Ведь все время следы мечет – то в лес, то из леса.

Поднял Стяпукас голову от могилки Тереселе и увидел Морту – она беспокойно оглядывалась по сторонам, а потом заспешила в избу.

Пойдет сейчас и выпустит его там. Выпустит, не иначе.

Все же – Миколюкас...

– Я иду, уже иду! Не вытаскивай задвижку, не трогай кросна! – закричал он.

Бросившись в избу, успел еще на ходу схватить оружие из-под крыльца.

А она и в самом деле, наклонившись около кросен, уже собиралась открыть лаз.

Стяпукас схватил Морту в охапку:

– Дай, я... Я его... выпущу... – сказал он.

– Боже сохрани! – закричала Морта и сунула назад задвижку, вывернувшись из объятий Стяпукаса. – Убьет он тебя... Убьет, не пожалеет...

– Не убьет.

– Убьет! И отойди подальше от станка... Отойди!

– Так как же ты его приняла, такого... Как в дом впустила?

Что ей было отвечать теперь?

Что сказать?

Поймет ли?

Может ли понять?

– Я уже полгода иду по его следам... Никто его добровольно не принял. Разве что только из страха. Все его чурались и гнали подальше от себя, как чуму какую, как злой дух, уже вслед за мной и власти его ищут.

– Потому и приняла, – вздохнула Морта. – Оттого и приютила... Если смерть кому грозит, – а ведь грозит, – как не спасти эту жизнь?

Примостилась, съежилась на полу у кросен, сжалась, скукожилась и как-то сама себе показалась жалобно маленькой, слабенькой, как ребенок, как Тереселе, когда ждала у крыльца, и Миколюкас их обеих настиг, появился со стороны леса, тихо подкрался, один, без сообщников, пешком, без лошади, без телеги, и застиг их к вечеру, закатное солнце уже заливало окна и крыльцо красными лучами.

– В тот раз обманула меня, хромоножка, – заорал. – Но теперь я тебя подловил. И кого ты тут прячешь, богомолочка, девчонку пекарши Двойры?

– Это моя Тереселе! – закричала она, бросившись из избы. – Тереселе!

– Спроси ребенка, – хохотнул Миколюкас. – Ты Тереселе?

Тереселе утвердительно кивнула.

– А может, ты дочка Двойры? – спросил Миколюкас.

Девочка и теперь подтвердила.

– Видишь, совсем запутала ребенка, – сказал Миколюкас. – Иди сюда, – поманил он девочку пальцем, – иди сюда...

Но та не подошла, только еще крепче вжалась в крыльцо, съежилась в комочек, словно хотела стать поменьше и исчезнуть, да Миколюкас не стал ждать, пока она исчезнет, достал револьвер, трижды выстрелил, приблизившись, покатал сапогом по земле неживой уже комочек и, уходя, бросил на ходу Морте:

– Радуйся, что и тебя не порешил.

Вскоре по каменистой дороге по-над лесом зацокали конские копыта.

Исчез Миколюкас.

– Мамадя, – просил Стяпукас Морту, – разреши, мамадя, я открою лаз...

– Нет, – вскрикнула Морта, мгновенно выпрямившись. – Нет! Убьет он тебя, говорю, убьет!

– Не убьет! Теперь уже не убьет, – сказал Стяпукас. – Не бойся, мамадя...

И вдруг страшное подумалось Морте:

– А может, пусть возьмет... Пусть возьмет мальчик Миколюкаса, пусть делает, что хочет, и кончено...

И застонала, сама испугавшись своей мысли, опасливо взглянула на Стяпукаса, словно он эту мысль мог услышать или прочитать.

– Сказано, – прошептала она едва слышно, – сказано ведь: будьте милосердны, как милосерден Отец ваш; не судите, и не судимы будете; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и вам простится. Не человек человеку судия, но Господь Бог. Он всем воздаст – за доброе и за злое, каждому по делам его...

Стяпукас ничего ей не ответил, не сказал ничего и больше ни о чем не просил.

И Морта словно бы пришла в себя.

– Спрячь это... спрячь оружие, – велела. – И даже не думай... Не позволю. Только через мой труп. Не будешь ты убийцей, никогда... Не для того я тебя спасала, чтобы ты стал убийцей... – И, помолчав, добавила: – Уйди теперь. Лучше уйди... Пока снова не вернешься когда-нибудь... если вернешься...

Стяпукас выпрямился, закусил губу до боли, глядя Мorte в глаза, зная, что так и будет, и коротко бросил:

– Хорошо, мама.

Она смотрела и смотрела на него молча, а потом вдруг бросилась ему на шею.

– Вернешься ли?

Он мгновение помолчал.

– Вернусь, – сказал.

И пошел, не оборачиваясь.

Она и не плакала вовсе, только глаза пылали, будто их песком засыпало.

А Стяпукас все шел, удалялся от дома.

Она наклонилась к кроснам, вытащила задвижку, подняла крышку лаза, умоляюще обратилась к Миколюкасу:

– Уходи... Лето уже, не пропадешь... Устала я. Свалюсь – и останешься под полом замурованный. Уходи... И да простит меня Господь!

Но Миколюкас молчал и даже не шевелился.

Содрогнулась Морта, увидев, что Миколюкас совсем посинел, не дышит, и глаза его в ужасе вылезли из орбит.

Так же выпучены были его глаза тогда, в ту ночь, когда, наевшись среди ночи, схватил Морту за горло и прошипел:

– Не противься, и все будет хорошо.

Он упер ее головой в стену, сорвал исподнее и, зайдя сзади, поставив ее, как скотину, на четвереньки, взял силой.

Мorte было больно, и потом каждый раз было больно, словно кто-то разрывал ей внутренности, но еще больше разрывались сердце и душа ее, потому что она растерялась, запуталась, не могла понять, что дороже для Господа – спасение жизни Миколюкаса или ее собственная непорочность, молчаливым жертвенным обетом сердца врученная Христу.

– Покарал его Господь, – сама себе вполголоса сказала Морта и повторила: – Покарал...

Тут она подхватилась и бегом захромала, догоняя с криком Стяпукаса:

– Стой! Подожди! Вернись!

И он услышал ее и возвратился.

– Нет больше Миколюкаса, – произнесла она, хватая ртом воздух. – Задохнулся. Может, со страху умер... Открыла крышку, а он уже неживой, весь синий. Покарал Господь... Что делать будем?

– Похороним, – отозвался Стяпукас.

– А потом уже останешься дома? – тихо спросила она.

– Останусь.

– И ладно...

И было бы ладно, если бы так и было.

Но было не так.

Так только Морта хотелось.

Было по-другому.

Когда Морта подняла крышку лаза, она и вправду сказала Миколюкасу:

– Уходи... Лето уже, не пропадешь. Устала я. Свалюсь, и останешься в яме замурованный. Уходи... И да простит меня Госсс...

Она не договорила то последнее, самое важное слово, потому что Миколюкас, выбравшись из ямы, ударил ее прикладом автомата в висок, и она упала замертво.

А он пошел вслед за удалявшимся Стяпукасом, и когда тот, услышав шаги, оглянулся, пустил ему в спину две пули, потом, прицелившись за ноги, бросил в избе рядом с Морттой на пол и ушел в лес.

Через несколько дней кто-то нашел их, уложенных рядом. Не знали люди, кто их убил, потому говорили всякое: одни считали, что каратели, другие – что лесные братья.

Только дядя Пранцишкус понял, что случилось на самом деле и как все было.

Увидев Мортту и Стяпукаса с умиротворенными лицами, как живых, как уснувших, он неторопливо сколотил два гроба, потом вырыл широкую яму рядом с могилой Тереселе, у клена, где земля еще с тех времен была освящена, и похоронил их обоих, а над могилой дубовый крест поставил.

А в часовенке над крестом поместил Святую Деву, очень похожую на Мортту, с младенцем, словно бы со Стяпукасом, на руках. И еще Пранцишкус прибил к кресту дощечку, на которой было выжжено: Св. МОРТА и Св. СТЫПОНАС.

Хотел дядя Пранцишкус взять Мурзе к себе, чтоб не пропала одна, и козу хотел увести, чтоб не осталась без присмотра.

Но не пошли с ним ни коза, ни Мурзе.

Подумавши, оставил их Пранцишкус: понял вдруг, что не пропадет животиная, незримая рука позаботится о них, так же как заботилась, чтоб огонь в печи не погас, чтоб щавелевое варево в чугушке всегда горячим было, но не испарилось бы и не иссякло.

И краюха хлеба лежала на столе и не черствела, и плошечка молока с земляничкой.

Пранцишкус, бывало, откраивал себе ломоть хлеба, наливал супу, потом закусывал молоком с ягодами и, помолвившись, поднимал глаза к низкому потолку и говорил:

– Спасибо, Морта, спасибо, Стыпонас.

И так было всякий раз, когда он приходил, и не убывало варева в чугушке и хлеба в краюхе и молока да ягод в плошке.

А пламя в печи горело, будто это вечный огонь.

Потому, если будете проходить или проезжать когда-нибудь мимо, остановитесь, войдите в ту избу, сядьте к столу, отрежьте хлеба, налейте себе щавелевого супа, подкрепитесь, а потом, подняв глаза к небесам, произнесите Вечную Память о всех невинно убиенных.

Перевела с литовского Софья Шегель

Аркадий Сигал

ВИДЕНИЯ

СОНЕТ В СТРОКУ

в одну строку без знаков препинания на выдохе без паузы на вдох сознанья не удерживать поток оставшись постепенно без сознанья не различая ни добра ни зла и не ведая где бог и где порог нырнуть в один из проходных миров густой и многослойный как лазанья там подходящий заплатив налог приблизиться к творцу без обрезанья к отмычке подобрать один замок и с вечностью сыграть в одно касанье и не теряя маски на лице поставить многоточие в конце...

ПОЭТ И МУЗА

Средь шумного бамса и бумса,
Когда ни покрышки, ни дна,
Однажды является Муза.
Без музыки. Ночью. Одна.

Дитя безупречного вкуса,
Она бестелесна почти,
Но, словно Горгона-Медуза
В клиента вперяет зрачки.

Тот празднует подлого труса
И думает: «Что за мура!
И так, не успеешь обуться,
Уже разуваться пора.

Увы, не по силам обуза.
Отбой, дорогая, отбой.
Прости, ни единого плюса
Не вижу в контакте с тобой.

Ищи шалопаев безусых
И с ними романы крути...»
Но смотрит без жалости Муза.
И с места уже не сойти.

И нет ни еврея, ни друга.
Невидимый счетчик включён.
И мутным потоком искусство
Из жизни наружу течёт.

ФРАГМЕНТ РОМАНА

Фрагмент романа. Утро. Век не наш.
Неброский особняк. Второй этаж.
Он и она в гостиной при камине.
Но нет тепла в помине между ними.

Он, без эмоций, по-армейски чётко
Ее склоняет к браку по расчёту.
Она, пугая бледностью лица,
Отчитывает подлеца,
И тот, в душе хозяйку понося,
Уходит, голову с тупым достоинством неся
На розовой короткой шее.

Мерзавец. Самому за пятьдесят,
А ищет отношений.
Бог с ним. Ушел в бега.
Нет, на бега.

Просачивается слуга,
Приносит почту на подносе.
Всё письма. Все однообразно просят
Руки и сердца, сердца и руки.
Она читает и уже не сердится.
Еще одно. Опять – руки и сердца.
Смеётся: Одурели мужики.

С ногами в кресло, туфелек не сняв.
Задумалась. Внезапно в кураже
Бежит к камину, письма – жечь.
Оказывает всем.
И ждёт меня.

...Ты ждёшь меня. Тебе семнадцать лет.
Я вижу неподвижный силуэт
В окне второго этажа особняка.
Ты ждёшь меня...

Но разные века!
Рукой подать, но век, увы, не наш.
Я не взбегу на твой второй этаж,
К твоей руке губами не прильну.

Люблю, люблю...
Но не тебя, жену.

Прости, женат.
Люблю, что мы вдвоём.
Люблю, что этот век не твой – её.
Жене и веку поздно изменять.
Я не приду. Прости.
Не жди меня.

* * *

Оленьке

Пытать судьбу – занятие для гурманов...

Вы замечали, прошлое увидеть возможно лишь во сне
или зажмурясь. И то едва. А будущее – проще. Раскрыл глаза
и видишь – будет. Пусть неясно, что. Поверьте, будет всё.

Что прошлое? Нелепица, пустяк! Цветные блики!
Да его, пожалуй, и не было...

Итак, всё впереди. А посему приступим.

Стало быть,
Достаточно глаза открыть-закрыть,
Открыть-закрыть-открыть, смотреть вперёд,
А впереди грядущее грядёт.
Оно огромно, просто необъятно...

А прошлое – размазанные пятна.
Занятно иногда, но так невнятно
И раздражает, как присохший бинт...

Глаза прикрою – и в глазах рябит.
Глаза раскрою – вижу, будет нечто.

Но это нечто, кажется, не вечно...

Всё вижу. И как будто понимаю.
И вот всё реже веки поднимаю,
Зажмуриваюсь чаще, чем когда-то.

Грядущее – оно не виновато.
Оно грядёт и тает на глазах,
Растерянно распахнутых назад.
А там двоит, плывет, мелькает, словно
Весь фокус растерявшее кино...

И под конвоем старика Харона
Я вспомню Вас, как светлое пятно.

ВЛАДИМИРУ ДРУКУ ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ

а вы могли бы подражая Друку
вязаться даром в дорогую драку
уже не дураком
но и не раком
войти по горло тут же
в ту же реку
или хотя бы сунуть руку ненароком
в америку
потрогать крепкий бруклин

кто там в ермолке, бритый
уж не друк ли
утрирует бредя дорогой сна
подспудно посылая всех нас на...

но поверяя баха карлибахом
высокий профи не снижает профиль
по форме фортель
а по сути пофиг
и то что у другого выйдет боком
ему сойдет и мне сошло бы с рук,
когда б музыку я разъял как Друк

так применяя метод погруженья
с утра болею друкоподражаньем
и друкоположен в подручный сан
и я теперь масон...

(и массы даже в мыслях не держа
меня обретшего права на руль
и право на интригу
влекутся вслед за мной по лезвию ножа
нажаривая то ли фрейлехс то ли джигу)

что за херня что за херня что за херня что за херня что за херня

нет друководство не даётся просто
поскольку второпях еще не presto
а филигранный стёб – он более чем стёб

и вы поймете но не сразу
step by step

а друк пока стебает всех подряд
небрежно то крылом волны касаясь,
то струны какой, то клавиш...

стебайся всех-то не перестебаешь
я сам выдрочиваться рад

ВОСТОЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Памяти Булата Окуджавы

...что касается меня,
То я опять гляжу на Вас,
А Вы глядите на него,
А он творит намаз...

А вы глядите на него,
А он не видит ничего,
Он ждет минуты, часа, дня,
Где нету места для меня.

Он, как никто, умеет ждать,
Хотя срывается подчас.
И я слежу, слежу за ним,
Но всё равно гляжу на Вас.

А вы тайком, через плечо
Упрямо косите зрачок
Налево, снова на него,
Хотя ему не до того.

Я обернулся бы быком,
Он обернулся бы быком.
Я Вас похитил бы тайком.
И он бы тоже, но потом.

А Вы исполнены вины
А он имеет Вас в виду.
И Вы пока ему нужны,
Чтоб я скорей сгорел в аду.

Но если я совсем умру,
Он Вас закутает в чадру
И всем покажется тогда,
Что вы глядите в никуда...

И всё касается меня.
И я опять гляжу на Вас.
И всё слежу, слежу за ним.
А музыка играет.

Марина Бородинская

МАМА, ОТКУДА БЕРУТСЯ СТИХИ?

* * *

Одного лишь выпуска лица —
девятнадцатого октября,
одного пернатого еврея,
каркнувшего правду про царя,

шелеста одной Тарусской рощи,
с ветром залетевшего в местком,
горстки дурней, вышедших на площадь
с детскою коляской и листком,

пары книжек толстого журнала —
сизых, цвета лунного луча, —
хватит, чтоб до срока не сгорала
вольности заветная свеча.

Чтоб она, дрожа, в ночи алела,
дерзким жалом уязвляя тьму —
пусть опять не выгорело дело,
пусть опять, опять конец всему,

пусть придут и книжной гильотиной
тонкие страницы искрошат,
и пропишут курс аминазина,
и в Лицее — порку разрешат.

* * *

На щенка надевают шлейку,
чтоб ему не давило шейку,
а на взрослого пса — ошейник,
чтобы он не сбежал, мошенник.

Чтобы чувствуя зов природы
крепко помнил предел свободы,
выполнял бы команду «вольно»,
но не слишком, иначе больно.

Если воздух дороже супа,
поводок натягивать глупо.
Под хозяйским иду приглядом,
выполняя команду «рядом».

* * *

Пришел стишок
ростом с вершок:
– Мама, откуда берутся стихи?

– Их находят в капусте,
их приносит аист,
они заводятся в животе
от любви к другому поэту,
или же к музыканту,
или к целой рок-группе.
Ещё их можно
с кем-нибудь нагулять,
а потом растить в одиночку.

– А меня? А я?
– А тебя, мой маленький,
ветром надуло.

* * *

– Не плачь, – шептала мне мама в кино, –
никто не убит, никто не казнён,
сейчас режиссер скамандует «стоп!» –
и все актёры, монтеры, дублёры
живёхонькие побегут в буфет.

И я представляла школьный буфет:
слегка слежавшийся винегрет,
прямоугольник ржаного хлеба –
корочка с трёх сторон –
и стакан взлохмаченного компота.

И я улыбалась маме, но что-то
было не так. Ведь если буфет –
то смерти нет,
и бессмертья нет.
И отменяется всё кино,
и все убиты. Всё – казнено.

26. 12. 2010

В тот день Москва остекленела.
Броней покрытые хрустальной,
ломались ветки то и дело
и рушились под звон прощальный.

Троллейбусы, автомобили
застыли в хрупкой амальгаме,
и так хрустело под ногами,
как будто здесь посуду били.

И узник в кубе застеклённом
глядел, не тяготясь охраной,
в окно, где рушился со звоном
наш общий дом, наш дом стеклянный.

ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ВАРШАВЕ

Девочка в суконном
клетчатом берете,
девочка в нарядном
клетчатом жакете,
и другие дети,
и другие дети,
каждый на своём
фотографическом портрете.

А вон там братишки –
куцые штанишки,
белые рубашки,
голые коленки.
Ох, не по погоде
хлопчики одеты:
снегом припорошено
стёклышко портрета.

Их везли из гетто,
это рядом где-то,
завезли куда-то,
а потом убили,
и разложены их фото
на пустой могиле.

Кшиськи, Каськи, Двойры,
Лешки, Сташки, Марки, –
ножницами мойры
щёлкали в запарке,
и до неба трубы
пепел возносили,
и пришел мессия,
и ушел мессия.

Маленький, кудрявый,
миллионोगлавый.

ТРИ ДНЯ

Утро первого дня в незнакомом городе –
словно раннее детство: а это у вас чего?

А куда едет

этот вагончик?

А в музей будет

кофе и пончик?

Середина первого дня в незнакомом городе –
это отрочество: ну-ка дай я сам!

Разберусь в монетках, найду на карте
всё, что нужно, да! И дойду пешком.

Вечер первого дня в незнакомом городе –
это юность: глянь, вон уютный бар,
там играют джаз и над кружками вьётся
гомон разноязыкий. И все свои.

День второй в незнакомом городе – зрелость:
мир ещё интересен, уже обжит
и потёртой картой лежит в кармане.

Третий день в незнакомом когда-то городе –
старость:
ладно, сходим – что там ещё осталось
досмотреть, докупить, уложить? ведь завтра
здесь для нас начнется небытие.

ХОЛТЕР, ИЛИ КРУГЛОСУТОЧНАЯ КАРДИОГРАММА

Разноцветные кружочки
врач приклеил мне на грудь,
затянул на мне потуже
эластичный поясок.

От кружочков проводочки
вниз уходят – красота!
В пояске сидит компьютер,
сердце слушает моё.

Сердце глупое, не бейся –
умный маленький прибор
всё расслышит, всё подметит
и запишет в приговор.

Милый доктор, не волнуйся,
знаю я: никто другой
нынче ночью не развяжет
узел, стянутый тобой.

Борис Мирза

И СЛАВА БОГУ

ГРОМИЛА И АЛЬБИН

Громила и Альбин навсегда исчезли из моей жизни. В ней остались усталая мама и больной отец. Остался черный пруд, где наполовину затонула брошенная строителями катушка из-под кабеля, на которой краской была выведена восьмерка. И что-то еще осталось, что-то еще...

* * *

Незадолго до этого умер мой маленький брат. Умер тихо, лежа в своей кроватке и наблюдая за цыплятами.

За месяц до смерти мама забрала его из больницы, и я решил, что он выздоровел. Я радовался, что, наконец, у меня появится товарищ для игр. Что, наконец, я не буду один. Но брата Диму положили в его кровать и кормили с ложки протертыми овощами и протертым мясом. И он безропотно ел эту гадость и помногу спал. А когда просыпался, то смотрел на обои, разглядывал узоры. И я сказал маме: «Давай купим ему котенка, посадим в коробку, и он будет за ним наблюдать». Но мама объяснила, что котенка в коробке долго не удержать.

В воскресенье мы поехали на Таганку, на Птичий рынок, и купили цыплят. Сейчас я помню только тетку в ватнике и платке, помню ее огромные мужские ладони с грязными ногтями и коробку с цыплятами на ящике стеклотары.

– Берите. Отличные выйдут куры, – сказала она.

– Смотри, – мама улыбнулась своей тонкой улыбкой, вернее, ее подобием, – как раз то, что нужно.

– Хорошие, – я подумал, что действительно это то, что нужно, но мне хотелось взглянуть на Птичий рынок. – Может, еще посмотрим, мам?

Но маме надо было обратно домой. С Димой осталась соседка, и злоупотреблять ее терпением было бы...

– Берите, – повторила тетка. – Отличные куры выйдут.

Мама открыла свой маленький кошелек и достала аккуратно свернутые рубли. Пока она рассчитывалась, я смотрел на цыплят. Они были и правда как раз то, что нужно. Желтые, суелливые комочки, некоторые спали, нахохлившись, некоторые смешно бегали по коробке. Пищали тоненько, жалобно и смешно. Я прижимал эту самую коробку, когда мы ехали в автобусе домой. Мне было не стыдно, наоборот, я гордился, что вот мы с мамой купили столько цыплят и везем их моему брату Диме. Теперь ему будет за кем понаблюдать. Мне было не стыдно, нет. Я просто боялся, что они замерзнут, или разбегутся, или...

Мы поставили перед Диминой кроваткой коробку. Я так ждал этого момента. Долгая дорога домой – метро, автобус, пешком, – каждое мгновение я представлял, как Дима увидит наш подарок, как он что-нибудь такое скажет, как обрадуется, как (может быть!) улыбнется.

Дима открыл глаза. Увидел цыплят. И улыбнулся тонким подобием улыбки, как мама.

– Цыплята! – сказал он. – Я знаю, это цыплята...

Он чуть придвинулся к краю кровати и свесил голову вниз, чтобы разглядеть получше.

– Какие... – шепотом сказал он. – Какие...

Я обернулся. Мама в комнате не было. Меня это поразило – как она могла пропустить такой момент! Я ломанулся на кухню, больно ударившись о косяк двери.

– Мам! Он улыбается, мам! А ты даже не видела! – я схватил вымытую тарелку и машинально вытер лежащим рядом полотенцем. – Он сказал: «Я знаю – это цыплята!», и еще он сказал, что теперь будет за ними наблюдать! А я тоже буду.... И записывать... Вот послушай...

Мать обернулась ко мне.

– Хорошо, – сказала она тихо. – Хорошо... что тебе есть с кем играть.

Сказала и уселась за кухонный стол, сложила мокрые руки на колени.

В раковине осталась немытая посуда, а из крана текла вода.

* * *

Утром, пока я пил чай с бутербродом, мама кормила брата и, собрав передачу отцу, уходила на работу. А мы с Димой оставались дома. Теперь, когда у нас появились цыплята, я почти перестал ходить к пруду гулять. У меня появилось дело. Я взял тетрадь и, как настоящий юный натуралист, попытался записывать то, что происходит в коробке. Но происходило совсем мало. Записывать было совершенно нечего.

Они пищали, толкались, ели, пили и спали. Все это быстро мне наскучило. А вот Дима часами смотрел в коробку. Конечно, это было куда веселее, чем изучать узор на обоях.

Соседка тетя Зоя, которая приходила за нами приглядывать, пока мама навещала отца, сказала мне:

– Что это он у тебя все время вниз головой? Смотри, как бы плохо не стало. Лучше б почитал ему чего-нибудь.

Она ушла на кухню.

– Почитать тебе?

Я любил всякую фантастику, поэтому возможность почитать маленькому Диме какую-нибудь из любимых книг, да хотя бы Шекли, меня очень обрадовала.

– Нет, – сказал Дима. – Лучше расскажи.

– Что тебе рассказать?

Я немного расстроился. Ведь читать вслух то, что тебе нравится самому, всегда приятно...

– Про цыплят. Я буду смотреть, а ты расскажи...

* * *

И я, забросив тетрадь для наблюдений, стал рассказывать истории из жизни цыплят. Сейчас мне трудно вспомнить, что было в тех историях. Помню только, что разделил я этих малышей на два лагеря. Один был в коробке, а второй вымышленный. Тех цыплят, что в коробке, я назвал норманнами, а вымышленных врагов (тоже цыплят, конечно) – англосаксами. Главным королем норманнов стал самый большой цыпленок. Я назвал его Громила. В моих историях он был огромный и непобедимый. И вдруг Дима сказал:

– Громила – это как будто ты. А я?

Я не сразу понял, что он хочет, чтобы я назвал еще одного цыпленка, которого бы он представлял как себя. А когда понял, то выдумал герцога Альбина. Герцог был помощником Громилы. Он был самым маленьким, хитрым и изворотливым цыпленком. Они с Громилой очень дополняли друг друга.

Меня сильно увлекло сочинение историй про этих двоих, и я мог часами рассказывать Диме об их (то есть наших) приключениях. Он слушал и смотрел на цыплят, свесив голову вниз.

Мне казалось – он выздоравливает.

– Мама! Он улыбается. Он выздоравливает.

Мать шла к нему в комнату, и я слышал, как он тихо рассказывает ей про Громилу и Альбина.

* * *

Было лето. Я смотрел из окна на пруд. Там лежала катушка с восьмеркой на боку. В черной-черной воде. Диме становилось все лучше. Я ждал того дня, когда мы выйдем к пруду и половим вместе бычков-ротанов.

Мама сказала, что все решится, когда будут результаты очередных анализов. Я не понимал, что может решиться, но маме, конечно, верил. В моей голове было так: придут результаты анализов – и мы сможем идти ловить рыбу.

* * *

Сначала пришли результаты анализов, а потом к нам пришел гость. Вообще-то, гостей кроме врачей у нас не было, а врачи не считаются. И вдруг к нам пришел священник. Мама сказала, что мне и Диме надо креститься. По тому, как она это говорила, я понял, что это нужно больше Диме, но и мне тоже. Я вспомнил, что в школе говорили про церковников и предрассудки. Я не верил школе и учителям, поэтому и решил, что креститься мне надо. Раз мама говорит.

* * *

Таких людей, как отец Павел, я никогда не видел. Он был очень суровый. Глаза его показались мне большими, а борода – длинной. Сам он высокий, куда выше отца. И говорил он медленно и степенно. Сначала отдельно, без матери, – со мной и Димой. Он

присел на край Диминой кровати и взял его за руку. Но разговаривал он только со мной, хотя мне казалось, что говорит он больше для Димы.

– Как ты думаешь, – спросил он, – зачем Христос пришел в мир?

Я напрягся. Вспомнил все, что знал о Христе. Про него рассказывала мама еще в той прошлой жизни, когда не болел отец.

– Он пришел, чтобы объяснить свое учение людям. Рассказать, что надо верить, что нельзя убивать, воровать, обижать...

Я замолчал. Во-первых, я сказал все, что знал от мамы, а во-вторых, мой ответ показался мне правильным и убедительным.

– Да. Это так, – сказал Отец Павел. – Но не совсем. Христос пришел в мир, чтобы искупить наши грехи. И чтобы возвестить, что жизнь есть. Есть. Что смерть можно победить, если верить в Него. Потому что Христос Воскрес...

Он перекрестился. Потом он рассказывал еще про муки на кресте и про явление Христа ученикам. Рассказывал, глядя на меня, но я чувствовал, говорит он для Димы. Диме.

Потом принесли большой таз, и отец Павел стал читать непонятную мне молитву.

* * *

– Громиле и Альбину весело.

– Да.

– Они друзья?

– Да. Самые лучшие.

– Можно поставить мне их на кровать?

Я не знал, можно или нет, но поставил коробку с цыплятами Диме на колени.

– Скоро они подрастут.

– Да, и мы их возьмем на рыбалку.

– Будет весело.

Дима закрыл глаза. Я взглянул на него. Вдруг мне показалось, что сквозь его кожу проступил череп.

– Я хочу пить, – сказал Дима. – Дай пить.

Я встал и пошел на кухню.

– Если Громила или Альбин умрут, они воскреснут?

Я остановился. Мне вдруг стало очень страшно, до мурашек, до дрожи.

– Конечно, – сказал я. – Ты же слышал, что сказал отец Павел. Все воскреснут.

– Хорошо, – он приоткрыл глаза и посмотрел на меня, и даже мне показалось, что он улыбнулся тоненькой маминой улыбкой. – Хорошо.

Я кивнул и ушел на кухню. Там я открыл кран и стал ждать, пока вода сойдет и станет холодной. Я делал все медленно. Медленно достал стакан, увидел на нем разводы от высохшей воды и вытер их полотенцем. Налил воды. Посмотрел в окно и представил, как мы будем с Димой рыбачить вместе, очень и очень скоро. Но картинки, так легко появлявшиеся раньше у меня в голове, теперь расплывались, рушились. Я не хотел идти назад в комнату. Будто знал, что меня там ждет...

* * *

Дима лежал на кровати, свесив голову вниз, он смотрел туда, где раньше были цыплята. Но сейчас их там не было. Только пол. Цыплята бегали и веселились у него на коленях. А он все смотрел на пол, не моргая.

* * *

Мы были сначала в храме, потом на кладбище, а потом дома.

Дома было непривычнолюдно. На кухне курили. Зеркала завешаны простынями. Невкусный сладкий рис.

На кладбище жарко, и земля падала на крышку гроба. Мне сказали бросить комочек. Я бросил, стараясь не смотреть туда, вниз. На ограде соседней могилы сидела бабочка-капустница.

В храме я запомнил только множество свечей, лицо отца Павла, строгое и торжественное, а за ним, далеко на стене, – Христос. И я подумал, что все воскреснут, и Дима, потому что Он обещал. Он обещал. Да. Обещал.

* * *

– А куда делись Громила и Альбин?

– Кто? – мама посмотрела на меня удивленно.

– Цыплята.

Я хотел сказать «Димины цыплята», но осекся, увидев лицо матери, оно было темным и страшным. Она секунду помолчала, точно собиралась с силами, чтобы ответить.

– Я их отдала. – Она опять помолчала. – Им там лучше...

* * *

Я почти не расстроился. Лучше так лучше. Теперь Громила и Альбин были где-то в своем мире. Возможно, в Нормандии.

Громила и Альбин исчезли.

А у меня остались мама и отец. И черный пруд перед домом.

* * *

И что-то еще. Да, что-то еще...

СЛОН ЦЕЛЕБЕС

Он был самым странным мальчиком из их класса. К тому же еврей.

И он сам говорил об этом, что, конечно, усугубляло ощущение странности.

– Если в еврейской семье три сына, – говорил он, – двое из них нормальные успешные люди, а третий обязательно пишет стихи. Я пишу стихи.

Обычно, сказав такое, то есть признав очевидные свои недостатки, он широко улыбался. Ему нравилось дразнить людей своей откровенностью. Учился он плохо по всем предметам, кроме двух – литературы и физкультуры. Остальные его просто не интересовали.

Физкультурой он увлекся еще в начальных классах, когда его регулярно и жестоко избивали ровесники во дворе. Они чувствовали в нем что-то чужое, ну и действовали соответственно своему пониманию того, как надо обращаться со всем чужим и незнакомым.

От регулярных занятий физкультурой – турником, гантелями и даже штангой – к пятнадцати годам он превратился в физически крепкого, с идеальной спортивной фигурой парня. И да, он был красив. Не нашей русской, а своей еврейской красотой, которая, несмотря на всю чуждость, всю очевидную и слишком яркую восточность, была видна. Роскошные черные кудри, смуглая кожа, орлиный нос и огромные карие глаза – все это создавало ощущение почти сказочного персонажа...

При этом он был неаккуратен, даже неряшлив, забывчив и невнимателен к тому, как выглядит. То есть рассмотреть в нем будущего красавца было сложно.

Он сочинял стихи. Сыпал рифмами с легкостью на любую тему, иногда занимая внимание одноклассников на весь школьный день. Его похабные стихи, стилизованные под Пушкина, переписывались и распространялись в школе со скоростью эпидемии.

Конечно, он писал и серьезные стихи. Он подражал сюрреалистам, но не писателям и поэтам, а живописцам. Однажды увидел репродукции картин М. Эрнста в книжке «Искусство по ту сторону» и поразился тому, насколько мироощущение немецкого художника совпало с его собственным ощущением от жизни. Но рисовать он никогда не умел. А вот умение рифмовать теперь пригодилось. Картины Эрнста превращались в стихи. Живописные образы обобщались четверостишьями...

В школе он пробовал читать свои серьезные стихи одноклассникам, но вскоре те понимали, что рифмовки будут не про секс на стройке (или что-нибудь в этом роде), и теряли интерес.

Но он продолжал писать. И часто даже говорил какими-то поэтическими ребусами.

* * *

От этого он казался ей еще более странным и даже несколько пугающим.

– Мне думается, что у каждого человека есть такой небольшой огонек внутри, вот здесь, – он показывал на впадину между ключицами у горла. – Это я как бы душу так представляю. Такой свет.

Она слушала с сомнением и полуулыбкой. Ей было ясно, что он влюблен в нее, как многие. И этот еврей тоже нелишний в ее коллекции. Он сочинял стихи; когда он рассказывал, его слушали, да и вообще существенных недостатков – кроме национальности и бедности – у него не было. Хотя это были действительно существенные недостатки. Не такие большие, чтобы не принимать его

ухаживания совсем, но и не такие мелкие, чтобы хоть на мгновение предположить, что когда-нибудь она сможет выйти за него замуж. Муж в ее представлении должен был быть таким, чтобы его можно было ввести в ту среду, где жила она. Это были именно представления, а не плод размышлений. Она ощущала это где-то на уровне инстинктов. Влюбиться в такого можно. Но жить с ним – ни-ни.

Она была красива, и даже очень. Пожалуй, не самая красивая в классе, но самая яркая – точно.

Она перешла в эту школу из другой и, как это бывает с новичками, сначала подверглась нападкам одноклассниц и – хуже того – подстрекаемых ими одноклассников.

Это длилось совсем недолго. Она хорошо умела адаптироваться в новом обществе, быстро нашла себе подружек, и начавшиеся было преследования прекратились.

Незадолго до этого он услышал от своего товарища, с которым они обсуждали школьные новости, и в том числе всеобщее презрение к новенькой:

– Она же страшная. У нее губы какие, ты видел? – шептал тот, близко наклонившись к нему. – Все обгрызенные, в крови.

Это была правда. Ее губы шелушились, то ли вследствие авитаминоза, то ли потому что она резко сменила климат, приехав в Москву.

Неважно... Пока девушку не принимали одноклассники, он успел полюбить ее. Прежде всего, ему легко было поставить себя на ее место. Она была новенькой, а он – еврей. Оба – изгои. Он даже не задумался о причинах того сильного сочувствия, которое родилось в нем. Но, так или иначе, сочувствие вызвало интерес, интерес – влюбленность, а влюбленность переросла в любовь тем чудесным способом, который и определить невозможно, и понять не удастся.

Вскоре она стала своей в классе, а еще быстрее поняла, что он питает к ней какие-то необычные чувства.

Чувства были действительно не совсем обычны для пятнадцатилетнего подростка. Здесь многое перемешалось. И его отчужденность, накопившаяся и с годами ставшая незаметной для него самого, как становится сначала привычной, а потом незаметной маленькая боль где-нибудь в предплечье, живешь с ней и живешь. Его шутовство – защита от чуждого мира. Его потребность найти кого-то, чтобы дружить-любить-общаться, и его физическая сила. Его бесстрашие и незащищенность. Все это, скрытое от чужих глаз, копилось в нем и вышло наружу, когда она появилась в классе.

С ним начали происходить странные вещи.

В физкультурном зале прямо на уроке физкультуры он избил Володю Шаповалова. Того самого, который рассказывал ему про ее некрасивые губы. Тот опять отпустил какую-то сальную остроту в ее сторону. Такие остроты были у них нормой. Так шутили все, и девочки не обижались на такого рода хамство. Но теперь Володя дал ему повод. Это произошло, когда учитель физкультуры Илья Иванович вышел в подсобку за баскетбольным мячом. Шаповалов громко сострил и уже через несколько секунд лежал, поливая кровью из разбитых губ крашеный деревянный пол.

Он бил врага расчетливо и жестоко. Напоказ. Вернувшийся в спортзал Илья Иванович вмиг оценил обстановку и, постояв несколько секунд в дверях, вышел. Если вмешаться, то придется докладывать, а если все произойдет без него, то никто и не заметит. Он был прав. Никто, кроме нее, не заметил. И правда, чего удивительного?

Один девятиклассник бьет другого. Нормально... Много лет у него не было повода отомстить им всем, собравшимся здесь, за свое одиночество и ущербность, но теперь этот повод у него появился. Этим поводом была она.

Он полюбил ее и за это. И, хотя она совершенно не соответствовала придуманному им образу и ее вовсе не нужно было защищать от жестокого мира, он уже любил ее, и остальное было неважно.

Весть об этой любви облетела всю школу. Новости здесь распространялись быстро. Стоило сказать что-то по секрету в холле на первом этаже, а через пару минут это уже обсуждали в кабинете русского на четвертом. Но как относиться к этому, не знали.

Знали, что слетевший с катушек еврей может избить любого, кто заденет его возлюбленную. Или кто хоть что-то скажет про нее, или хотя бы посмотрит, или... – в общем, школьные болтуны, склонные к преувеличению, раздули историю так, что она приобрела почти мифические масштабы. И кончилось все тем, что другие школьники, обращавшие когда-то внимание на яркую девчонку, теперь боялись столкнуться с гневом этого еврея.

Конечно, никто вслух не выражал опасений и за глаза многие даже посмеивались над влюбленным одиночкой.

А она в результате осталась без привычных своих поклонников, толкущихся рядом с ней на переменах. С удивлением обнаружила это и одной из последних поняла, что, а вернее, кто является причиной такого изменения.

Это случилось поздней весной. Они заканчивали девятый класс, в следующем году предстояли выпускные экзамены и другая, взрослая жизнь.

Но до этого было еще далеко. Целый учебный год. А перед ним – три месяца лета...

– Поедем со мной в экспедицию летом? – он не смутился только потому, что готовился к разговору и продумал все детали и возможные повороты.

Она не удивилась, как он ожидал. Посмотрела на него молча, выжидая.

– Археологическая экспедиция. Летом. На море.

Она молчала.

– Мои родители могут позвонить твоим и рассказать, что там... – начал было он.

– Я сама решаю, куда ехать. Родители должны, конечно, разрешить...

– Вот я и говорю.

– Но решаю я.

– И что ты решишь?

– Я подумаю.

Это было так неожиданно – то, что она согласилась.

* * *

Они стояли на загородной платформе в ожидании электрички. Только что они прошли инструктаж у начальника экспедиции. И вскоре должны были отправиться в далекое путешествие.

Было лето. За железнодорожным полотном шумел деревьями пролесок, а где-то далеко на горизонте виднелись башни ново-строек. Там, вероятно, играли в футбол и пили газировку. Там копался под стареньким «запорожцем» старенький пенсионер. Там малыши учились свистеть, дуя в стручки акации. Но это все было там, далеко...

А здесь они стояли одни на платформе и слушали, как шумят деревья и где-то совсем далеко стучит колесами уходящий поезд.

– Как хорошо! – сказал он.

Ему действительно было так хорошо, так невозможно хорошо и так страшно потерять, упустить этот момент, что на мгновение захотелось броситься под электричку, чтобы умереть вот так вот. Счастливым. Но это лишь на мгновенье. Его ждало лето.

– Что хорошо? – спросила она.

– Хорошо, что мы едем вместе.

Еще мгновение постоять на платформе. Еще чуть-чуть.

Но едет электричка. И тормозит, и останавливается, заслоня собой все пространство и заглушая все звуки лязганьем колес и скрежетом открывающихся дверей.

* * *

Но и в археологической экспедиции, где он бывал часто и где было куда больше людей его национальности, он чувствовал себя одиночкой, обреченным на всегдашнюю обособленность ото всех.

Отчего это происходило? Теперь, через годы, трудно дать на это ответ. Да и не важно. Он был один.

С ней. Они приехали на море вместе. И тем самым она обрекла себя на то, что проживет пару недель в его мироощущении.

– Почему мы все время одни? Как будто на стену натыкаемся? Они тебя знают?

– Знают.

– И не любят за что-то?

– Нет. За что?

– Ты странный.

– Я – слон Целебес.

– Это еще кто такой? – она заинтересовалась, потому что, когда он начинал говорить, в него можно было влюбиться. А ей хотелось влюбиться ненадолго. И раз уж на них никто не обращает внимания, то почему бы не влюбиться в этого красивого еврея. Ненадолго. – Кто такой слон Целебес?

* * *

Слон Целебес – это такой большой механический слон. Он похож на огромный пылесос, живущий под водой. Под серой и скучной водой. Над ним плавают рыбы, и он чувствует где-то далеко

дым из трубы корабля. Он механический, потому что таким его сделали люди. Но он живой и огромный, потому что он – слон. У него есть рога, и поэтому он похож на корову.

Своими механическими глазами он смотрит на женщину без головы. Она протягивает ему руку в красной перчатке. А он все смотрит и смотрит на нее. Потому что для него нет ничего, кроме этой женщины, и потому что он ее любит – так сильно, как только механический слон может любить.

* * *

– Так кто такой слон Целебес?

– Это картина такая. Макса Эрнста. Я тебе в Москве покажу.

– Хорошо.

Москва была до бесконечности далеко и в пространстве, и во времени. Они сидели у палатки, и прямо у их ног начинался берег моря – словно на необитаемом острове. Одни среди людей.

И в это мгновение ей передались его чувства. Не в полной мере, чуть-чуть.

– Эй, слон Целебес! Пошли в палатку. Не до утра же так сидеть.

– У меня есть своя палатка.

Она положила ладонь ему на колено.

– Сегодня такая ночь, когда слон Целебес может прийти в палатку женщины без головы. Видишь, я протянула тебе руку в красной перчатке.

Она улыбнулась.

* * *

Они лежали в палатке, и лунный луч освещал ее грудь. И улыбку. Опять, как тогда на платформе, ему захотелось умереть именно сейчас, в эту ночь...

– Мне иногда кажется, что кто-то заботится о нас.

– Вопрос о существовании Бога я для себя еще не решила. Займусь этим после института, – ответила она тихо.

И опять улыбнулась.

– Вот и сейчас... – он точно не слышал ее ответа. – Мне кажется, кто-то бережет нас обоих. И тебя, и меня. Точно ладонями прикрывает от ветра наши огоньки. Я это могу иногда чувствовать.

– Ты – романтик. Романтики ничего не добиваются в жизни. А женщины любят тех, кто добивается. Запомни.

– Как не добиваются? А революционеры?

– Их всех потом расстреляли... ты не знал? Ни одна женщина не хочет быть вдовой.

– Ну, пускай я ничего не добьюсь...

– Я так и знала... так и знала...

– Ты плачешь? – он приподнялся на локтях и попытался заглянуть ей в лицо.

– Нет. Я злюсь.

Над палаткой черным куполом нависло высокое крымское небо. В глубокой черноте парила луна, бледная и равнодушная.

Начиналась осень.

* * *

Осенью они расстались. Им было по шестнадцать лет, и расставание в таком возрасте – процесс вполне естественный.

В своем классе, в своей неизвестной для нее жизни он остался один. Еще более замкнутый, чем раньше, он больше не читал одноклассникам похабных стихов. Он отрастил длинные волосы и стал называть себя хиппи, то есть полностью перестал соответствовать обществу, где они вместе существовали.

* * *

Она поступила в иняз. Удачно вышла замуж. И ничего не знала о судьбе своего одноклассника, с которым когда-то давно она была в археологической экспедиции в Крыму.

* * *

Он не пришел на встречу одноклассников через двадцать лет. Говорили, что кто-то звонил его маме и что она сказала, что он умер. Откуда-то полушепотом прозвучало слово «героин». Его произнес, конечно, располневший и солидный Володя Шаповалов.

Она не стала вслушиваться в эти разговоры. Просто вдруг убедилась, что огонек, светившийся между ключиц у еврейского мальчика, который когда-то ее сильно любил, погас.

Может быть, кто-то, кто берег его и прикрывал ладонями, решил, что пришла пора? Может быть.

* * *

С возрастом вопросов не становилось меньше. Постоянным для неё оставалось лишь одно. Слон Целебес – это такой большой механический слон. Для него не существует ничего, кроме женщины без головы, потому что он ее любит – так сильно, как только механический слон может любить.

ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЕ

Утром, когда я выхожу из дома бледный, с синими кругами под глазами, невыспавшийся и злой, меня у подъезда встречает Митенька. В его руке, как всегда бывает зимой, лопата. А на лице, как и в любое время года, улыбка. Я закуриваю.

– Здравствуй, – говорит Митенька. – Опять, что ли, закурил?

– Опять, – отвечаю я, роняю в снег зажигалку, морщась, нагибаюсь и подымаю ее.

– Зря, – качает головой Митенька. – Вот и бледный...

– Бледный не поэтому, – начинаю раздражаться я. – Бледный, потому что не выспался. Спорил тут с одним в Интернете полночи.

– Из-за чего? – Митенька неподдельно заинтересован, он даже немного придвигается ко мне.

– Он говорит: Бога нету, – отвечаю я и жадно затягиваюсь.

– А ты? – Митя придвигается еще ближе и чуть морщится от сигаретного дыма.

– А я говорю: есть. И так полночи. Разнервничался. Закурил вот. За ночь пачку высадил. Ходил, думал. По книжным полкам цитаты искал.

– Ну, друг твой, конечно, не прав, – говорит Митенька и смотрит куда-то вдаль мимо меня.

– Какой друг? А... – я отбрасываю сигарету в сторону. – Да я его и знать-то не знаю...

Но Митенька уже не слушает меня. Он подпирает плечо лопатой, нагибается, зачерпывает пригоршню снега и подносит его близко к моим глазам.

– Смотри: видишь, какое чудо? – говорит он.

– Какое? Варешка твоя?

– Да нет. Снег! Ты приглядишься! Если приглядеться, то увидишь чудо.

Мне надо на работу. Я устал, не выспался и отравился табаком. Сейчас придется сесть за руль и ехать...

– Да ты глянь!

Я смотрю на горсть снега у него на ладони. Вглядываюсь. Действительно, начинаю видеть сначала отдельные снежинки, потом и совсем мелкий узор на них.

Я вдруг на мгновение оказываюсь в блестящих снежных лабиринтах, в нерукотворных залах с хрустальными потолками, в чудесном ледяном дворце.

Подымаю голову и вижу перед собой улыбающееся беззубым ртом лицо Митеньки.

Смотрим друг на друга.

– Он скажет, – говорю я, отворачиваясь, – это явление природы. Замерзание воды. И так далее.

– Ты сначала покажи.

– Ладно. Перешлю по почте. – Я делаю шаг мимо Митеньки. – Поеду. На работу надо.

– Ну, – говорит Митенька, глядя мне вслед, – до вечера.

Да, он и вечером будет здесь со своей лопатой. Увидимся.

Я завожу машину. Медленно переваливаясь, пятится мой джип. Я смотрю в зеркальце заднего вида, но краем глаза вижу Митеньку. Он приставил лопату к плечу. А руку поднял вверх и машет. Чудной.

Вечером увидимся. От этой мысли мне вдруг хочется улыбнуться.

Как глупо.

* * *

Вечером я везу к себе домой длинноногую Катю, которая работает у нас в холдинге менеджером. Думаю о том, как бы мне не повстречать Митеньку, но вариантов не нахожу. С другой стороны, раз уж представился шанс затащить Катю в постель, то останавливаться из-за Митеньки просто глупо. Ну, отчебучит он чего-нибудь. Ну и ладно.

Легкий ужас от ожидаемой встречи, конечно, присутствует.

Паркую машину и уже вижу спешащего навстречу Митю. Катя открывает дверцу, любуясь своей обувью в красную туфельку ногой, появляющейся из черного автомобиля.

Митя останавливается перед капотом и широко улыбается.

– Вечер добрый! – громко и радостно сообщает он мне.

– Знакомься, Митя, это Катя.

Все равно никуда не деться.

– Ух! Здравствуйте! Невеста? Радость какая!

– Спасибо, Митя, – говорю я, едва сдерживая улыбку. – Мы пойдем.

– Ну, дай Бог! – Митя, улыбаясь, смотрит на ничего не понимающую Катю. – Или, как говорится, совет да любовь. Очень я рад за него...

Это он про меня. Думает, что, наконец, обрету я семейное счастье.

– Мы пойдем, Мить, – говорю я и чуть подталкиваю Катю к подъезду.

– Хорошо, – Митя улыбается, глядя нам вслед. И произносит: – А то погуляли бы... погода какая... эх!

Я оборачиваюсь. Он смотрит на меня с надеждой. И вдруг мне становится стыдно. Я сам не понимаю, почему, отчего и что такого я делаю неправильно...

– Нет, – говорю. – Мы пойдем, Митенька. Дела, Мить. Дела...

Мы, наконец, достигли подъезда.

– А кто это? – спрашивает сообразительная Катя. – У него с рукой чего-то?

– Это, – говорю, – чиновник из ЗАГСа. Работает на выезде. Устраивает семейное счастье. Больная у него рука. Да. Пошли уже. Ноги мерзнут.

– Дурак какой-то! – говорит Катя то ли про меня, то ли про Митеньку.

Уж лучше про меня. А то бы я мог рассердиться.

Закрывая дверь в подъезд, я краем глаза вижу Митеньку. Его белые спутанные волосы, выбивающиеся из-под облезлой меховой шапки. Его морщинистое лицо. И висящую плетью левую руку.

Правую он поднял и машет нам на прощанье.

* * *

– Ты чего такой мрачный? – Митя опять встречает меня у джипа.

– Полный привод то ли не включается, то ли не пойми чего, и проверить негде. Блин. К дилерам приехал, а у них, оказывается, очередь до апреля. Полдня проваландался, а толку ноль.

– Так ты бы к нашим обратился, – Митя указывает на полулегальный автосервис, действительно обитающий еще на птичьих правах у нас во дворе.

– Да ну их. Кто там в «Чероки» понимает? Грязными руками полезут.

– А вот и зря! – Митя даже чуть-чуть обижен за местный сервис. – Там очень знающие специалисты. И руки они моют после работы, я сам видел.

– Ну, может, и заеду, – говорю я, чтобы отвязаться.

– Да нет! – Митя хватает меня здоровой рукой за рукав и тянет обратно к машине. – Прямо сейчас поедем. Там у меня сторож знакомый. Вася. Он и сторож, и ремонтник. Сразу и проверим.

– Да там же оборудования нет! – говорю я, но иду за Митей к машине.

– Специалист посмотрит. – Мы с Митей садимся в машину. – Вот заодно и я прокачусь. Столько мечтал прокатиться в таком танке. Давно мечтал...

До «сервиса» пятьдесят метров. Я столько людей катал на своей машине, хвастаясь новым приобретением! А Митю как-то не пришло в голову прокатить.

– Эх, хорошо едет! – говорит Митя, когда мы трогаемся и потихоньку разворачиваемся на пятачке у дома. – Не машина, а зверь.

Подъезжаем к «сервису». Митя выпрыгивает из машины и проскакивает в приоткрытые ворота. Я слышу его голос и голос сторожа Васи. В конце концов ворота начинают открываться. Одну створку двумя руками тащит Вася, другую – одной – Митя. Делают они это синхронно, будто тренировались раньше.

– Он говорит, – заявляет Митя, когда я, въехав на территорию «сервиса», выпрыгиваю из машины, – что в джипах не понимает.

– Ну и зачем я приехал?

– Подожди! – Митенька будто надеется на чудо, вдруг сторож Вася «прозреет» и придумает что-нибудь.

– Ну... – тянет Вася, мужик неопределенного возраста с помятым лицом, одетый в старый солдатский бушлат и такие же старые засаленные ватные штаны. – Можно на подъемник загнать и проверить.

Я машу рукой. Раз приехали, так приехали. Можно и на подъемник загнать.

На подъёмнике я газую и вопросительно смотрю на Васю. Он с деловым видом обходит машину, то справа, то слева. Нагибается и смотрит под днище. Я вылезаю, не глуша мотор. Машина крутит все четыре колеса.

– Да, – говорю, – работает. Не работало точно, а теперь работает. Круто.

– Ну вот, – торжественно сообщает Вася и идет к раковине мыть руки.

Я смотрю сначала на него, потом на улыбающегося Митеньку.

– Я же говорил, – шепчет Митя, – очень знающие специалисты.

* * *

– Ты чего такой мрачный? – Митя в своем репертуаре. На плече вечная лопата. – С машиной опять что-то?

– Нет, – отвечаю, – хуже, кризис.

– Да, я смотрел по телику. Тебя коснулось?

– Косвенно. Многих у нас уволили.

– Да ну! Плохо. Вот мне, инвалиду, еще ничего, а вам, конечно, тяжело... тебя-то не уволили?

– Меня нет. Это я скорее всех уволил.... Вынужден...

– Понятно. А Катя?

– Катя-то... – говорю я, стараясь быстро что-нибудь придумать, – Катю-то тоже...

– Сократили! – Митенька зримо огорчается за мою им самим избранную невесту. – Ну ничего! У нее есть ты...

* * *

Следующим вечером, когда я привожу домой рыжую секретаршу Юлю, Митенька, к счастью, не пасется на улице, а то бы опять отчебучил что-то эксцентрическое. Всю субботу и полвоскресенья мы проводим с Юлей в постели, едим чипсы и пьем холодную колу в маленьких бутылочках. Иногда жуем салаты, купленные в «Азбуке вкуса». Смотрим фильмы, нещадно эксплуатируя мой новый домашний кинотеатр.

К середине воскресенья она, наконец, уходит, и я, вздохнув с облегчением, сажусь в кресло с книжкой в руках.

* * *

Утром в понедельник я выхожу из подъезда. Дорожка к моему джипу не расчищена. Митеньки с лопатой нигде не видно. Утопая по щиколотку в снегу, я прохожу к джипу, размышляя, что отсутствие таких людей, как Митенька, ощущается сразу. В данном случае ноги мои замерзли и вымокли.

Но дольше думать мне об этом некогда. Я сажусь за руль и еду на работу.

* * *

Но Мити нету – и вечером, и утром. Не вижу его и весь следующий день.

В среду, проходя мимо беседующих у подъезда старушек, я, как можно небрежнее, спрашиваю:

– Что-то вроде как Митьки-то не видать... Приболел, что ли?

– Да ты что, не знаешь? – обе бабульки смотрят на меня так, словно я сказал какую-то глупость.

– Нет, не знаю. Я все время на работе. Не лучшие обстоятельства сейчас. И вообще. В общем... Не знаю. А что?

– В больнице дружок твой, – говорит первая бабушка.

– С рукой, – уточняет другая. – В нашей районной. И правильно. Сколько было тянуть!

– А! – говорю. – Понятно. Будем надеяться, выздоровеет.

Я иду по нечищенной дорожке к машине, опять утопая в снегу. Мне надо на работу. Там кризис. И я устал.

Я стряхиваю снег с боковых стекол и зеркал. Холодно, перчатки промерзли. Но думаю я почему-то только о Мите.

Я беру щепотку снега в руки. Это получается как-то само собой. Машинально. Вглядываюсь. Начинаю видеть сначала отдельные снежинки, потом и совсем мелкий узор на них.

И вдруг на мгновение оказываюсь в блестящих снежных лабиринтах, в нерукотворных залах с хрустальными потолками, в чудесном ледяном дворце.

Я сбрасываю снег с перчатки и поворачиваюсь обратно к двум бабкам у подъезда.

– Как фамилия его? – спрашиваю.

– Чья?

– Митина. Который сейчас в больнице с рукой.

– Митина-то? Петров. В четырнадцатой палате лежит.

– Спасибо! – кричу я бабушкам и завожу мотор.

* * *

В больничном коридоре вдвоем с Митенькой.

– Спасибо за груши и мандарины. Я знал, что ты придешь.

– Откуда ж ты знал? – улыбаюсь я.

– Ну, мы же друзья... – он смотрит на меня весело.

Видно, не страшно ему и радостно.

– Друзья, конечно, а то, а как же... – говорю я. – А ты лучше скажи, как рука-то? Есть шансы вылечить?

– Да нет. Оттяпают, наверное. Мне ничего не говорят. Только болеть стала в предплечье последнее время сильно. Врач говорит, может, и ампутация потребуется.

– Ни фиги себе... – говорю я, чтобы просто что-нибудь сказать.

– Да ничего, – успокаивает меня Митенька. – Что в ней толку? Болтается. Знаешь стишок такой: «Хорошо тому живется, у кого одна нога. И штанина не протрется, и не надо сапога».

– Знаю, – говорю я, но все равно, несмотря на то что стишок этот старый, улыбаюсь. – Я курить опять бросил.

– Опять! Вот молодец, – Митенька радуется вместе со мной. – И правильно. И мрачным ходить не надо. Ничего, что кризис. Ты гляди веселее. Вот я выйду из больницы, на машинке твоей в мою деревню на рыбалку зимнюю съездим. Хорошо ведь, а?

– Хорошо.

– И Катке своей привет передай. Обещаешь?

– Обещаю, – сейчас мне почему-то кажется, что я выполню это обещание.

И что я начинаю понимать: жизнь действительно не так уж плоха.

За это спасибо Митеньке.

И слава Богу.

Ефим Бершин

ПОВОДЫРЬ ДОЖДЯ

* * *

Я в луже на Тверской разглядываю гордо
четвероногий стан, посадку головы –
нет, весь я не верблюд, а лишь – верблюжья морда,
жующая туман на улицах Москвы.

Я прячусь за стеклом,
и в телефонной будке
меня уже никто на свете не найдёт,
хотя пустой трамвай трезвонит о побудке
и гонится за ним вихрастый идиот.

Нет, весь я не верблюд!
Еще душа под утро
блуждает за окном, отбрасывая тень.
И обещает ночь разливом перламутра
и старый Новый год, и скорый новый день.

И первый солнца луч выглядывает справа,
как розовый язык – назойливой судьбе.
Свершается рассвет.
И, как былая слава,
болтается фонарь на спиленном столбе.

* * *

В дождевике, изношенном до дыр,
танцую над асфальтом, как над бездной.
Я – поводырь дождя.
Я – поводырь
воды небесной.

На площадях, средь масок и личин,
на улицах, изрезанных трамваем,
я от дождя почти неотличим
и для людей уже неузнаваем.

Я – поводырь дождя.
И этот дождь –
единственный, кому ещё я нужен.
Но может быть, меня узнает дочь
по первым каплям и осенним лужам.

Но может быть, меня узнает сын
по скользкому и вымокшему лугу,
по водосточным трубам, по косым
ручьям, перебегающим дорогу,
по струям, разъедающим пустырь,
по шороху рябины бессловесной.
Я – поводырь дождя.
Я – поводырь
воды небесной.

ТРИПТИХ

1.

А мне Господь не дал проводника.
Не понимая, где восток, где запад,
сорвавшись, словно сука с поводка,
бегу, ориентируясь на запах,
под бесконечным ливнем октября,
по осени, по прошлогодней гнили,
мне чёрт – не чёрт,
Вергилий – не Вергилий,
а впереди – ни дна, ни фонаря,
ни улиц, ни зарубки на пеньке,
ни звука.
Лишь у мусорного бака,
задравши лапу, писает собака,
рисуя схему жизни на песке.

2.

Зачем дорога, если нет конца
дороги?
Для чего в краю осиновом,
играя роли сына и отца,
не быть, по сути, ни отцом, ни сыном,
ни мастером, ни глиною? Зачем
продрогшим псом под бесконечным ливнем,
изнемогая от житейских схем,
бежать стремглав за журавлиным клином?
Свободы нет!
Незримый поводырь
меняет вечность на часы и годы.
Но горизонт, изъеденный до дыр,
ещё таит иллюзию свободы.

3.

Как хочется на круге на шестом
или седьмом, когда иссякнет вера,
остановиться, возвратиться в дом
и в дураках оставить Люцифера.

Но нет уже ни дома, ни крыльца
в пространстве, где ни выхода, ни входа.
Как сладостна, как гибельна свобода,
лишенная начала и конца.

Ревёт огонь. Изнемогает ночь.
И прямо посреди кипящей бездны,
выламываясь из привычных нот,
безумствует симфония победы.

* * *

Пространственная форма пустоты –
дыра в заборе
или кукиш рамы,
застывшие солдатские кресты,
свистящие из снежной панорамы,
звезда в ночи,
огонь из блиндажа,
самоубийство (как побег из плена),
фигура бесприютного бомжа
(как сгорбленная формула вселенной).

Вселенная бездомна, как огонь,
кочующий по воющим каминам,
как осень,
как отцепленный вагон,
как запах облетевшего жасмина.

За пустотой поникшего куста
сплошной пустыней
обреченно стынет
иная жизнь,
иная пустота,
иных пустот бесплодней и пустынной.

Давай с тобой уйдём через забор,
через дыру.
И станем переулком.
И станем ветром.
И закончим спор
на перекрестке суетном и гулком.

Так дерево становится золой,
так грешница становится невинной,
трава – стернёй,
развалины – землёй,
а роща – переливом соловьиным.

Так талый снег становится водой.
Так звёздной ночью, распуская космы,
ты станешь ослепительной звездой,
перечеркнувшей падающий космос.

Нам выпала забавная игра –
щекочущий сквозняк далеких странствий.
Пространства нет!
Есть вечная дыра
в окаменевшем облике пространства.

Мы вмертвую держались за скобу
родного дома.
Но скрипит со стоном
гнилая дверь.
Не обмануть судьбу.
Ты чувствуешь? Уносит!
Вместе с домом.

* * *

И когда, скользнув по камням покатым,
я проник в игольное ушко,
даже не оцарапав кожи,
стало ясно,
что уже мне не быть богатым
и верблюдом – тоже.

Я проник за камни, за самый край,
в то пространство,
где уже ни войны, ни паники,
где чадит огнями внезапный рай,
как церковный канунник – свечами памяти.

Где актёром, уже наложившим грим,
но пока не узанным за этим гримом,
вырастает из пепла Четвёртый Рим,
ещё не опознанный Третьим Римом.

Где уже никому не быть и не сметь
быть властителем или жертвой.
Где предтечей жизни блуждает смерть
окровавленной акушеркой.

Владимир Жаботинский

*НЕИЗВЕСТНЫЕ СТЛАТЬИ (1901–1904)**

ВОЙНА И МИР С СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

(*La Fédération de l'Europe par J. Novikow*)

I

«...Будущая война будет отличаться от войн прошедших во многих отношениях, экономические пертурбации будут бесконечно более велики, недостаток финансовых и экономических средств повлечет за собой, в конце концов, разорение стран, ведущих войну, снабжение же войск провиантом и военными припасами, способ распределения войск в стране и расквартирование их, сама масса войска и тактика, наконец, – все это представит такие трудности, что потери в людях будут неисчислимы, причем гибнуть будут они не только в битвах, но особенно от голода и болезней».¹

Так заканчивает один из своих трудов знаменитый исследователь войны – Блюх. Если будущая война в описаниях военных знатоков рисуется в таких ужасных картинах, то и настоящая война представляет, пожалуй, не меньше ужасов, особенно если принять во внимание экономические последствия. Гнет налогов в связи с развитием нищеты во всех странах, невежество масс, непрерывный рост шовинизма и разнузданности appetitов – все это в значительной степени последствия современного милитаризма. Этим ужасам и посвящена большая работа русского социолога Я. Новикова «*La Fédération de l'Europe*».

Книга его разделяется на четыре части. В первой автор трактует о благах федерации, о том, как благотворно подействует на усталый от борьбы мир экономическая гармония интересов и политическая безопасность. Вторая часть посвящена вопросу о препятствиях, воздвигаемых самими народами на пути победоносного шествия идеи вечного мира. В третьей части речь идет об условиях, благоприятствующих идее мира, и, наконец, четвертая трактует о реализации тех учреждений, которые должны заняться установлением вечного мира.

Не все части одинаково сильно написаны. Боевыми являются вторая и третья части, в которых мы находим полную сводку многочисленных данных науки по затронутому г-ном Новиковым предмету. (К сожалению, автор не приводит библиографического указателя трудов, какими пользовался при своей работе.) Методология Новикова

* Эти статьи, написанные в 1901–1904 гг., планируются к публикации в четвертом томе полного собрания сочинений Владимира (Зезва) Жаботинского (ПССЖ) в начале 2012 года. Редакция благодарит за предоставленные материалы инициатора, составителя и главного редактора издания Феликса Дектора.

¹ *Jean de Bloch. Evolution de la guerre et de la paix. IV Resultats Economiques et financiers. Paris, 1899 an., p. 76.*

мешает ему вполне законченно разобраться в поднятых им же вопросах. Извлекать ныне из архивной пыли органическую теорию, выносить ее на воздух, очищенный последними изысканиями в области психологической и историко-материалистической социологии, несколько рискованно. Г-н Новиков совершенно игнорирует современный внутренний строй государств, раз навсегда обозвав его строем «анархическим». И в других своих сочинениях², где он критикует социальный строй, критика его слишком односторонняя. Г-н Новиков не замечает важной положительной стороны современных экономических противоречий. Централизация капиталов в руках трестов и синдикатов, концентрация рабочих масс, комбинирование самых разнообразных производств в одних помещениях – все это влечет за собой не только отрицательные явления, но и положительные, игнорировать которые ни в коем случае нельзя. Характеризовать нынешний государственный строй резкими выражениями – еще не значит критически проанализировать его; впрочем, эта работа уже давно выполнена Фурье, Сен-Симоном, Прудоном и особенно Лассалем и Марксом. После их исследований в этом направлении, пожалуй, много нового не скажешь. Не потому ли во второй части своего труда г-н Новиков в очень значительной степени повторяет старые истины. Между тем внутренний строй современных государств так многообразен и представляет такие вариации – от первобытных общин Болгарии и России до сложных ассоциаций бельгийских и французских производителей, что на нем надобно было остановиться подольше и основательнее. Тщательный анализ классовой борьбы указал бы г-ну Новикову, почему вечный мир так туго завоевывает современное общество, он бы открыл автору целый мир явлений, в которых идеология не так уж сильна, как он думает. Этот анализ был бы нелишним еще потому, что характер международных отношений зависит от социального строя государства. У знатока международного права проф. Мартенса мы находим такое место:

«...Международное право может быть осуществимо только со стороны народов, которые находятся на более или менее равной степени развития гражданской и государственной жизни; только у таких народов правосознание существенно одинаковое».³

И далее:

«...Недостатки и пробелы, присущие современному международному праву, объясняются в значительной степени отсутствием законности внутри самих государств и неудовлетворительностью господствующих в них порядков...»⁴

Такого же взгляда держится и другой знаток международного права гр. Л. Комаровский, довольно резко высказавшийся до созыва Гаагской конференции против участия в ней Турции как страны варвар-

² См., например, его книгу «La guerre et ses prétendus bienfaits».

³ Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. СПб, 1887, изд. 2-е, с. 9–20.

⁴ Там же.

ской, весь внутренний строй которой, по его мнению, прямо противоречит идее мира.⁵ Весьма характерен для уяснения нашей мысли и тот факт, что на конференцию по социальному рабочему вопросу, созванную по инициативе германского императора, некоторые державы вовсе не послали своих делегатов; затем сама конференция разошлась без всякого успеха, при общем сознании важности предложенного на обсуждение предмета и необходимости неотложного к нему возвращения. Прошло более одиннадцати лет, и рабочая конференция еще ни разу не созывалась вновь. Повторяем, более подробный анализ классовой борьбы в современном государстве избавил бы г-на Новикова от многих ошибок. Быть может, он не отозвался бы тогда так восторженно и о Наполеоне III, который в его глазах является каким-то «апостолом справедливости, взаимного благожелательства и гуманности» (!), тогда как Бисмарк, по словам Новикова, есть «апостол грубой силы, узкого эгоизма и международной анархии».

Эта характеристика совершенно не вяжется с той, которую дал Наполеону III такой современник, несомненно лучше знавший его, как Виктор Гюго: «Наполеон знал, чего хочет и куда идет. Он шагал через справедливость, закон, через разум и честь; он переступал, наконец, человечность, но он шел к своей цели...»⁶

Эмфатический возглас Наполеона: «Империя – это мир», обманувший народ, который подал за него свои семь миллионов голосов, красив и благороден, но из-за него нельзя забывать резню *сoup d'état*⁷ 2 декабря 1851 г., нельзя забывать войн, ослабивших неизмеримо Францию, разврат, так ярко нарисованный Золя в его «Ругон-Маккарах». Последствия наполеоновского режима еще чувствуются нами, и их нельзя забыть. Целью наполеоновских войн было не освобождение Италии, не утверждение порядка в Мексике, как ошибочно думает г-н Новиков, а спасение своего престола, спасение от ярости народа, раздраженного обманом. Когда французские войска возвращались изнуренными и ослабевшими духом из-под разрушенных стен Севастополя, Наполеон приказал впереди идти раненым и больным; он думал этим возбудить сожаление к героям войны и таким образом избежать гнева народа. Его расчеты оправдались.⁸ Было бы весьма любопытно, чтобы Новиков мотивировал свой взгляд на Наполеона, но он этого не делает, и потому его случайная, хотя и повторяющаяся в нескольких местах книги характеристика производит странное впечатление чего-то необоснованного.

Далее автор все надежды свои возлагает на идею мира. Несомненно, что идея эта благодаря знаменитой русской ноте⁹ в настоящее время начинает играть крупную роль в международных отношениях, но не следует на нее возлагать слишком много упований. Сам автор

⁵ Гр. Л. Комаровский. Вопрос о сокращении современных вооружений. Русская мысль, 1898, № 10.

⁶ Victor Hugo. Napoléon le petit. Loudres. 1852, p. 41.

⁷ Переворот (*фр.*). Все переводы иноязычных слов и выражений сделаны редакцией ПССЖ; в публикациях 1901-1904 гг. они отсутствуют.

⁸ Грегуар. История Франции [в XIX веке. В 4-х т.]. Т. 3.

⁹ См. об этом в послесловии Леонида Кациса. *Примечание редакции «ИЖ».*

говорит о роли экономических факторов в международных отношениях, о значении технических изобретений, железных дорог, почт, телеграфов, связывающих народы; но, замечая это, он не замечает, что идея, даже подкрепленная наукой, лишена жизненности, раз не подготовлена экономическая почва для восприятия и роста ее. Говорить об идее как волшебнице, упуская из виду те условия, при выполнении которых идея только и может пустить корни, нелогично. В самом начале своей книги г-н Новиков говорит: «Ясно, что средство против войны открыто, оно заключается в изменении наших понятий. А изменение это вполне осуществимо, потому что изменение вообще в природе вещей»¹⁰. Все это так, но надо же помнить, что для изменения понятий требуется и изменение соответственных условий жизни. Автор забывает это столь важное обстоятельство. Напрасно он думает, что разоружение так уже легко выполнимо. Мы, напротив, полагаем, что еще не один десяток лет пройдет, пока идея о разоружении получит свое практическое осуществление. Император Вильгельм II недаром на парадах обращается к войскам с речами, в которых настойчиво твердит, что сила войска нужна ему не только для борьбы с внешним врагом, но и с внутренним. Слова Бебеля о том, что его партия должна обратиться к мирной реформе, ибо в противном случае она может быть раздавлена миллионом штыков и скорострелок, великолепно иллюстрируют речи Вильгельма II.

Наш почтенный социолог не совсем вникает в смысл этих речей, он мало считает с внутренней социальной болезнью государственных организмов, и в этом основной недостаток его книги.

Указав на отрицательные стороны, перейдем к положительным, которых, к нашему удовольствию, в разбираемом труде настолько достаточно, что книга должна быть прочитана с большой пользой всяким, кто желает познакомиться с положением вопроса о европейской федерации и вечном мире.

II

Говоря о вреде войны, автор широко пользуется многочисленными данными науки и остроумно комментирует их. Так, например, интересен его ответ Ренану. Знаменитый философ, как известно, являлся защитником войны, придавая ей значение фактора, содействующего подъему сознания народов и разоблачающего их язвы (для иллюстрации приводится Крымская война и ее значение в деле великих реформ в России). Г-н Новиков совершенно резонно возражает, что дело Дрейфуса без всякого кровопролития и разорения подняло сознание французского народа не менее, чем любая война.

Не менее верно замечание г-на Новикова и относительно деморализации солдат во время войны. Геройский дух, самоотверженность и прочие благородные качества во время войны овладевают солдатами на самое короткое время; в остальное же ими, напротив, овладевает значительная распушенность, едва сдерживаемая дисциплиной. Граф

¹⁰ *Novikow J. La Fédération de l'Europe. Paris: F. Alcan, 1901. C. 4.*

Ланжерон во время нашей войны с Турцией в первой четверти XIX в. откровенно говорил, что он при взятии города всегда позволяет немного «пограбить и понасиловать».¹¹ Кроме того, очень часто война сплошь и рядом так расстраивает нервы солдат, что они оказываются малопригодными для участия в сражениях. Кн. Волконский рассказывает, что в ту же турецкую войну солдаты, при неудачном штурме Рушука охваченные озлоблением, подымали своих на штыки.¹² Один из участников последней Китайской войны передает, что солдаты его отряда, стоявшего неподалеку от неприятельской крепости, до того нервничали, что не спали по ночам, боясь внезапного нападения, хотя половина отряда высылалась в качестве часовых вне бивуака. Несколько раз ночью солдаты вскакивали в паническом страхе и пускались бежать сломя голову. В одном случае они затоптали человека, в другом – изранили штыками товарища, приняв его за боксера.¹³ Подобные факты говорят, конечно, не в пользу милитаризма. Г-н Новиков совершенно верно замечает, что «люди лояльные, с хорошими, честными характерами, остаются теми же, идя в сражение; люди же преступные на войне могут сделаться еще более преступными, потому что война разнузывает все грубые страсти и рвет всякую узду».

Мы говорили уже о том, что сильнее всего у автора вышла третья часть его труда. На ней мы и остановимся подольше.

Самым действительным средством для уничтожения войны служит она сама. Этот взгляд, так блестяще разработанный в шеститомной монографии Блюха, занимает серьезное место и в аргументации нашего автора. Особенно интересно положение, что в современной войне преимущество должно остаться за той стороной, которая защищается. Действительно, армия защищающаяся ожидает врага на заранее избранной позиции; она сейчас же начинает рыть окопы. Только головы солдат подымаются из-за земляных прикритий. В этих условиях, при современном вооружении войска защищающиеся будут иметь огромное преимущество перед теми, которые атакуют, ибо последние должны будут открыть свой фланг... В этих условиях победа всегда останется за защищающейся армией и война потеряет свой объект»¹⁴. Интересна следующая выдержка, приводимая автором из статьи Белье: «Думают, что в скором времени возможно будет найти средство бросать на большое расстояние электрические лучи огромной силы».¹⁵ Эти лучи будут проникать вовнутрь военных судов, вызовут взрыв электричества и уничтожат их в пожаре». Таким образом, современный флот скоро сделается никуда не годным, хотя он, собственно, и теперь уже потерял большую часть своего значения после изобретения удивительных подводных лодок во Франции.¹⁶ Наконец, никакие финансовые средства не в силах выдержать буду-

¹¹ Записки кн. С. Г. Волконского. СПб, 1901, с. 91.

¹² Там же, с. 112.

¹³ Иванов И. Е. Военно-походные впечатления. Русский вестник, 1901, № 9.

¹⁴ Novikow J. La Fédération de l'Europe. 1901. С. 566–567.

¹⁵ Прибавим, что в Америке в этом направлении сделан уже очень успешно ряд поразительных опытов знаменитым ученым Тесла.

¹⁶ Особенно поразительны опыты с лодкой Zèdè в Аяччо в нынешнем году.

шую войну. Вычислено, что в случае всеобщей войны пять великих держав должны будут ежедневно тратить по 105 миллионов франков, что дает в случае годовой продолжительности военных действий сумму в 38.325.000.000 франков. «Но так как теперь избегают решительных сражений, то, по мнению специалистов, война должна длиться, по крайней мере, два года, для того чтобы один из воюющих был совершенно уничтожен. А для этого потребуется еще 76.650.000.000 фр. Откуда же взять эту колоссальную сумму? Путем внутреннего займа? Но займы представляют сбережения народа, и сбережения всего мира равняются всего 12 миллиардам франков в год. Допустив даже, что эта сумма в скором будущем удвоится, ей все-таки далеко будет до 38 миллиардов, необходимых для всеобщей войны».

Таковы следствия технических усовершенствований в военной области. «Милитаризм, – сказал Бебель, – средневековый рыцарь. Тяжесть лат его растет все больше и больше и будет расти до той поры, пока рыцарь не задохнется».

Однако раньше, чем милитаризм сам задохнется, человечество не должно оставлять попыток победить его или, по крайней мере, расшатать всеми силами. В этом смысле автор совершенно справедливо возлагает надежды на распространение образования: «Чем больше будет распространяться образование, тем менее возможной сделается та поразительная эксплуатация человека человеком, какая наблюдается теперь. Когда народы будут образованны, каждый индивидуум будет сознавать свое “я”, не будет более пассивных и немых толп, с которыми обращаются, как с овцами» (с. 593). Приведенные слова г-на Новикова показывают, что он все-таки понимает, что одной буржуазии не вынести на своих плечах идею мира.

Это, однако, не мешает друзьям мира из рядов буржуазии делать свое дело и откликнуться на тот могучий призыв к уничтожению войны, который еще раз недавно прогремел над цивилизованным миром, точно гром. К сожалению, мысль о демократизации учреждений проводится в разбираемой книге слабо, совершенно не соответственно важности ее. Автор слишком много надежд возлагает на благородство людей, на то, что все должны, наконец, понять *то*, что понятно ему.

Он приводит следующие слова лорда Салисбюри, сказанные на банкете в 1897 г., слова, отчасти намекающие на злободневный тогда Критский вопрос: «Я выражаю надежду, что согласие между державами будет поддержано; но, заметьте, *федерация* Европы есть эмбрион того строя, который один сможет спасти цивилизацию от ужасных последствий губительной войны». – «Вот, – прибавляет восторженно г-н Новиков, – наконец это слово “*федерация европейская*” в устах не мечтателя и утописта, а первого министра великой державы!» Восхищение напрасное, так как автору, писавшему книгу в самом конце XIX в., должно было быть ясно, какую цену можно придавать словам «первого министра великой державы». «Европейская федерация» Салисбюри в искренности не уступает классическому утверждению Наполеона III, что «империя – это мир». Тот же Салисбюри вскоре поднял братоубийственную войну в Трансваале, еще ныне продолжающуюся, и немало времени пройдет, пока можно будет

торжествовать победу мира. Нужно, чтобы люди прониклись этой идеей вечного мира, сжились с ней, чтобы она пропитала все их существо, вкоренилась в их жизнь, чтобы существовала вера в эту идею, вера полная и твердая. Утешительно, что к этому идет современное человечество твердыми шагами, но каждый шаг этого пути совершается с невероятными препятствиями.

Оканчивая разбор новой книги г-на Новикова, мы не можем не пожелать ей успеха. Методология автора, как мы уже указывали, слаба. Мы могли бы удлинить список его ошибок, подчас крупных, но это не так интересно, как самый предмет исследования автора. Европейская федерация – это очередной вопрос международной политики. Благополучное разрешение его осчастливит цивилизованный мир и откроет верный путь к осуществлению социальных идеалов. Г-ну Новикову принадлежит та заслуга, что он своевременно занялся этим вопросом и талантливо разработал его, несмотря на отмеченные проблемы в книге. Книжки, подобные той, которую мы сейчас разбираем, делают великое дело: они долбят тяжелый камень общественного индифферентизма, они прокладывают дорогу здоровым идеям. Было бы очень желательно, чтобы автор дал русской публике экстракт своих произведений, касающихся вопроса о вечном мире, так как не всякий может одолеть том в 800 страниц, да еще на французском (правда, очень изящном) языке. Такие книги нужны именно теперь, когда благодаря знаменитой русской ноте от 12 августа вопрос о войне приобрел такой широкий интерес в самых разнообразных слоях общества. Мы закончим нашу статью прекрасными словами французского социолога Габриэля Шавэ о значении федерации:

«Народу нужно внушить святой ужас к войне, нужно вырвать из его сердца все предрассудки, все неосмысленные мечты о пустом тщеславии и жалкой гордости, нужно заменить гнусный и необузданный шовинизм широким и хорошо понятым патриотизмом, нужно указать народу на неисчислимые благодеяния мира, объяснить ему действие этого чудного инструмента согласия, который называется международным посредничеством».¹⁷

В. Владимиров

Вопросы общественной жизни, № 2, дек. 1901, № 3, февр. 1902

СОВРЕМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I

Русское общество в последнее время сыграло роль Штокмана в знаменитой ибсеновской драме. Столкнувшись со всеми ужасами, препонами и бьющими в глаза противоречиями современной жизни, оно долго ломало голову над тем, как бы все это выразить, и, найдя

¹⁷ *Habriel Chave. Justice sociale Justice internationale. Paris, Guiard & Brière, 1900 an., pag. 16.*

слово «настроение», обрадовалось ему, как ребенок, точно нашло, наконец, живую правду, которую долго разыскивало. Русская публика смотрит теперь каждому беллетристу, каждому поэтику в рот и ждет с сердечным замиранием, когда наконец тот или другой соблаговолит изречь что-либо с «настроением».

Что же, наконец, такое это «настроение»? Откуда пришло оно; не было ли его у нас раньше, не отличительная ли даже эта черта славянской натуры, подавленной лесами, степями, равнинами, безмерными в своем тоскливом величии? Все это вопросы, на которые современное литературное течение прямо-таки наталкивает. Необходимо выяснить, каким образом могут увлекаться у нас психологическими миниатюрами на французский манер после огромных, захватывающих картин Тургенева, Толстого; как могут люди быть поработаны маленькими чувствами, вдобавок неясно, туманно выраженными, люди, воспитанные на великих писателях?..

Что такое *настроение*? Может ли оно считаться «открытием» нашего времени? Каждая эпоха, несомненно, имеет свое «настроение», будь то суровое, мрачное время средних веков, радостное, гуманное – ренессанса или мечтательно-сентиментальное – эпохи Ватто, напудренных пастушков и раззолоченных хижин... Литература знает их тысячи, потому что отражение их в своей зеркальной поверхности – ее дело. Чтобы не забираться в даль времен, мы возьмем сравнительно недавний литературный период, анализ которого, между прочим, должен показать нам, откуда явилось это новое бесформенное течение и что оно представляет собой в смысле литературном и общественном.

Одновременно (хронологически даже гораздо раньше) с освобождением мужика русское общество открыло его; так-таки открыло, потому что стены барских домов и помещичьих усадеб не позволяли за их толщиной видеть настоящий облик и жизнь народа. Разрушились эти стены, наступило время перегара и подъема духа. Всякий знает, как носились тогда с этой находкой, какое было увлечение, как слово «мужичок» – «непременно *мужичок*», а не «мужик», как замечает в одном месте герой Гл. Успенского, – вызывало слезы умиления и восхищения. Долго длилось господство этого настроения, но и оно должно было кончиться. Мужик надоел, и его забросили, как ненужную книгу с замасленными страницами, потерявшую живой интерес. «Все мужик... В буфет пойдешь – мужик... на картине – мужик. Надоело... Довольно мужика». Так формулирует у Гл. Успенского один из героев интеллигенции настроение 80-х годов. Смысл жизни был как-то вдруг потерян. Целое десятилетие прошло, пока найдена была новая жизненная разгадка в виде фабрики, в котлах которой во чтобы то ни стало должен, мол, перевариться «мужик» (хронологически и это «открытие» было сделано значительно раньше). Вплоть до конца 90-х гг. муслировали фабричный вопрос в русской литературе, проанализировали весь хозяйственно-экономический быт народа, не щадя больных мест. Экономисты заглянули в деревню и не оставили там камня на камне. Беллетристы, в свою очередь, развернули рубище мужика и обнаружили все его язвы, его умственную тьму и душевную пустоту; словом, недавний кумир – мужичок – стал вызывать теперь совсем другие чувства и по-

мысли. Не до идеализации его теперь было. Пора невинного прекраснотушья прошла, и жизнь поставила серьезные практические задачи. На смену ликующему настроению шестидесятников и унынию восьмидесятников вновь явилось ликование антинародников, встретивших готовую почву. В научном отношении период «экономических анализов» дал более всех предыдущих, зато в области изящной литературы скудость его обнаружилась в полной мере: нельзя указать ни одного крупного произведения, относящегося к этому периоду. Типичным образцом беллетристической бесталанности этого периода являются «Инвалиды» Евг. Чирикова, которые в другое время, быть может, и не увидели бы света. Понятно, что русское общество не было удовлетворено. Начались новые поиски. По обыкновению, ткнулись в Западную Европу, и там оказался целый ворох новинок, которые поспешили привезти домой. Тут были и декадентство, и символизм, и ницшеанство, и импрессионизм, и прерафаэлизм, и английские эстеты – словом, нарвали в садах западноевропейской литературы разнообразных цветов и стали таскать их к нам. Без корней, без туземной почвы и родной атмосферы цветы эти завяли и, конечно, потеряли у нас свою красоту и жизненность. Мы, таким образом, невольно оказали большую медвежью услугу новым западноевропейским направлениям в литературе и в искусстве. В пылу увлечения новизною мы не заметили преподнесенной нам литературной фальсификации, мы приняли мнимых бардов – Брюсса, Бальмонта и др. – за истинных служителей муз. Вначале на них смотрели с удивлением, почитывали, думали найти что-либо захватывающее; потом стали их осуждать, а затем раздался и громкий смех, смех над этими причудливыми вывертами и литературным юродством. Досталось при этом и западным прототипам – декадентству и иным течениям, точно они были ответственны за своих жалких подражателей. Громовые статьи покойного Влад. Соловьева, которыми он уничтожал наших доморожденных декадентов, а вместе с ними и таких крупных европейских писателей, как Метерлинк, – оказались убитственными, конечно, только для первых.

Параллельно с этими, перевезенными прямо из Парижа, литературными *nouveautés* прокладывает себе дорогу новое течение – поэзия и литература «настроения». Оно явилось плодом усталости душевной и умственной, плодом тоски по неразгаданному идеалу, который вот уже полстолетия как разыскивает русское общество. «Настроение» поэтому было вялое, бесцветное, безжизненное, и таковым оно отразилось в литературе. На скудной почве нашей жалкой общественности только и впору было вырасти худосочному детищу... Мы, правда, идем по пути прогресса... Маршрут, предназначенный нам великими пророками ортодоксальных и неортодоксальных школ, неуклонно выполняется: растет число фабричных, гудит паровик, свистит гудок, словом, все идет как по писаному... Но все это, по-видимому, не дает нам душевного удовлетворения, и мы по-прежнему мечемся в поисках жизненного идеала.

Интересна форма, в которую вылилось это расплывчатое, ноющее направление. Простора оно нигде не нашло, потому что жизнь не любит обилия грустных картин. Много еще и других обстоятельств за-

ставляют не громко говорить о своей серенькой, плаксивой действительности, а тихо ныть так, чтобы не очень-то мешать довольным соседям. Поэтому новое направление настроения не выразилось ни в форме едкой сатиры, подобно щедринской бичевавшей помпадуров и ташкентцев, ни в форме истинно художественного повествования, захватывающего целый период жизни, как у Толстого и Тургенева. Напротив, все произведения последнего периода «настроения» тусклы, бесцветны, полузаглушены собственной рукой пишущего, опасно прикрывающей рот. И выходит поэзия робкая, едва бряцающая на той самой лире, которая могла бы в другое время издавать сильные звуки; поэзия тонких чувств и ощущений, которая не требует писательского мужества для проповеди горьких истин; получилась, так сказать, поэзия десертная...

II

Поэзия современного унылого настроения – это поэзия переходного времени, когда человек, мечущийся из стороны в сторону, уставший от бесконечной сутолоки, совершает наконец над собой нечто вроде нравственного самоубийства, погружаясь во мрак апатии. Трудно подыскать в истории другое время, которое, подобно нашему, так полно было бы резких диссонансов. Небывалый прогресс науки, техники, искусства – с одной стороны; нищета материальная, нравственная и умственная – с другой. Вот что приводит в отчаяние людей, что заставляет их терять бодрость, без которой невозможна нормальная общественная жизнь. Вспомните роковые слова Гл. Успенского: «С человеком тихо». С тех пор как они были произнесены, дело мало переменилось к лучшему. Прекрасно идут на рынке хлопчатобумажные материи, электричество делает удивительные успехи в промышленности, золото по-прежнему в цене; но чувства человеческие, жизнь, достоинство личности котируются по-прежнему очень низко, по-прежнему ползают у подножья дворцов, сооруженных гном Купоном.

Однако и кое-что изменилось, кое-что приняло другой вид, двинулось вперед с той поры. «Новый читатель явился, – писал тот же Гл. Успенский, – торжествуя победу над тем нравственным растлением, которое распространял вокруг себя Купон». Этот новый читатель явился уже с иными запросами; ему, правда, приходится чуть ли не сызнова начинать ту работу, которую наша интеллигенция проделала давно, но в области этой работы он идет быстро, и, быть может, как раз в то время, как интеллигенция, вконец ослабев и размякнув, соберется «припасть к родной земле, чтобы отдохнуть на травке-муравушке», новый читатель своим сильным хребтом поддержит ее и вынесет вновь на свежий воздух.

Наше общество к настроению, парящему теперь в русской беллетристике, отнеслось разно: сытые филистеры, вполне довольные своим сытым существованием, вопят, что читать стало нечего; люди, не примостившиеся в жизни, в произведениях новой школы узрели оправдание своей неудачливости...

Сколько бы там, однако, ни говорили, что идеалы прошлых поколений исчезают и что их место заняли узко меркантильные интересы; сколько бы ни скорбели об исчезновении шести- и семидесятников, точно на них свет клином сошелся; сколько бы представители прежних литературных поколений ни проливали слез над современным болезненно чутким, нервным, измученным поколением – все их вопли и сетования сильно запоздали. Они проглядели подоплеку этих нервных людей, они не сумели разглядеть их «я», в котором наука и искусство, новая мораль, новые требования жизни заложили крепкие основы, способные выдержать величественное сооружение здорового будущего. Люди прошлого, с таким грустным сожалением созерцающие нынешних серых людей, забывают, что эти серые люди, недовольные своей судьбой, рвущиеся из своей среды, – явление отрадное. Прежде народолюбческие идеи охватывали только верхи интеллигенции, поэтому деятельность народолюбцев была проникнута такой силой, бодростью. Много сильных было тогда; слабые не шли на борьбу и не затемняли своими падающими телами ореолы, окружавшие сильных. Теперь *вся* интеллигенция, снизу доверху, от высших слоев столичной до низших – провинциальной, проникнута новыми стремлениями, *вся* она против печальных условий серенькой жизни.

Наша огромная и разношерстная интеллигенция не заснула под мерный стук машин, среди тумана от фабричного дыма. Ее не надо расталкивать, как приходилось делать это в течение многих лет Берне и Гейне с глупым немецким Михелем. Она сознает уже свое жалкое положение, и если часть ее и завязнет в тине современной действительности, то другая и, вероятно, большая сумеет выйти на твердую почву. Серенькие люди, серенькая жизнь – все же лучше, чем та тьма кромешная, которая еще так недавно окружала нас от края до края.

Немного мужества, немного больше веры в лучшее будущее, и русское общество выйдет, должно выйти из своего серенького существования...

Нам следует указать, как поэзия «настроения» отразилась на форме художественных произведений. В этом случае трудно не заметить ее вредного влияния. Прежний роман с его широкими картинами, изображающими жизнь целого общества, исчезает, и на смену ему являются коротенькие произведеньица, результаты настроения ближайшего дня. Исчезает даже повесть, заменяясь миниатюрой, этюдом, наброском. Драмы, пропитанные «настроением», оказываются лишенными действия, сценами прозябающей обывательской жизни, сценами довольно отрывочными, без ярких красок. Только крупный талант может даже в таких отрывочных произведениях заставить выслушать себя с наслаждением. Таким крупным талантом является у нас Ант. Чехов. Пьесы его, считающиеся шедеврами поэзии настроения, еще несколько лет тому назад совсем не вызывали таких восторгов. Только теперь, когда общество обсудило и рассмотрело детально свою жизнь, оно и поняло громадный интерес чеховских произведений.

Несмотря, однако, на большой талант Чехова, и у него отрывочность очень много портит дело. У писателей меньшей талантливости она превращается в нечто даже неприятное. Только что человек ра-

зошелся – смотришь, жалобная песня прервалась без толку, без причины, как прерывается песня слепого бандуриста, когда он, чувствуя, что никто его больше не слушает, опускает свои слабые руки и внезапно прекращает свою грустную «музыку».

То же происходит и в поэзии стихотворной. Из нее исчезли совершенно: ясность, рельефность, сила – все это оказалось неподходящим и заменено тихо звенящими стихами, едва слышными созвучиями, робким ритмом. Вот почему рядом с восхищением поэзией настроения раздаются и жалобы на нее тех, кто привык к сильным, ярким, рельефно нарисованным типам и картинам прежних русских мастеров. Если, таким образом, в общественном смысле поэзия настроения дала известный плюс, то в художественной форме она оказалась минусом.

Как бы, однако, ни было минорно настроение современного русского общества, все-таки оно требовало бодрых звуков и речей. Читателю приходилось не раз, вероятно, испытывать великое наслаждение, когда среди сложной музыки, хотя бы, например, вагнеровской, после смутных чувств Тангейзера, после звуков, передающих его душевное смятение, раздавался вдруг простой, незатейливый мотив, идущий прямо в сердце, веселая песенка, приподымающая вашу бодрость, ваше настроение. Никаких сложных вопросов, никакого микроскопического самоанализа вам не хочется. Этой простой и бодрой музыки захотелось и русскому обществу. Чехов прекрасно подметил всю электризирующую и символическую силу этой грубоватой, но бодрой музыки жизни в своих «Трех сестрах». Когда на сцене тоскливо тянется драма за драмой, слышатся грустные воспоминания, унылый разбор чувств и надоедливые сетования на судьбу – за сценой вдруг раздается бодрая, призывающая к жизни музыка солдат, и кажется тогда измученным в тоске людям, что не солдаты идут под эту музыку, не люди, обученные искусству убивать, а сонм тех существ, которые непобедимой силой своих мужественных сердец вырвут нас из этого неизменно давящего нас кошмара. И все герои на сцене, и вся публика в театре чувствуют это, и у всех гордо подымаются головы, а Ирина, как бы от лица всех, бросает вызов судьбе и, гордая своим сознанием, призывает к труду. Забыто личное горе, забыто неудовлетворенное чувство любви, разбитые надежды: бодрые звуки музыки, грубый, но волнующий душу марш, под который люди идут в бой для того, чтобы победить, завладели общим вниманием. Этой яркой, бодрящей музыки как будто и ждало русское общество. Оно не находило ее нигде. Наши мотивы продолжали быть унылыми, и если кое-где появлялись ободрительные нотки, то ненадолго и скоро поглощались протяжными завываниями господствующей тоски.

Когда общество чувствует себя подавленным, оно перестает мечтать: фантазия, ум, сердце устают создавать идеалы с ясными, резко очерченными контурами, и это вполне естественно. Ясно ставит себе цели и задачи тот, кто умеет мужественно бороться за них; те же, кто к борьбе не готов или не склонен, – пробавляются неясными желаниями, грезами и расплывчатыми надеждами. Проза жизни убивает всякую идеализацию, но идеалы все-таки витают над слабыми головами мечтателей и вновь навешивают на них то, что немцы-романтики называли

Sehnsucht.¹⁸ Во всеобщей литературе периоды подобного общественно-го настроения неоднократно повторялись. Сто лет тому назад Новалис воплотил аналогичное настроение в особом символе – в «голубом цветке», а Тик – в индусском символе божественного счастья – лотосе. Наши современные новалисы и их многочисленные последователи ищут желанного символа в бодрой музыке, в звуках, взывающих к борьбе. Эти «бодрые звуки жизни», за которыми все гоняются, каждый на свой лад, сделались своего рода *idée fixe* русской интеллигенции и, понятно, нашли себе соответствующее выражение в литературе.

В. Владимиров

Вопросы общественной жизни, № 4, март 1902

«МЕЩАНЕ» ГОРЬКОГО

Рассудок – это хорошо, но... видишь ли, чтоб человеку жилось не скучно и не тяжело, он должен быть немножко фантазером... он должен, – хоть не часто, – заглядывать вперед, в будущее...

«Мещане», акт IV

I

Бывают моменты в общественной жизни, когда литература не является духовной руководительницей общества, а, напротив, сама подчиняется народившимся общественным требованиям. Литературе в такие периоды поневоле приходится давать обществу то, чего оно ищет в ней, поневоле приходится создавать типы, этические достоинства которых подлежат большому сомнению. Придется ли для этого спуститься в ряды босяков и из них создавать героев, как это предельствует Горький, либо подняться в высшие круги общества и облекать в тогу героя Рюи Блаза, как это когда-то делал Гюго, это безразлично, но герои эти должны быть во что бы то ни стало, публика требует их от литературы, и литература создает их. Создания эти чисто романтического характера. *Романтизм*, появляющийся в эпохи застоя общественной жизни, надолго кладет свою печать на все истинно великое и прекрасное. Яркие краски, красивые ткани, в которые он облакает своих героев, скоро, с наступлением подъема общественного сознания, блекнут и теряют свой колорит. Читатель или зритель – если дело идет о драме – начинает видеть мишуру и ложный пафос там, где он прежде увлекался. Писатель для него превратился просто в гуманного фантазера, творения которого потеряли для него значение. Вспомните Тика, Лаубе, Гуцкова, Новалиса, Уланда и других великих романтиков начала прошлого века. Кто их знает, кому не смешны их фантазии, их иллюзии и картины, когда-то полные блеска, теперь пестрые и неестественные; кто интересуется теперь их произведениями, кто, кроме специалистов-историков? Но... *le roi est mort – vive*

¹⁸ Томление (нем.).

le roi¹⁹: романтизм исчез, его разоблачили и лишили блестящего ореола, а он опять возродился, и вновь волнует он нас, и вновь окутывает иллюзиями и фантастическими картинами. У нас самым ярким представителем его является теперь Максим Горький. Ряд созданных им типов – романтического происхождения. Суровый, сильный волей Челкаш встает в сером тумане нашей жизни, за ним подымается красивая, полная блеска Мальва, далее Коновалов, Изергиль, Райко... и все они причудливой вереницей проходят перед нами, все они поражают нас красивыми речами о свободе, о воле, о жизни среди природы, непосредственной, великой; и всех нас увлекают эти речи, кажутся они нам давно жданными, забывается иллюзорность их. Человек хочет бодрости, душевного подъема, и он готов принимать фантомы за действительность. Романтизм отодвигает на задний план жизненные идеалы. Он поет свою победную песню в то время, как кругом лежат побежденные, и кажется им, этим жалким воинам жизни, что песню эту поют приближающиеся полки своих братьев, и с трудом приподымаются они на локтях и глядят в ту сторону, откуда несутся победные звуки, а там видна только мрачная туча врагов...

В современной русской литературе такую победную песню, уже несколько лет восхищающую читателей, поет Максим Горький. Вариантов у него бесконечное множество, и каждый вариант сулит что-то сильное и смелое, но только сулит. Давно уже критика установила, что поэзия Горького замечательна своей бодростью. Против этого трудно спорить; хотелось бы только, чтобы эта бодрость вытекала из самой жизни, из недр ее; ан этого-то нет. Вся бодрость создана самим писателем и никаких корней в современном обществе не имеет. Каждый читатель может дать убаюкать себя этими бодрыми речами, может даже на момент прийти от них в раж, но не проникнется он ими никогда, никогда не станут они его органической потребностью...

Новая пьеса Горького «Мещане» лишний раз подтверждает нашу мысль. «Мещане», несмотря на все претензии, не разрешают ни одного из жгучих вопросов нашей печальной действительности, не дают нам никаких художественных красот, которых мы раньше не знали. Тема «Мещан» далеко не нова: борьба старого и молодого поколения. Разработан сюжет тоже по-старому. Как и в «Детях Ванюшина», и в «Мамусе» – все стремятся здесь вразброд, в сторону от родной семьи, где ничего хорошего в духовном отношении никто не нашел. От Горького давно ждали, что он даст новый тип из народа, тип реальный, положительный, не прикрашенный романтическими фантазиями. Как читатель ни увлекался героическими босяками Горького, он всегда все-таки знал, что встречаться с ними не на чистеньких страницах книги, а в трущобах или городских закоулках далеко не приятно, и потому ему, читателю, босяки эти все-таки приходились мало по душе, шокировали его; они неизбежно подымали горький вопрос: неужели мы, интеллигенция, так дряблы, так захирели; неужели мы сделались такими жалкими и ничтожными, что талантливый писатель должен истинно бодрых и свежих людей искать исключительно меж-

¹⁹ Король мертв – да здравствует король (фр.).

ду босяками, среди современного русского пролетариата? Среди своих босяцких типов Горький ищет настоящего героя, такого, который «научил» бы жить и интеллигенцию. Сейчас, в «Мещанах», он нам выставил Нила, машиниста, которым все почти персонажи пьесы захлебываются от восторга, неизвестно только почему. Горький торжественно провозглашает теперь, что наша интеллигенция «мещанская», что она вся, пожалуй, должна идти насмарку. О том, как легко и победоносно разделался Горький с нашей интеллигенцией, — после, а теперь внимательнее посмотрим, что такое его «новый» человек Нил и стоит ли из-за него копыа ломать? Нил, как мы уже знаем, машинист, молодой человек 27 лет, воспитанник Бессеменовых. Дом Бессеменовых ему опротивел, ему здесь скучно... Он говорит Татьяне, дочери Бессеменова:

— Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю потому, что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет... И некому, и... не стоит...

В жестких речах этих чувствуется, правда, большое презрение к «мещанскому дому», а все-таки — этот независимый, сильный и смелый, по замыслу автора, Нил остается в этом противном доме. Впрочем, он беспрестанно «протестует»: с этой целью он показывает старику Бессеменову язык, натравливает на него Перчихина, отца своей невесты, назло всем требует от своей невесты Поли, чтобы та дала ему открыто свое согласие на брак, никого не спросив, за обеденным столом. Последняя форма протеста так уже нелепа, что сам Нил спрашивает себя:

— Чего ради заставил я Полю пережить такую... гадость? Испугалась... нет, она не пуглива! Обиделась, наверно... тьфу!

Далее Нил выругал свое маленькое начальство, мечтает перейти в депо, на более интересную работу и, в заключение, ругается жесточайшим образом, направо и налево, точно в этом его провиденциальное назначение. Во всех этих поступках, как видите, не только ничего героического нет, но и нет ничего «нового», заслуживающего какого-либо внимания. При всем нашем желании отыскать в Ниле что-нибудь положительное — мы этого сделать не могли. Все красивые и оригинальные подчас фразы, которыми сыплет герой «Мещан» между ругательствами, только фразы, и блажен трижды тот, кто может ими удовлетвориться и узреть в них что-то идеальное. Что положительного сделал Нил? Работал на паровозе, но ведь каждый из нас работает и заслуги в этом не видит. Больше никаких «заслуг» за ним мы не знаем. Мы с удовольствием слушаем, как он громит Бессеменовых, этих зазнавшихся мещан:

— Как ненавижу я этого человека... этот дом... всю жизнь эту... гнилую жизнь. Здесь все... какие-то уроды. Никто не чувствует, что жизнь испорчена ими, низведена к пустякам... что из нее они делают себе темницу, каторгу, несчастье... как они ухитряются делать это. Не понимаю. Но ненавижу людей, которые портят жизнь...

Кажется, Нил должен понимать смысл жизни, а он не понимает. Не понимает современной сутолоки, всей сети мелочей, окутавшей нас, всей массы крупных и мелких несчастий, которые остались на нашем нерасчищенном пути, лишая возможности идти вперед. Нил большой субъективист. Ему кажется, что человек «портит жизнь», что сама по себе жизнь прекрасна. Эта философия, рассматривающая все *an und für sich*²⁰, нам давно известна. Помилуйте: жизнь прекрасна, только человек портит ее; будет время, скверный этот человек уgomонится, исправится, и тогда жизнь, «сама по себе прекрасная», сразу сделает всех счастливыми! Штука, как видите, не хитрая и не новая; до нее еще Руссо додумался больше ста лет тому назад...

Послушаем, однако, какие советы дает Нил Татьяне, скучающей в «мещанском доме»:

– Скучно тебе жить, – займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело – поезжай в деревню, там живи и учи... а то – в Москву, сама научись...

Не веет ли ординарностью от этих советов? В более складном виде, пожалуй, подобный совет может дать всякий гимназист старшего класса. Нил имеет еще свое особое *credo*. Оно заключается в том, что он желает вмешаться в «гущу жизни». О какой «гуще» тут идет речь, мы определенно не знаем. «Гущи» бывают ведь разные; из иных и не вылезешь: затянут, как болото гнилое, так что стремиться *quand même*²¹ в гущу жизни не всегда резонно. Единственная мысль Нила справедливая, но немного *unzeitgemäßig*²², как сказал бы Ницше, выражена у него во фразе: «Да, хозяин тот, кто трудится...» Но новизной и эта мысль не отличается. Итак, что дает такого Нил, из-за чего стоило бы сдать всю мещанскую интеллигенцию в архив? Ничего или так мало, что не стоит, фигурально выражаясь, разрушать старый дом, чтобы на его место поставить деревянную будку, хотя бы и очень красивую.

II

Остальные типы «Мещан» более или менее знакомы нам по прежним повестям Горького. Старик Бессеменов, крутой и деспотичный представитель «мещанства»; это мастодонт, доисторический тип, грубый, безобразный и бесполезный. С новым поколением старик расходится принципиально, он хочет сломить его у основания и заставить жить по-своему; на минуту склоняется он к образованию, но затем отрекается и от этой уступки новому времени; он еще сила, но уже надломленная. От своего еще более безобразного предка Тита Титыча Бессеменов отличается все-таки известным прогрессом. Он задумывается уже над противоречиями между собой и молодым поколением, тогда как Тит Титыч все случаи разногласия решал одинаково радикально и сильно: изгнанием из дома и родительским про-

²⁰ Себе и для себя (нем.).

²¹ Во что бы то ни стало (фр.).

²² Несвоевременная (нем.).

клятием. Именно в силу этой разницы, именно в силу того, что Бессеменов начинает мыслить и разбираться в явлениях современной жизни, борьба с ним должна вестись более разумным способом, чем фырканием Нила и показыванием языка.

Дети Бессеменова, которых автор одинаково с отцом зачисляет в ряды мещан, Татьяна – учительница и Петр – бывший студент, нарисованы как двуликие Янусы: с одной стороны, они интеллигенты, с другой – первобытные мещане. Захочется автору в одну сторону повернуть – интеллигент, как ему быть подобает: со стремлениями «в Москву», с жадной жаждой хорошего и честного труда; захочется в другую повернуть – и Петр, например, такой мещанский фортель выкинет: «Ты, – говорит он Шишкину, своему университетскому товарищу, – теперь мне с прежними семь целковых должен», то есть совсем помещански напоминает про долг.

Понимая, однако, что интеллигентность человека, да еще вдобавок молодого, трудно совместить с грубым мещанством, автор рисует и Петра, и Татьяну крайне туманно, не объясняя, например, почему тоскует Татьяна, почему хнычет Петр. Татьяна, впрочем, потерпела фиаско в любви: Нил ей не дался; но Петр ведь любим любимой им женщиной. Для удовлетворения мещанского интеллигента это ведь немало. Автор, впрочем, дает небольшое указание. Петр недоволен тем, что товарищеская среда учинила над ним насилие, заставила его уйти из университета, тогда как он хотел работать и из университета уходить не желал. Что же лучше – пренебречь товарищеским чувством или подавить свой узкий индивидуализм? Вопрос этот опять-таки в пьесе остается открытым...

Итак, в чем резко выражено мещанство у этих представителей семьи Бессеменовых? В их апатии, тоске, усталости от жизни – словом, в их неврастении и в разочарованности. Однако это вовсе не мещанские признаки. Татьяну автор напрасно заставил влюбиться в Нила; благодаря этому мы не знаем, всегда ли такова Татьяна. Быть может, в иное время она умеет работать не менее бодро, чем Нил, умеет жить осмысленно и хорошо. Именно те типы, на которых автор хотел показать всю мелочность мещанского мировоззрения, обрисованы так бледно, что невозможно из них сделать какие-нибудь выводы. Другие интеллигенты – Шишкин и Цветаева – самые заурядные люди, делающие свое честное дело. Шишкин будет среднего калибра врачом или адвокатом и не раз еще поможет в жизни господам Нилам; Цветаева будет учить Ниловых ребят и т. д. Это представители рабочей интеллигенции, и относиться к ним отрицательно или даже презрительно нет никаких оснований. Они, быть может, не вмешаются в «гущу жизни», как этого желает Нил, но они и не претендуют на туманный героизм; они самые средние люди, которые в действительной жизни, однако, не поступают своими убеждениями, и если Нил совершил, по мнению автора, героический поступок, выругав «дубинового начальника», то бедный Шишкин бросает единственную доходную статью – урок – только потому, что не выносит антисемитизма своего взрослого ученика-чиновника и его отношения к прислуге. Право, это обычное поведение Шишкина стоит героизма Нила,

и напрасно Горький изобразил этого представителя молодежи несколько смешным и глуповатым. Поступки его вытекают ведь не из глупости, а из благородства... Философ Тетерев – тип, благодаря предыдущим произведениям Горького настолько знакомый, что говорить о нем подробно не приходится. По прямой линии происходит он от Кувалды; единственная между ними разница в том, что вряд ли Кувалда способен был влюбиться, а Тетерев проходит этот душевный этап. Как человек, лишенный всех радостей жизни, получавший удары судьбы с избытком и со всех сторон, Тетерев, понятно, озлоблен и злобно ругается, «лается» со всеми, как говорится в пьесе. Он жесток в своей ругани, желчен и подчас правдив. Его постоянное негодование не мотивируется ничем возвышенным. Философия его крайне проста и граничит с философией первобытного человека: «Если тебе вместо хлеба дадут камень, то обрушь на голову давшего гору». Это еще более дико, чем око за око, зуб за зуб.

Тетерев влюблен в Полю, которую так характеризует Нил: «Ты – такой милый товарищ... нужды ты не боишься... горе – одолеешь... и ты упрямая... сильная, не согнешься...» Сам автор больше решительно ничего не прибавляет к этой характеристике. Мы должны, таким образом, верить автору на слово, думать вместе с Нилом, что Поля и сильна, и «милый товарищ», и прочее. Единственно хорошее дело, которое Поля без перемены в ходе действия могла бы сделать, – это не позволять пьяненькому своему отцу приходить в дом Бессеменовых, где его на каждом шагу оскорбляют; но она додумывается до этого слишком поздно, когда Бессеменов уже грубо расправился с детски благодушным стариком, кстати, очень уж напоминающим Любима Торцова.

Нам следует еще остановиться на Елене, жизненно и красиво написанном типе, но знакомом нам уже по характеру Мальвы. Елена отличается такою бодростью и жизнерадостностью, что скорее подходит героическому Нилу, чем Поля. Автор, однако, еще раз хочет добить мещанскую интеллигенцию и устраивает так, что Елена даже влюбленного уже Петра должна тащить на буксир. Жалок действительно тот, кто не умеет смело любить, но к мещанству это опять-таки мало относится.

Перед нами прошла целая галерея типов, долженствующих дискредитировать мещанскую интеллигенцию. Каждый из нас, конечно, и без доказательств, специально придуманных, знает слабые стороны мещанства; поэтому нам интересно было знать, что нового дают эти типы, намечают ли они хоть то будущее, в котором легче будет жить и дышать? Безусловно нет.

Трудно отрицать в драматическом эскизе Горького красивые положения, умные речи и т. д., но все это очень мало дает уму и сердцу. Прекрасно обрисованы у него старики Бессеменовы. Они перед нами точно изваяния скульптора. Но приходится сказать, что в «Мещанах» что хорошо, то старо, а что ново, то незрело, расплывчато, туманно. Неужели в действительности нет типа более сильного, более достойного, чем Нил? Неужели нет типа более жизненного, ради которого действительно стоило бы мещанскую интеллигенцию сдать в архив? Он есть, несомненно, но несомненно и то, что он еще не проявился и что рано

оказывается еще ломать то старое, на место которого не из чего еще строить новое. Мещанская интеллигенция имеет законное право на свое существование, и ее рано еще хоронить; она еще сослужит нам не раз службу. Мещанская среда, правда, заслуживает резко отрицательного отношения к себе, но ведь между мещанской интеллигенцией и самим мещанством – дистанция огромного размера, такого размера, что подчас их и ставить-то рядом нельзя, а уничтожить вместе тем более.

«Мещане» разошлись сразу в огромном количестве экземпляров, и это прекрасно; эта пьеса воочию покажет массе читающей публики на основные недостатки творчества Горького; она разъяснит им, как надобно смотреть на те типы Горького, которые созданы по рецепту Нила. Тогда они, быть может, увидят, что и Челкаш, и другие босяцкие орлы в значительной степени приправлены романтической фантазией... Романтизм бывает хорош, когда подымает дух упавшего гражданина, когда зовет его к борьбе. Но романтизм, который не щадит рядовых великой армии прогресса, бесполезен, а иногда и вреден. Нам кажется поэтому, что пора бы симпатичному певцу босячества оглянуться на пройденный путь. На этом пути у него есть уже два предостережения: одно называется «Мужик», а другое «Мещане»...

В. Владимиров

Вопросы общественной жизни, № 6, июль 1902

МАКСИМ ГОРЬКИЙ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

I

Для характеристики писателя крайне важно то обстоятельство, как он был встречен современниками. Против мужиков Успенского, Златовратского, Решетникова быстро создалась оппозиция; мужик недолго обретался в авантаже, и не повсюду его пускали. Босяк Горького, напротив, свободно забрался даже в салоны и мало кого шокирует там своим образным языком и циничными ухватками. К нему привыкли, его любят, им любуются, восхищаются; из-за него посылают проклятия культурной жизни, из-за него, наконец, готовы самих себя смешать с грязью. В чем же секрет? Мы помним, что прежде, когда восхищались мужиком, то восхищение это было так глубоко правдиво, что восхищавшиеся шли в деревню не колеблясь и оставались там, если даже приходилось оставить все прежние идеалы. Мужик со своими лаптями, онучами, прокисшим запахом полушубка казался дорогим и близким; в нем видели брата, которого при встрече не только стыдиться не надо, а наоборот, которым гордишься... К босяку такого отношения мы не замечаем. Им восхищаются, приходят в восторг от его мощи, удали, «размаха руки», но никто не идет жить в его среде, никто не чает найти там спасения, никто, наконец, не подумает взаправду делиться мыслями, чувствами и благами жизни с этими «огарками» человека, этими «бывшими людьми».

Напрасно обвиняли Горького в том, что он какой-то идеал хотел нарисовать в своем босяке. И напрасно считают горьковского босяка

каким-то прокурором, перед которым должно держать ответ современное общество. Нет спору, что всякое отвратительное явление, грубое, безыдейное, без нравственных устоев, есть само по себе уже осуждение современного строя, обвинительный акт против бессмысленной жизни и ее недостатков. Босячество как явление безусловно отрицательное есть тоже протест против наших несовершенств, против нашей гнили и слюняйства, протест, получивший столь ярко выраженные формы в созданиях Горького. Но делать из этого вывод, что босячество выше нас своей непосредственностью, своей смелостью в жизненной борьбе, что оно разумнее и привлекательнее той жизни интеллигенции, которая в лучшей своей части, части все увеличивающейся, все-таки проникнута стремлением воплотить здоровые идеалы в действительность, – это, как хотите, чересчур резкое и противоречащее фактам преувеличение. Однако такое преувеличение имеет свои коренные причины в настроении волжского писателя, в его *романтизме*.

Босяк Горького – тип, несомненно, идеализированный и приукрашенный, хотя местами трудно определить, где Горький оставляет идеализацию и в силу своего сродства с реализмом приближается к действительности. «Дорогу романтизму!» – этот клич раздался в русском обществе одновременно с воинственным призывом назад – к Канту, Ланге, Лассалю и метафизическому идеализму. И клич этот только в первые моменты возбудил известный протест; потом все смирилось. Романтизм так романтизм! Бывают такие тяжелые времена ноющего настроения, когда общество готово проделать все то, что делали наши деды: отправиться к знахарю, к бабке, молить ее вылечить недуг причитанием, чудесным корешком или святой водицей. Господа Мережковские, Булгаковы и *tutti quanti*²³ вынесли от колдуньи пузырьки со святой водой мистицизма. Г-н Струве удовольствовался гуманными заклинаниями идеалиста Фихте; Горький и целая плеяда молодых второклассных талантов принесли с собой романтизм старого доброго времени. Конечно, романтизм Горького далек от романтизма Гофмана, Тика, Новалиса; он вырос на почве одной из самых великих реалистических литератур; он вырос в эпоху лихорадочно быстрой, изнурительно интенсивной жизни, хотя не время рассказывать теперь страшные, причудливые «серапионовы сказки», не время воскрешать средневековые с рыцарскими турнирами. Романтизм, как и всякое другое литературное течение, подчинился времени, он вырос на почве реализма. Казалось бы, такое соединение даже невозможно, ибо романтическое и реальное – два противоположные понятия; однако оно оказалось возможным, история сделала его даже необходимым. Не все могут à la Вершинин из «Трех сестер» Чехова утешаться тем, что через 200 лет воцарятся на земле «мир и благоволение». Громадному большинству хочется сейчас увидеть хоть клочок того великолепного синего неба, которое будет над нами, когда атмосфера современного общества очистится и сделается ясной... Такому желанию и удовлетворяет, по-видимому, романтизм.

²³ Все до единого (*итал.*).

До сих пор босячество у нас описывали мало. «Петербургские трущобы» Вс. Крестовского дают целый лексикон воровских выражений, но художественности в них очень мало. Горький же именно порази нас целым рядом блестящих жанров. Много раз уже указывали на то, что босяки-де таким языком не говорят, что и философия их слишком уже на нищезанство смахивает, что чувства босяков не побосяцки демоничны; словом, отдавая должное мастерскому изображению этих типов, указывали на разукрашенность их. И, как всегда в таких случаях бывает, произошло недоразумение. Одни говорили, что босяки Горького тем и привлекают наше внимание, что знакомят нас с неизвестным нам еще дотоле классом, что автор, сам прошедший босяцкую школу, дает правдивые и до мелочей точные характеристики «бывших людей», что мы, словом, имеем дело с прекрасным бытописателем, знатоком, которому мы должны верить даже на слово.

Даже г-н Андреевич, критик покойного журнала «Жизнь» и горячий поклонник Горького, с этим не соглашается. Он заявляет, что типы Горького не всегда естественны, что в них много деланности, хотя ему «этнографические», как он презрительно выражается, типы и не нужны. На этот раз г-н Андреевич отчасти прав. Для протеста против «развращенной интеллигенции» Горькому настоящие босяки и не подходят. Гораздо лучше иметь своих «собственных» героев, которым можно было бы и ту и другую мысль навязать и заставить те или другие истины изрекать. Герои Горького из босяков потому так и красивы, что рядом с ними автор ни одного порядочного интеллигента не поставил. Конечно, если брать из нашей интеллигенции людей только дряблых да жалких, то смелый, отважный Челкаш покажется героем. Но Горький мог бы взять подвижника – врача, писателя, душу за други своя отдающего, и тогда его герои оказались бы такими маленькими и, пожалуй, частенько и некрасивыми.

Вся ошибка Горького в том и состоит, что он не замечает или не хочет замечать эволюцию, происходящую в современной интеллигенции; его взгляд презрительно скользит по грязной поверхности современной интеллигенции и не хочет проникнуть вглубь, в гущу, как выражается его Нил в «Мещанах», где совершается непрерывная работа, перемалывание старых идеалов и формовка новых. В одном из своих неоконченных произведений Горький попытался, впрочем, нарисовать новый тип здорового интеллигента-мужика, но он ему не удался до последней степени – вышел тот же буржуа-интеллигент, каких так не выносит автор. И так [как], у нашего писателя мы и не найдем нового типа интеллигента, так и должны поверить ему, что ничего хорошего не выйдет из нашей интеллигенции. А между тем дело совсем не так обстоит. Буржуазный элемент нашей интеллигенции начинает понимать, что место его среди буржуазии, которой он служит, а не в среде интеллигенции, добывающей демократических начал в жизни; он поэтому уходит постепенно отсюда. Каждый факт из обывательской жизни, в котором я усматриваю такое отступление, бесконечно радует меня, и я с удовольствием смотрю на этих людей, физиономия которых наконец определяется как следует. Этих-то господ Горький, к сожалению, принял за всю интеллигенцию.

Никто не станет отрицать, что у нас теперь серо, скучно и тоскливо, но окружающие нас сумерки похожи не на те, которые сопровождают закат, а на те, за которыми подымается новое, яркое солнце.

Последние голодные годы, эпидемии и прочие народные бедствия выдвинули немало интеллигентов-буржуа, но и немало истинных интеллигентов, которых нельзя причислить к лагерю угнетателей жизни. Каждое крупное и мелкое явление русской жизни служит теперь оселком, пробным камнем, на котором история русского общества испытывает своих интеллигентных сочленов. В свое время, когда происходила смена дворянской интеллигенции разночинной, Тургенев бесподобно нарисовал нам новые типы и не смешивал новую, вечно юную интеллигенцию с отбросами, которые неизбежны в периоды реакции. Горькому такая художественная задача не по силам. Ему никак не удастся, что называется, поймать быка за рога, уловить и художественно воспроизвести во всей полноте черты нарождающейся интеллигенции, которой принадлежит ближайшее будущее и которая явится «хозяином жизни».

II

Читатель, быть может, спросит, почему мы так долго останавливаемся на русской интеллигенции и так мало говорим о тех героях Горького, которые ему, собственно, создали популярность. На этот вопрос мы уже отчасти ответили. Противоположение босяков интеллигенции, во всяком случае, крайне любопытно. После мужика, служившего одно время противовесом интеллигенции, на буржуазии нельзя было останавливаться. Это понял Горький, но, к сожалению, он отыскал в низших слоях не то, что следовало бы. Lumpenproletariat никогда не играл в истории другой роли, кроме отрицательной, и принес немало вреда. С этим должен был считаться наш писатель. Не все, конечно, годится для романтической идеализации, и Горький должен был осторожнее делать из своих босяков настоящих героев современной жизни.

Насколько удалось нам заметить, критика мало или почти совсем не останавливалась на одном из героев Горького – Ваське Красном (см. рассказ под тем же заглавием). Васька Красный – служитель в публичном доме. Специальность его состоит в том, что он наказывает провинившихся перед хозяйками упрямых девиц. Казалось бы, эта фигура менее всего подходящая для какой-либо идеализации. Это не человек даже, а какой-то зверь. Девицы так и называли его «палачом». Само описание наружности его рисует нам почти дикаря. «Толстогубый, с большими ушами, которые торчали на его черепе, как ручки на рукомылке, он поражал людей жестоким выражением своих маленьких, бесцветных глаз» (т. III, с. 299).

«Наказывая девиц, Васька никогда не злился, он был всегда одинаково молчалив, равнодушен, и глаза его никогда не теряли выражения ненасытного голода; лишь порой он прищуривал их, отчего они становились острее.

...Приемы наказаний не ограничивались только этими, нет – Васька был неисчерпаемо разнообразен, и его изощренность в деле истязания девиц возвышалась до творчества» (С. 302).

Казалось бы, тип нарисован такими резкими штрихами, что сомневаться в том, что Васька Красный может кончить жизнь не душегубством, невозможно. Автор рисует такие ужасные сцены истязаний, что несомненным делается такая полная озверелость героя, при которой он положительно не способен к какому-нибудь человеческому порыву. Но с Васькой случается несчастье, он попадает под конку и получает перелом ноги. Этот-то перелом, по воле автора, ведет за собою непонятный перелом и в натуре Васьки. В нем почему-то просыпается сознание о своем злодействе и любовь к Аксинье, самой глупой и более всего похожей на животное девице. Сознание Васьки вырывается в следующем, правда, довольно грубом диалоге:

– Да, черт! – раздраженно крикнул Васька. – Ведь вот ты со мной канителишься... шевыряешься тут... чего же?

– Это другое дело... – резонно сказала Аксинья. – А чтобы с тобой жить – нет! Боюсь я тебя... очень уж ты злодей!

– Эхма! Что ты понимаешь?! – зло воскликнул Васька. – Злодей! Дура ты. Думаешь – злодей, так и все тут? Думаешь – легко, ежели злодей?

Голос у него оборвался, и Васька помолчал немного, растирая грудь здоровой рукой, потом тихо, с тоской в голосе и страхом в глазах, заговорил:

– Что уж вы... очень? Ну, злодей... так разве весь человек в этом? Эх! Чего у меня спрашивали?.. Пойдем, Аксинья Семеновна!...» (С. 316–317).

Итак, перед нами вновь старый знакомец – «беспокойный» человек. Вопрос весь в том, может ли беспокойство выразиться в таком образе, в такой бесцельно жестокой натуре. Мы знаем «беспокойных» людей в образе тиранов, жестокосердных палачей, получивших историческую известность. Но их зверства преследовали какую-то цель; им казалось, что они расправляются со своими врагами и идут к какой-то цели. Васька Красный ни в коем случае на подобное отношение к себе претендовать не может, потому что никакой цели в мучительствах, им проделываемых, не видно. Он сделался «вышибалой» в позорном квартале просто по профессии. Вот почему Васька в начале рассказа удивительно правдив; в конце же рассказа, превращенный в героя, сразу оказывается на романтических ходулях.

Мы остановились так долго на этом рассказе ввиду того, что в нем ярче, чем в каком-либо другом, выразился романтизм Горького, причем внешняя форма его оказалась здесь в полном несоответствии с внутренним содержанием.

Установивши присутствие в произведениях Горького большой дозы романтизма, являющегося протестом против современной русской интеллигенции, мы невольно задаемся вопросом, насколько этот романтизм полезен для той же интеллигенции. Романтизм как протест много раз уже фигурировал в истории всемирной литературы, и для нас он является, таким образом, старой новинкой. Романтизм всегда действует на публику ободряюще лишь в первые моменты; потом его обаятельная сила быстро испаряется. Такова общая участь романтизма, как консервативного, так и либерального. Этой участи не избежать

и романтизму нашего одаренного писателя. Первые произведения Горького, трактующие о романтической свободе босяка, крайне обоюдоостры. Если они, с одной стороны, поражают силой своих образов, яркостью колорита и изяществом выполнения; если они дышат бодростью, юношеской энергией и мужественной силой, то с другой стороны – они отвлекают ум от действительности и ее болячек, переносят идеалы в обстановку и в среду, в которой они не могут физически расти и развиваться; кроме того, Горький устами своих босяцких философов создает опасный прецедент слишком легкомысленного отношения к тому, что дали нам наука и искусство. Правда, романтизм подымает интерес к жизни, но он не дает созидательных основ, на которые можно опираться в дальнейшем. От Горького стали требовать «нового слова», разгадки жизни; он, против своей воли, был возведен на пьедестал учителя жизни; в произведениях его поэтому напрасно стали искать ответов на «проклятые» вопросы. Его отрицательное отношение к современной русской интеллигенции невольно вызывало у читателя вопрос: «Ну ладно – интеллигенцию долой... А дальше что? Не босячество же, в самом деле, во главе народа поставить?»

Горький как будто сам отвечает на этот вопрос отрицательно, ибо герои его, в конце концов, в своей свободе удовлетворения не находят. Это ведь свобода мнимая, свобода от обязанностей и прав, свобода от моральных уз и обязательств перед обществом; такая свобода – явление ненормальное, патологическое, и Горький прекрасно понимает это. Его Григорий Орлов, в конце рассказа под тем же заглавием²⁴, так и говорит:

– Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя – быть босяком! Самое лучшее положение в свете – свободно и... тесно все-таки» (С. 151, т. II).

«И тесно все-таки!» – эти слова уничтожают все то удивительно красивое здание босяцкой свободы, которое создавал так неутомимо талант Горького. Точно взойдя на вышку возведенного им же здания, он увидел, что в сравнении с бездной у подножья его оно бесконечно мало и ничтожно. Пришлось во что бы то ни стало строить новое здание. Горький не остановился перед трудностью задачи и взялся выполнить ее. Результатом явились «Фома Гордеев» и «Трое». Перейдем к разбору этих двух самых замечательных произведений Горького, где замечается резкий поворот в мировоззрении нашего писателя.

III

В двух своих последних повестях, «Фома Гордеев» и «Трое», Горький является уже искателем того, кого он мог бы назвать хозяином жизни по справедливости. В обыденной, материальной жизни «хозяин» ее налицо; мы сталкиваемся с ним ежедневно и хорошо чувствуем результаты этих встреч. Хозяин жизни теперь – буржуа, во всех видах и проявлениях. Конечно, не этого «хозяина» разыскивает

²⁴ Рассказ называется «Супруги Орловы». *Примечание редакции «ИЖ».*

Горький; ему нужен другой, который не только ввиду политических условий был бы поставлен в хозяева, а в силу социальной, христианской справедливости. Конечно, не хозяйничество или, вернее, охальничество Петрухи Филимонова имеется тут в виду и вообще не фальсифицированный идеал босячества. Босяк был красив, про него можно было распевать звонкие, бодрые песни, босяка можно было выставить как легкую артиллерию, обстреливать ею размякшую интеллигенцию; но в «хозяева» жизни босяки не годятся, слишком не подобающая для них эта роль. По-видимому, это осознал сам увлекающийся автор Челкаша, Орлова и других типов и повернул фронт к Нилу в «Мещанах». Нужно, однако, сказать, что попытки решить нашу социальную задачу, сделанные в «Фоме Гордееве» и «Троих», гораздо интереснее решения ее в «Мещанах». Между этими попытками и прежними произведениями «босяцкого» периода находится еще «Мужик»; но его автор не закончил, преждевременно выпустив из своего кабинета, и о нем мы поэтому говорить не станем. Босяки нравились благодаря исключительной талантливости автора, благодаря тем великолепным описаниям, которыми сопровождается у него ход действия. Горький, например, чуть ли не первый русский беллетрист, который дал так много прекрасных описаний моря. Отрицательные стороны существования босяков поэтому не так бросались в глаза: солнце золотило их лохмотья, синева моря как бы примиряла с их уродством. Позднейшие же герои Горького вызывают уже симпатии; перед нами уже не приукрашенные люди, а настоящие, ищущие правды, добывающиеся путей к тому, чтобы сделаться «хозяевами» жизни. Этой симпатией объясняется, между прочим, и то, что «Трое», являющиеся вариацией «Фомы Гордеева», вызвали в публике увлечение, не уступавшее по силе увлечению первой попыткой Горького решить поставленную себе проблему. Интерес, возбужденный этими животрепещущими вопросами, был так силен, что с легким и быстрым решением их в «Мещанах» ни критика, ни публика не могли помириться. Новая драма Горького «На дне», судя по ее содержанию, переданному в газетах, дает новый фазис развития проблемы, поставленной себе Горьким. В ней он впервые отрекается от излишней идеализации босячества и этим раз навсегда кончает с теми увлекающимися своими поклонниками, которые хотели видеть в человеке из Lumpenproletariat'a созидателя новой жизни.

Герои обеих повестей, конструкция рассказа, характеристики, детали настолько одинаковы, что читать обе повести сразу значит испытать большое разочарование. В Фоме Гордееве нет ничего специфически купеческого, в Илье Лунове – ничего специфически рабочего. Оба они – люди не класса, а задачи. Их как бы подавляет задача, поставленная себе, настолько, что они теряют все классовые отличия своего мирозерцания. Оба типа удивительно абстрактны и сквозь реальные одежды их так и сквозит план автора. Горький до того заинтересовался своей проблемой, что повесть явилась для него психологической лабораторией, в которой он стал производить над своими героями разные эксперименты: сделал, например, Фому бедным, заставил его влюбиться не в Александру, а в Олимпиаду, заставил его

совершить убийство вместо того, чтобы потопить мужика и разбить барку; заставил говорить обличительную речь не на пароходе Колокова, а на вечеринке у Кирика и, наконец, сбросил его в припадке умоисступления с обрыва вместо того, чтобы трагически засадить его в сумасшедший дом. Казалось бы, что от таких пертурбаций человек должен был бы измениться, а нет. Он и красивый, и здоровый, и речи говорит те же, и ту же гражданскую злобу теми же словами изливает. Является он перед нами как старый приятель, и невольно читатель с неудовольствием спрашивает его: «К чему этот маскарад?» И читатель прав. Эксперименты – вещь прекрасная, но до тех пор, пока ученый проделывает их в своей лаборатории, а не выпускает в свет как якобы законченное исследование. Центральная фигура обеих повестей благодаря этой роли объекта психологических опытов и получилась крайне однообразная и деланная, зато во второстепенных персонажах много истинно жизненного и правдивого. Приемы автора довольно примитивны; для каждого героя у него есть в запасе немного черт, и он характеризует своих героев сильно, но однообразно, обводя контуры грубоватыми линиями в ущерб перспективе. Оттого, например, Маякин в «Фоме Гордееве» часто заслоняет Фому, Яков – Илью Лунева; оттого получается так много повторений, нравоучительных рацей на одну и ту же старенькую тему о том, что не все-де на свете благополучно, что есть люди счастливые, не заслужившие счастья, и наоборот. Когда они, рацей эти, встречаются нам впервые, мы еще несколько заинтересованы ими благодаря оригинальной их форме; но вскоре приедаются все эти поговорки, пословицы, прибаутки, ибо таится в них одна только старая, затасканная истина, которую только ленивый не трепал на своем веку. Сильная, грубая кисть, подходившая к резким, сплошь темным силуэтам босяков, оказалась бессильной там, где пришлось изобразить сложные общественные отношения, где пришлось разобраться в новой, усложненной жизни, столь непонятной даже для нас, современников ее. Читая бесконечные жалобы героев «Троих», под конец начинаешь задавать себе вопрос: когда же наконец ноющие эти люди скажут хоть одно «настоящее» слово, из которого было бы видно, что есть у них и душа, а не только ноющий зуб. Более того, начинает казаться, что они вовсе и не живут и не жили, что вся жизнь их фикция, что они существуют только для того, чтобы выдержать и воспитать в своем чреве эту ноющую повесть и однообразные вариации ее. Горький проводит свои немногочисленные *Leitmotiv*'ы через жизнь почти всех героев, и почти все они с большой охотой говорят о том, что интересует автора. Досаднее всего при этом, что многие детали, отдельные сцены написаны превосходно: и фигуры прекрасны, и тон, и обстановка – все сделано рукой мастера. Возьмите, например, первые главы повести «Трое» и «Фомы Гордеева», изображающие детство героев. В них столько правды, художественной и сильной, что вне повести они представляют лучшие страницы в нашей литературе, посвященные детям. Но вот постепенно вводится *Leitmotiv*, и типы блекнут: из черноволосых и белокурых головок с живыми глазенками вырастают большие головы резонеров, всегда готовых говорить на заданную

тему. К таким прекрасно нарисованным типам относится Маякин. Давно в нашей литературе не появлялось уже так талантливо очерченного купца; но как только этот купец начинает тянуть свою грубо намеченную проповедь хищнической морали, сразу становится тошнливо, ибо все эти богато услащенные прибаутками речи ни одной новой черточки не прибавляют к созданному типу.

Автор прибегает к таким ultra-реалистическим приемам, какие прямо не допустимы без ущерба художественности, и все это для более яркой характеристики своих абстрагированных героев. Описание зверств и издевательств над Машей, проделываемых ее мужем, носит чисто протокольный характер и читается с крайне неприятным чувством. Таким описаниям место в обвинительном акте, а не в художественном произведении. Мы не станем долее останавливаться на этих отрицательных сторонах последних произведений Горького. От них он мог бы избавиться только путем научного анализа своих типов, путем научного изучения среды, о которой пишет.

В одном из своих последних этюдов (о Леконте де Лиле) Брюнетьер с великолепным остроумием указывает на то, что романтизм не ладит с научными приемами, с методами научного исследования. Он приводит в виде примера Виктора Гюго, который при всей своей любви к научному балласту был все-таки очень далек от научной проверки своих типов, почему они и страдают преувеличениями, доходящими до геркулесовых столбов. Фантазия романтика, увлечение его известными проблемами поэтому должны обязательно находить себе сдерживающее начало в научном методе, иначе романтизм принимает уродливые формы, которые только благодаря своей причудливости нравятся, хотя очень ненадолго. Научная подкладка общественной психологии той среды, которую взялся изобразить Горький в обеих повестях, удержала бы автора во многих местах от утрировки выведенных им типов. Усложнение жизни ведет за собою усложнение чувств, мечтаний, вожделений. Все это вместе с социальными отношениями перепутывается в один психологический комок, и разобраться во всем этом чрезвычайно трудно без помощи научного знания, даже при наличии значительного художественного таланта. Брюнетьер поэтому безусловно прав, требуя внесения научных методов в область литературного творчества. Наука и искусство очень долго были в полном разладе, шли разными путями. Пора им вступить в союз, ибо настало время, когда усложнившаяся жизнь этого требует. Современный беллетрист обязан научно проверять создаваемые им типы, чтобы его произведения имели серьезное общественное значение, иначе стремление решать проблемы социологического порядка может привести художника к самым нелепым положениям.

IV

Несмотря на все сходство обеих повестей, читателю всегда ясно, что «Трое» написаны гораздо позже «Фомы Гордеева». Преемственность развития типа очевидна. Фома Гордеев останавливается перед самыми простыми явлениями жизни, как перед огромными препятст-

виями, которые нужно преодолеть, для чего требуются гигантские силы. Он останавливается перед каждой несправедливостью, перед каждой ошибкой жизни, в исступлении бьет себя кулаками в грудь и вопит, как раненый зверь, почти не давая себе отчета в своих поступках. Илья Лунев гораздо развитее Фомы и больше старается уже взглянуть в жизнь. У него меньше нелепых поступков, чем у Фомы, он умеет уже анализировать, хотя проделывает свои анализы очень примитивно. Илья Лунев близок уже к тому, чтобы сознательно, разумно вмешаться в «гущу жизни»; он не только стихийная сила вроде Фомы, он уже близок к тому «хозяину жизни», который вскоре должен был появиться в произведениях Горького. Писатель только потопился сковать новое звено, которое должно соединить стихийную силу недовольства и непонимания жизни Фомы с Нилом, уже понимающим жизнь и довольным ею. Этим связующим звеном является Павел Грачев. Из него впоследствии развился Нил, и нужно сознаться, что прообраз оказался несравненно более жизненным и правдивым. Павел Грачев выхвачен из жизни; вот почему он так интересен и животрепещущ, и вот почему, рисуя его, автор не мог сделать своей любимой операции сечения интеллигенции. Павел Грачев всецело обязан своим развитием интеллигентному кружку, в который он попал. Поэтический талант его вырос под теплым дыханием участливого отношения к нему развитых и тонко чувствующих людей. Павел спотыкается на своем пути, личное горе его очень тяжело, но он не свихнется, как Фома или Илья: святой огонь недовольства не сожжет его, а распалит только, разогреет его энергию, и он смело вступит в ряды «хозяев жизни», широко опростав себе место. В «Фоме Гордеева» интеллигенция является еще в незавидной роли полупьяного фельетониста-обличителя непорядков жизни; в повести «Трое» она уже распоряжается в жизни, дает новому человеку возможность нравственно одержать верх над Петрушками Филимоновыми. Автор еще туманно нарисовал людей, окружающих Грачева, а между тем они представляют светлое явление на фоне мрачной картины и нуждаются только в большем развитии. И гимназистка, и все окружающие, судя по восторженным описаниям Грачева, — такие чистые, светлые люди, что невольно хотелось бы увидеть их поближе, во весь рост, так сказать. Быть может, и жизнь тогда не показалась бы такой мрачной, какой она представлена у нашего автора.

Мы уже говорили, что «Трое» — шаг вперед сравнительно с «Фомой Гордеевым»; это не касается художественной стороны, потому что «Трое» слишком схематично написаны и в последнем отношении уступают «Фоме»: мы говорим об идейной стороне.

Когда вы кончаете читать «Фому Гордеева» и подводите героям его итог, то ясно видите, что пассив сильно превышает актив. Вы там совершенно не видите людей, которые, будучи смолоду честными, могли бы дальше жить также по-честному. С сумасшествием Фомы все доброе и хорошее рушится; перед вами картина душевной мерзости запустения. Вами неизбежно овладевает пессимистическое настроение. Кто придет на смену Фоме, кто возьмет на себя бремя разрешения загадки жизни, кто, став выше обывательского болота, сме-

ло всколыхнет его и задаст ряд дерзких вопросов, будоражащих сонливое и апатичное царство людей? В «Фоме Гордееве» таких продолжателей нет; с Фомой сходит со сцены все протестующее, ибо фельетонист Лунев при всей своей злобности никакого другого эффекта, кроме слов «здорово, собака, лаеся» не производит. В повести «Трое» есть уже Грачев, который сумеет иначе повести дело, непосильное еще для Лунева; он вооружен знаниями, у него есть опыт, накопленный годами тяжелой работы и испытаний. «Трое» не производят уже безотрадного впечатления; в этой повести уже слышится бодрая музыка жизни, хотя мелодия ее еще не ясна и часто заглушается минорными звуками.

Герои Горького гибнут, но они гибнут оттого, что одним своим умом хотят решить проблемы, над которыми человечество бьется так долго, веками. Они хотят сразу покончить с «проклятыми вопросами», которые их одолевают. Прежние герои Горького босяцкого периода его писательства решали все вопросы очень просто – туманом опьянения. Это было решение настолько же простое, насколько и нелепое. Герои его позднейшего периода творчества подходят к тем же вопросам уже вооруженные знаниями; они избегают того рокового положения, в котором гибнет человек, не рассчитавший своих сил. И в этом несомненный прогресс писателя в смысле его общественного значения.

Только что разобранные повести Горького невольно заставляют вспомнить и о другой повести, старой, давно написанной, но трактующей тот же сюжет с необыкновенной жизненной правдой. Мы говорим о повести Каронина «Снизу вверх». Там даже и действие начинается с описания жизни трех друзей, представителей деревенской молодежи. Михайло Лунин (и здесь есть свой Лунин), изумительно верно нарисованный Карониным тип, со всеми его шатаниями и поисками того, что дало бы ему возможность подняться снизу вверх, даже во многих деталях сходится с Ильей Луневым.

Фомич и его жена, дающие Михайле новые нравственные основы, вполне соответствуют гимназистке и ее кружку. Сам Михайло кончает не менее трагично, чем Лунев Горького. Но после прочтения этой повести у вас все-таки сохраняется бодрое впечатление, вам верится, что есть и остались еще такие Михайлы, которые неустанно будут стремиться к усовершенствованию жизни. В свое время [повесть] «Снизу вверх» приобрела автору большую популярность. Крайне характерна тут злобность молодого Лунина, та злобность, которая выдвигает человека вперед, не дает ему умереть затоптанным. В повести Каронина есть и кое-что неестественное, подсказанное настроением 70-х годов. Но, несмотря на это, каждая строка повести дышит живой правдой, которой, увы, гораздо меньше в последнем произведении Горького. Каронин очень расчетливо вывел в своей повести немного типов, не усложнил рассказа, тогда как Горький не сумел избежать соблазна нарисовать широкую, сложную бытовую картину, с которой не справилась его кисть.

Мы, конечно, не исчерпали здесь во всем объеме оба предпоследние произведения Горького; для этого потребовалось бы гораздо больше места и времени; но и из того, что мы сказали, необходимо

сделать вывод, что даже крупный современный беллетрист, берущийся за общественную психологию, не может обойтись без научного анализа тех явлений жизни, которые в общей сложности дают запутанный психологический узел.

В. Владимир

Вопросы общественной жизни, № 7, июнь, № 8, сент., 1902

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

I

Третье издание небольшого сборника рассказов молодого беллетриста Леонида Андреева показало нам, что мы имеем дело с широким успехом. Могут возникнуть вопросы: насколько прочен этот успех, насколько он серьезен и заслужен и как долго он продлится? Вопросы эти, несомненно, основательные, на которые, впрочем, в данное время, изобилующее массой курьезов, трудно дать вполне определенный ответ. Современная критика в лице талантливого публициста Н. Михайловского и гениального романиста гр. Л. Толстого высказала о молодом писателе резко противоположные взгляды. Михайловский предсказал Андрееву блестящую будущность; Толстой, напротив, отнесся к нему отрицательно, в особенности возмущался его рассказом «Бездна». Нам кажется, что на этот раз великий старик, безусловно, прав.

Восторженный взгляд Михайловского нас несколько удивляет. Ему бы следовало предупредить Макса Нордау и поместить нового писателя в ряды дегенератов, как сделал он это по следам знаменитого парадоксалиста со многими французскими декадентами. На этот раз, однако, этого не случилось, и г-н Андреев избавлен от необходимости доказывать, что предки его были людьми здоровыми и что он сам нормальный человек. Михайловский решительно заявил, что Андреев блестящий талант, и мы охотно верим его отзыву, хотя почему-то кой-кому этот отзыв и кажется излишне снисходительным. Например, автор прекрасной статьи об Андрееве в «La Revue» (№ 18, 1902 г.) г-н Савич пишет следующие язвительные строки: «Сборник в десять рассказов нового писателя имел счастье попасть в руки Михайловского в одну из минут его благодушного настроения. Знаменитый критик, который, по собственному признанию, никогда не отличался сдержанностью в своих оценках, пропел молодому писателю преувеличенную хвалебную песнь. Одобрения Михайловского было вполне достаточно, чтобы создать репутацию народившемуся таланту. Сборник Андреева стали раскупать нарасхват, и в короткое время потребовалось два издания его. Леонид Андреев, таким образом, сразу сделался знаменитостью».

Если огромным успехом Горького все были поражены и доискивались его основных причин, то причины успеха Андреева нам, пожалуй, ясны. Впрочем, мы не приписываем успех г-на Андреева исключительно отзыву Михайловского. Это не совсем соответствовало бы действительности. В гораздо большей степени он создан своеобразными требованиями и вкусами современной читающей публики.

Почти два десятилетия мы находимся в каком-то сумеречном состоянии: «сумерки» в литературе, сумерки в общественной жизни...

Антон Чехов создал «сумеречную» поэзию; целый ряд второстепенных писателей усиленно старался наводнить нашу литературу какими-то сумеречными, плаксивыми людьми. Это какой-то особый тип лишних людей. С лишними людьми мы знакомы уже очень давно; мы помним этих эпигонов когда-то сильного дворянства, растерявших свои силы именно тогда, когда надобно было заняться освобождением крестьян. Много лишних людей дали и разночинцы после крестьянской реформы. У этих людей ничего не было в прошлом, никаких ожиданий в будущем. Весь общественный строй равнодушно говорил им: «Не надо... не суйся», когда они предлагали свои услуги, свои свободные, ничем не занятые руки и головы. Вот уже два десятилетия, как эти лишние люди бродят в сумерках, не находя себе пристанища. За этот период времени сформировался новый класс – буржуазия. Сформировался он чисто по-русски, выделив снова целую массу лишних людей. Эти-то лишние люди уже не чета разночинцам: у них и аппетиты есть, и более или менее утонченные желания. Эти люди жаждут заманчивой сказки, которая избавила бы их от кошмара серых сумерек. Все эти лишние люди не находят себе никакого умственного удовлетворения, никакой душевной, животворящей, активной жизни. Они поэтому постоянно ноют и тянут унылую песню о бессодержательности и бессмысленности нашего существования. Впрочем, эти песни искусно варьируются. Иногда из уст лишних людей вы услышите и победные ноты. Но это они подделываются под старую песнь победителей, желая подбодрить и себя, и других. Это все-таки не боевой звон мечей, а жалобный стон кандалов. Таких ненужных людей, изнервничавшихся, издерганных неодолимой работой, и изображает г-н Андреев. Типы Андреева в огромном большинстве случаев абстрактны. Автор ставит своих героев в то или иное положение, комбинирует их, заставляет совершать нужные ему преступления (и ни одного благородного поступка, ибо абстрактно – лишние люди, *apud und für sich*²⁵, не способны к активному добру), словом, возится с ними, как с марионетками, лишая совершенно житейской плоти. Те реалистические подробности и аксессуары, которыми художник окружает этих героев, в счет не идут, ибо они только подробности, не больше, внесенные для того, чтобы заставить читателя поверить в действительное существование подобных абстрактных персонажей. Итак, лишние люди г-на Андреева будто бы живут, совершают разные поступки, чтобы показать свою обнаженную абстракцией натуру вне той житейской обстановки, которая заставила бы нас отвернуться от них. За эту-то абстракцию, за это оголение чувств, помыслов и желаний лишний человек и благодарен г-ну Андрееву.

Вот в чем разгадка симпатий новой формации лишних людей к героям Андреева. Никто из них в действительности не насиловал любимой девушки, как это делает студент Немовецкий в «Бездне», но у каждого из них было «немеркнувшее представление узкой полоски

²⁵ В себе и для себя (нем.).

белых юбок и стройной ноги». Поверьте, однако, что в иной, более соответствующей жизни обстановке не раз уже из этих «немеркнущих представлений» выходили очень скверные вещи. На «Бездне» лучше всего видно, как опасно это обнажение чувств, это лишение человеческого нутра житейских покровов. «Бездна» притом написана, как и все прочие рассказы Андреева, без всякого подъема, без душевной теплоты, необычайно холодно и объективно и, как мы уже говорили, абстрактно. Человек ежедневно оскорбляет своих ближних похотливыми желаниями, и они проходят безнаказанно только потому, что не всплыли наружу во всей полноте. Само чтение «Бездны» способно невольно вызывать целый ряд скрытых желаний и дурно подействовать на развращенное воображение. Автор, вероятно, не думал, что его рассказ произведет такое впечатление; он, по-видимому, не подозревал, что всякий лишний человек, покопавшись в своей душе, скажет: «Это могло бы случиться и со мной». А между тем это так. Объективный тон автора, при котором самому читателю приходится быть судьей выведенных героев, вызывает какое-то нравственное недоумение, опасное для неустановившихся натур.

II

Объективный реализм молодого писателя, вкуче с его стремлением обнажать пороки, абстрагировать их и, таким образом, лишать отталкивающей житейской оболочки, чрезвычайно опасен и вызывает наружу то, что раньше лишние люди не решались выволакивать на свет Божий. Вот почему, в общем, автор встретил у некоторой части публики такой радушный прием. Но, кроме того, немало содействовала успеху автора и его писательская манера, благодаря которой г-на Андреева нужно признать эклектиком чистейшей воды. На нем отразились самые разнообразные влияния, и это легко установить при чтении его произведений. Мы не станем расчленять его рассказов, чтобы шаг за шагом отмечать эти посторонние влияния. В этом, пожалуй, и нет особенной надобности. Нам важно теперь указать только на общие черты этого эклектизма. Больше всего автор, несомненно, находится под влиянием Метерлинка. Последний также сильно абстрагировал жизнь, сводил ее к элементарным чувствам и экспериментировал, связывая обнаженные души людей невидимыми, тоненькими нитями. Метерлинк был необычайно правдив в этой операции обнажения и упрощения чувств; он весьма осмотрительно проделывал эти эксперименты в фантастической обстановке и, что важнее всего, брал объектом своих поэтических экскурсий не только лишних людей, но и положительные фигуры, с хорошими, бодрыми и сильными чувствами. Таким образом, в каждой картине его, помимо прожорливых королей и королев вроде Синей Бороды, есть и светлые образы, как Селизетта и Аглавена, Меллисанда и др.

У Метерлинка, несмотря на весь ужас опрошенных чувств, бьется бодрый пульс жизненного духа добрых начал; несмотря на то, что принцессы у него гибнут в подземельях, несмотря на то, что невидимая злая королева пожирает принцев, — вы чувствуете все-таки, что

дух борьбы витает над ними; вы понимаете, что этот дух только временно терпит поражение. И действительно, этот живой дух борьбы одерживает верх в «Синей Бороде», он звучит великолепным гимном Аглавене и Селизетте и в «Монне Ванне». Леонид Андреев как истый потомок Достоевского намеренно удаляет из своих произведений лучезарную, жизнерадостную сторону, он полон мрачности; его духовные глаза могут созерцать только зло. Вот второй источник эклектизма г-на Андреева. У Достоевского молодой писатель заимствовал жестокую, почти сладострастную в своей жестокости, манеру мучить читателя тяжелыми, тягучими картинами изнанки жизни. Но где взять глубину Достоевского? Наконец, третий писатель, оказывающий огромное влияние на нашего автора, – это Антон Чехов. У Антона Чехова г-н Андреев взял его манеру очень подробно описывать обстановку, почти фотографировать ее и притом останавливаться на случайных темах, так хорошо гармонирующих с полными простора описаниями Антона Чехова, но плохо гармонирующих с причудливыми, вычурными описаниями нашего автора. Декаданс, несомненно, повлиял на г-на Андреева в формировании и его языка. Возьмите эти вычурные эпитеты, сравнения, метафоры, созданные по рецепту доморощенного декаданса, и вы увидите в них совершенно явственное желание во что бы то ни стало быть оригинальным. Абстрагированный лишний человек, безусловно, скучен, если не окружать его известными атрибутами жизни, хотя, как мы уже говорили, более всего для этого подходит фантастическая обстановка, описание при помощи символов. От скуки спасает в этом случае и поэзия. Всем этим широко пользуется Метерлинк, и благодаря таким средствам его типы изумительно интересны, жизненны и красивы.

Публике эклектизм Андреева пришелся по душе; он понятен ей, он не шокирует ее своею грубою оригинальностью, как у Горького; ей более по плечу старые формы. Сильный импрессионизм Горького увлек молодую, передовую часть общества. Лишние люди, хотя и находили в горьковских героях много для себя утешительного материала, все-таки как-то инстинктивно сторонились от беспокойных речей энергичного романтика. Они не могли еще разобраться в них; им тогда казалось, что боевые речи Горького разразятся сейчас громом, который заставит содрогнуться всех чувствующих себя «слугами, а не господами» жизни. Они еще не успели оценить по достоинству модернизированный, импрессионистский характер произведений Горького и побаивались его.

Объективизм Андреева располагает к себе спокойные, уравновешенные натуры. Когда писатель не проявляет беспокойной наклонности к нападению на вас, на ваши пороки – вы начинаете смотреть и на него добродушно-спокойно. В наше время, когда значительная часть литературы разменялась на стили, особый стиль Андреева, хотя бы с заимствованной манерой писать, должен иметь успех.

Его рассказы «Кусака», «Жили-были» и прочие служат ясным доказательством справедливости наших замечаний. За исключением некоторых вещей, написанных в реалистическом направлении, произведения Андреева носят явный отпечаток декаданса, не того дека-

данса, который, вдохнув новые силы в реализм, дал ему новые формы и образы, а того, который, разменявшись на мелкую, холодную манеру оригинальничания, пошел гулять по русской земле рядом с промышленным декадансом галантерейных вещей. Последнее произведение г-на Андреева – «Мысль» подтверждает наши слова. На нем и других рассказах мы и остановимся в следующей статье.

(Продолжение следует)

В. Владимиров

Вопросы общественной жизни, № 9, ноябрь 1902

НАБРОСКИ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ. XVIII

В лице Чехова умер человек, сыгравший крупную историческую роль в общественном и гражданском развитии России. Это, впрочем, не все понимали, и не все и теперь согласятся. Его часто упрекали именно за то, что он будто бы ничего не давал для положительной жизни, вперед не двигал и даже назад не толкал. Сетовали, что он только попусту огорчает публику, вгоняет в слезы, а пути не указывает. Один господин (правда, уже давно) написал даже целое дознание под заглавием: «Есть ли у г-на Чехова идеалы?»²⁶ Я, впрочем, этого произведения читать не стал и не знаю, оказались ли, по данным дознания, налицо признаки идеала или нет. Но заглавие запомнил как типичное доказательство той печальной истины, что прошлое поколение, в массе, подходило к Чехову совсем не с той стороны, с которой надо было, т. е. совершенно не поняло его, не заметило и не оценило его громадного исторического значения. Было бы жаль, если бы теперь и мы, которым досталась скорбь пережить его, забыли признать его роль в духовном повороте, переживаемом Россией, и на его могиле низко поклониться не только праху поэта, но и памяти учителя.

Чтобы оценить эту гражданскую заслугу Чехова, надо хорошенько взглянуть в лицо той эпохи, которой он служил: что это была за эпоха, чего ей не доставало и какие нужны были ей пророки. Взглянуть нетрудно: эпоху эту мы знаем и помним, ибо героями ее были если не мы сами, то даже не отцы наши, а просто наши старшие братья. Дело было только лет десять-двенадцать назад, не больше. Время было совершенно бесцветное и безлюдное, да другого и быть не могло, потому что это был результат того самого ряда поколений *qui ont eu le sort de gratter du papier au lieu d'agir*²⁷. Опять повторяю выражение здешней французской газеты, о котором упоминал в прошлой статье, и не раз еще его повторяю, потому что уж очень оно бьет в самую точку. Я бы только прибавил: марали бумагу и вообще занимались разговорами *au lieu d'agir*. Семьдесят пять лет разговоров – и, кроме коротенького перерыва, никакой работы: вот история российской интеллигенции. Что работы не было, ибо и не могло быть, это все мы слишком хорошо знаем.

²⁶ Имеется в виду нашумевшая в свое время ст. А. М. Скабичевского «Есть ли у Чехова идеалы?» (1892). *Примечание редакции ПССЖ.*

²⁷ Которые марали бумагу вместо того, чтобы действовать (*фр.*).

Что было зато много разговоров – это ясно уже из отсутствия работы: где нельзя дело делать, там или умирают, или вкладывают всю энергию в разговоры. И был действительно целый потоп разговоров. Одна за другой налетали новые идеи, теории, системы; старое разрушалось, новое воздвигало на развалинах свои замки, но все это на словах, и замки были воздушные. Наяву оставалось все по-прежнему, ибо разговаривающие были сами по себе, а явь – сама по себе. В результате получалась непролазная бездна между идеями и практической жизнью. С одной стороны, это сильно облегчило «идеям» их полет: не имея никакой связи с земной жизнью, следовательно, и никаких уз, «идеи» помчались головокружительным вихрем; оттого и получилось то странное явление, что при сравнительной отсталости внешнего строя жизни интеллигентные русские во многих отношениях гораздо прогрессивнее расположены, чем французы, немцы или англичане, меньше их заражены мелкими предрассудками и вообще менее буржуазны. Но, с другой стороны, все это и было именно только «расположением духа», а в жизнь не претворялось – и оттого в душу интеллигента мало-помалу бессознательно всосалось глубокое убеждение в полной практической бесполезности всяких «идей». Впрочем, слово «убеждение» здесь не подходит. Напротив, в самые тяжелые мгновения интеллигент все-таки был «убежден», твердо и сознательно убежден, что рано или поздно, а «идеи» прорвутся в жизнь, и жил с этой верой, и умирал с нею. Но это была сознательная вера, построенная не столько на внутреннем инстинкте предчувствия, сколько на неопровержимых свидетельствах мировой истории, которая всегда и всюду в конце концов давала победу «идеям». А *внутри* было нечто другое: внутри души интеллигента жила бессознательная *привычка* к пропасти, лежавшей между «идеями» и практикой: эту привычку он всосал с молоком матери, потому что и отец его, и дед состарились и умерли на посту разговоров *au lieu d'agir*. Психика нескольких поколений была дрессирована бездельем – и эта дрессировка могла привести только к одному результату и действительно привела: к упадку энергии. То поколение, с которым воспитался Чехов, было уже отмечено полной атрофией энергии, клеймом безотрадной вялости. Оно родилось с опущенными руками и, родившись, стало скучать. И оно, конечно, не могло не предвидеть, в конце концов, неизбежной победы «идей», но это была холодная, жидкая уверенность, а не пламенная вера, способная придать и удесятерить силу. И понятно: когда и дед, и отец верили в те же самые вещи и ровно ничего из этой веры не вышло, то уже внуку трудно сохранить энтузиазм. Энтузиазм, по существу своему, есть нечто молниеподобное – яркое, но мгновенное: перевести его в хроническую форму, вроде насморка, чтобы держался и зимой, и летом, невозможно. Поколение Чехова не знало энтузиазма, порыва, импульса и, когда встречало энтузиаста, не могло удержаться от насмешливой улыбки и даже как бы конфузилось за чужую наивность. Никогда еще не было более исковерканного поколения в России, и да не повторится.

Такова была эпоха. Чего ей недоставало? Энергии, способности к энтузиазму и порыву. Какие пророки были ей нужны? Пророки энергии, энтузиазма и порыва. Но для того чтобы они, придя, могли не

вотще, а наверняка и плодотворно сеять семена оживления, надо было еще подготовить почву. Толпа инстинктивно чуяла, что чего-то важного ей недостает, и смутно чего-то ждала, но ожидание было смутное, невыясненное, несконцентрированное, и в этом нестройном гуле еще легко мог бы затеряться бесследно призыв к новой жизни. Надо было сосредоточить настроение растерянной массы вокруг главной и основной нужды момента, а главная нужда эпохи безвольных нытиков была бодрость и энергия. Тогда и возник Чехов. С того дня, как он впервые нашел себя самого, до мгновения кончины – его песня была сплошным молением о бодрости, о силе, о полете и порыве. Он ни о чем никогда не говорил, кроме нашей серой жизни, серой и унылой насквозь от «оврагов» до вершин, но об этой жизни он умел говорить так просто, задушевно и вместе с тем так чародейски искусно, что нам сразу выяснялся главный ее фон и тон – заунывный тон:

*Безрадостной жизни, лишенной желаний и цели, –
Унылой, как ливень, – как вой леденящей метели.
В степи, где не видно дороги...*

И становилось понятно, что так больше жить нельзя, что такая жизнь – не жизнь и такие люди – не люди, а нужна жизнь яркая и творческая и люди для нее сильные, способные увлекаться – добром или злом, на подвиг или на грех – лишь бы увлекаться, отдаваться целиком, всей глубиной порыва, до самого дна души. Чем больше мы слушали Чехова, тем яснее становилось, о чем мы тоскуем: мы, бесильные, тосковали о силе. Сильная личность стала нашим идолом, как в рассказе Чехова «Воры», где серый писарек или, не помню, фельдшер завистливо любителю на яркую жизнь конокрадов, – мы тоже почуяли, что в иные минуты даже грешная сила лучше праведной дряблости. Так путнику, томящемуся жаждой в пустыне, грезится вода, вода, вода, и под конец уж он мечтает о том, какое это счастье утонуть, утонуть и захлебнуться насмерть, но в воде, холодной и обильной воде. К силе тянуло нас, как к воде изнемогшего от жажды.

Почва была готова, настроение сконцентрировано, ожидание сосредоточено – пришла пора зазвучать призыву, и призыв зазвучал. Произнес его не Чехов: эта задача пала на долю другому таланту. Чехов истолковал усталому поколению его заветную думу, научил его устремить все взоры в одну точку горизонта. М. Горький пришел и в этой точке, словно в волшебном фонаре, рассыпал перед нами те именно образы, которых мы ждали, по которым скучали, – образы цельной силы и глубокого порыва. Правдиво ли списал он эти образы с реальной жизни – что за дело! Правда, разные люди – вроде того господина, что сочинил дознание об идеалах Чехова, – не раз пытались углубиться в вопрос о том, является ли М. Горький точным бытописателем босяков или не точным, но вопрос это был совершенно праздный, потому что не в босяках было дело и даже, может быть, и босяков-то никаких у Горького не было. Он явился просто сказочником – пришел в надлежащую минуту рассказать нам сказку о том, о чем мы давно мечтали; и так как действие сказки всегда совершается далеко, в неведомой стране, за тридевять зе-

мель – он и перенес свои сказки в таинственное царство босой команды – просто потому, что нам оно не знакомо и о нем еще можно рассказывать красивые небылицы. Но в этих небылицах и лежал секрет обаяния – эти-то небылицы и сослужили российской интеллигенции великую решительную службу: яркими чертами обрисовали то, чего ей не доставало и к чему ее томительно влекло, и завершили, и закрепили ее духовное перерождение. Древние греки, говорят, окружали прекрасными статуями женщину, в себе носившую дитя, чтобы она любовалась их стройными телами и родила стройного ребенка. В трудный переходный момент, когда Россия, быть может, готовилась к родам новой жизни, М. Горький чаровал ее картинами яркой неукротимой силы – чтобы назревающее поколение с зарей нового столетия вошло в жизнь энергичным и сильным. В этом отношении совершенно неисчислима заслуга этого таланта и завидна его судьба, потому что редко удавалось человеку настолько вовремя прийти, найти так удачно и метко то именно слово, которого ждет эпоха, окрасить цветом своей личности целый исторический поворот и поистине, хоть на час, стать вождем поколения и властителем его дум. С этой точки зрения само собой напрашивается сравнение с недавно умершим Теодором Герцлем, предводителем сионистов: люди, конечно, разного порядка, моменты – здесь и там – далеко не одинаковой важности, результаты не одинаковой ценности, но и один, и другой в промежуток немногих лет изумительно переродили настроение своих аудиторий, вдохнули в них как бы новую психику – и оба, когда вдумаясь, напоминают нам о том, что пора было бы критически пересмотреть наши узко-правоверные учения о ничтожестве личности в истории...

Роль, выпавшая в этом повороте Чехову, была не так ярка, но без Чехова не так быстро и не так полно совершился бы этот поворот. Его работа – работа собирателя русской печали, что накопилась целым рядом поколений, отлученных от живого дела, – работа его требовала больше вдумчивости, чуткости, любви, даже больше таланта, чтобы ни одной слезинки не забыть и все привести к одному знаменателю – к тоске о человеке-соколе, способном желать и дерзнуть. Если теперь интереснее стало жить, чем было десять лет тому назад, если опять забродили надежды и встрепенулись новые силы – благодарность тому, кто подготовил миг пробуждения. На краю могилы он успел заметить это свершившееся пробуждение, и на палитре его засверкали были новые бодрые радостные искры, но теперь он умер, и без него утвердятся в жизни молодые всходы, которым суждено, быть может, осуществить то, о чем он каждой страницей, каждым словом тосковал. Жизнь их будет горяча и красива, как пламя; мы, нищие, ничего не можем пожелать этому назревающему поколению богачей, кроме одной радости: чтобы в неизбежные минуты усталости был у них такой же чуткий друг и задушевный утешитель, какого схоронили теперь их старшие братья.

Владимир Ж.

Русь, 4 июля 1904

Леонид Кацис
«РУССКАЯ ВЕСНА»
ВЛАДИМИРА ЖАБОТИНСКОГО

Публикуемые в этом номере «ИЖ» статьи Владимира (Зеэва) Жаботинского дают представление о нем как о публицисте и литературном критике первых годов XX столетия. Для читателей знаменитых «Фельетонов» этот аспект его деятельности исчерпывается ответом на статью К. Чуковского о евреях в русской литературе (1908) и заметками о «Чириковском инциденте» (1909). Но мы сейчас говорим о раннем периоде жизни и творчества будущего лидера сионистов, то есть до того, как, по словам М. Осоргина, «национальные еврейские дела украли Жаботинского у русской литературы».

Статьи, подписанные псевдонимом «В. Владимиров», до сих пор были неизвестны исследователям творчества Жаботинского и обнаружены нами в периодических изданиях 1901–1904 гг.

Вот что позднее он сам писал об этом времени:

Первые годы века тогда у нас назывались «весна» в смысле общественного и государственного пробуждения, а для моего поколения совпали также с личной весной в смысле подлинной двадцатилетней молодости.¹

И еще:

Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года. Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок «русского» писателя и фуражку рулевого сионистского корабля; но, скорее, у меня не было никакого твердого плана – я очень сомневаюсь вообще в том, что мне отпущена способность или хотя бы желание заранее определять свой путь. Но за меня решила судьба...²

Двадцатитрехлетнему фельетонисту «Одесских новостей», поэту, прозаику, драматургу и театральному рецензенту «с лицом подростка» пришлось бежать в Петербург после конфликта с полицейскими чинами в зале Городского театра, где у него было постоянное место, и не на галерке, среди студентов, а среди городской знати, в первых рядах партера.

А вот и другая примета времени:

Еще в одном смысле начинала портиться наша весна... Я забыл упомянуть об одной речи. Произнес ее второкурсник по имени Иванов; я его знал, иногда встречал и в еврейских домах – обыкновенный Ива-

¹ Жаботинский В. Пятеро. ПССЖ. Т. 1. С. 295.

² Повесть моих дней. Перевод с иврита Н. Бартмана // Жаботинский В. О железной стене. Минск: МЕТ, 2004. С. 496.

нов 7-й или 25-й, уютный, услужливый и незаметный, от которого никто никогда никакой прити не ожидал, меньше всего речей. <...>

– Позвольте, коллеги, нельзя нас обвинять во вражде к определенной нации, даже если эта нация не имеет отечества и потому, естественно, не воспринимает понятия «отечество» так, как мы, – и то еще не грех. Но другое дело, если эта нация является носителем идей, которые...»

Помню, я подивился, что в... исконном царстве единой и бесменной Марсельезы стали возможны такие тона, без аплодисментов, правда, но и без скандала. Я только не мог еще догадаться тогда, что, случись это годом позже, был бы уже и сочувственный отклик.³

«Обыкновенный Иванов 7-й» восходит к чеховскому: «Хоть ты и седьмой, а дурак». Но есть у Чехова другой Иванов, о котором Жаботинский напишет в 1909 году:

Чехов? Еврейские критики ужасно любят цитировать из «Моей жизни» мимоходом оброненную фразу, что библиотека провинциального городишки пустовала бы, если бы не девушки «и молодые евреи». Это глубоко трогает еврейских критиков, это им очень льстит, они в этом видят явную агитацию за беспроцентное допущение евреев к образованию. Добрый мы народ, и самая добрая наша черта – это что и малым довольны... По существу же был Чехов наблюдатель, не ведавший ни жалости, ни гнева и не любивший ничего, кроме увядающей красоты «вишневого сада»; поэтому еврейские фигуры, изредка попадающиеся в «Степи», «Перекасти-поле», «Иванове», написаны с обычным для этого художника правдивым безразличием. И с таким же правдивым безразличием нарисовал Чехов своего Иванова, одного из несчетных Ивановых, составляющих фонд русской интеллигенции, и с таким же правдивым безразличием засвидетельствовал, что Иванов, когда в дурном настроении, вполне способен обругать свою крещеную жену жидавкой. Но Чехов сам был во многих отношениях Ивановым, русским интеллигентом до мозга костей, и случилось и ему однажды выругаться по адресу жидавки. Тогда он написал свою «Тину». Это анекдот... настолько пошлый по сюжету, что и двух строк не хочется посвятить его передаче. Где это Чехову приснилось? Зачем это написалось? – Так. Прорвало Иванова, одного из несчетных Ивановых земли русской.⁴

Отсюда Иванов 7-й «Жалобной книги», и 25-й – романа «Пятеро», и «один из несчетных Ивановых» «Русской ласки». Отсюда же и Антон Павлович со своей «Тиной».

2 июля 1904 года умер Чехов, а 15-го убили фон Плеве, о реакции на убийство которого Жаботинский («Аноним») писал в эмигрантском «Освобождении» Петра Струве. Это позволяет датировать эпизод из «Пятеро», в котором, несомненно, отразилась обстановка времен смерти Чехова.

³ Жаботинский В. Пятеро. ПССЖ. Т. 1. С. 331.

⁴ Жаботинский В. Русская ласка // Фельетоны. СПб, 1913. С. 96–97.

Однако эссе-некролог, опубликованный Жаботинским в «Руси» Суворина-младшего, описывает как раз заслуги Чехова перед русской интеллигенцией, среди которых и адекватное описание того, что называлось тогда «чеховским настроением»:

...оттого и получилось то странное явление, что при сравнительной отсталости внешнего строя жизни интеллигентные русские во многих отношениях гораздо прогрессивнее расположены, чем французы, немцы или англичане, меньше их заражены мелкими предубеждениями и вообще менее буржуазны. Но, с другой стороны, все это и было именно только «расположением духа», а в жизнь не претворялось – и оттого в душу интеллигента мало-помалу бессознательно всосалось глубокое убеждение в полной практической бесполезности всяких «идей». Впрочем, слово «убеждение» здесь не подходит. Напротив, в самые тяжелые мгновения интеллигент все-таки был «убежден», твердо и сознательно убежден, что рано или поздно, а «идеи» прорвутся в жизнь, и жил с этой верой, и умирал с нею. Но это была сознательная вера, построенная не столько на внутреннем инстинкте предчувствия, сколько на неопровержимых свидетельствах мировой истории, которая всегда и всюду, в конце концов, давала победу «идеям».

Но мысленно Жаботинский, в полном соответствии с тем, что писал тридцать лет спустя в «Повести моих дней», был уже на границе русского и еврейского, революционного и сионистского. И статья памяти Чехова показывает это с поразительной точностью.

Описывая это «настроение», Жаботинский приводит без указания авторства стихи:

*Безрадостной жизни, лишенной желаний и цели, –
Унылой, как ливень, – как вой леденящей метели.
В степи, где не видно дороги...*

Так напечатано в «Руси». На самом деле – текст несколько иной:

*Поёт он о жизни во тьме, без желаний, без цели,
Унылой, как ливень, как вой леденящей метели
В степи, где не стало дороги ни вправо, ни влево...*

И это не русская лирика конца XIX века, столь уместная в статье о Чехове, а вариация перевода Жаботинского из «Сиротливой песни» Х.-Н. Бялика. Здесь, разумеется, не место анализировать разночтения в этих трех строках, однако перевод из Бялика приближен, как представляется, к лермонтовской «Думе» (1838). Впрочем, подобные мотивы есть и у Пушкина, и у Баратынского, и у Надсона.

Но Жаботинский не играет с читателем в прятки. В рассуждения о великом русском писателе, напечатанные буквально через день после его кончины, журналист включает имя почившего только вчера вождя сионизма Теодора Герцля! И это – как бы неуместное в статье о Чехове – упоминание Герцля свидетельствует об умонастроении вполне уже активного сиониста, работающего журналистом «Руси». Опубликованный в этой газете отклик на смерть Чехова можно назвать первой статьей Жаботинского, посвященной памяти Герцля.

Жаботинский оставил своим читателям и будущим исследователям немало загадок. Так, в апрельском номере «Еврейской жизни» за тот же 1904 год публикуется объявление о подписке на журнал «Вопросы общественной жизни» и алфавитный список авторов этого «популярно-научного, литературного, художественного и экономического» одесского издания. Там есть Жаботинский, Нордау, Герцль и еще полсотни имен. Если автор использует вымышленную фамилию, за нею в скобках указано: «псевдоним».

Журнал редкий, в справочниках русской периодики указаний на него не встретишь. В Российской государственной библиотеке нам удалось обнаружить десять выпусков⁵. Ни в одном в них нет имени Жаботинского. Но в каждом выпуске печатается некто В. Владимиров, которой отсутствует в списке авторов журнала «Вопросы общественной жизни». Ему принадлежат самые разные статьи – начиная с «Еврейских типов в английской литературе» и рецензии на французскую книгу русского социолога Якова Новикова «La Fédération de l'Europe»⁶ и кончая обширными статьями о творчестве М. Горького, Л. Андреева, о репертуаре драматических театров, о современном настроении в русской литературе и т. д.

В упомянутой статье о классике английской литературы Жаботинский отмечает «двойственную» точку зрения писателя:

В основе еврейства, – он [Вальтер Скотт в романе «Айвенго»] повторяет это много раз, – лежит много благородного и смелого, но предрассудки времени, унижения и оскорбления заглушают это благородство и заставляют древнего мужественного израильтянина превратиться в трусливого ростовщика. <...> Он [Вальтер Скотт] все-таки как бы боится ответственности перед своей совестью за отрицательную обрисовку еврейского народа. Он до того пропитан благоговением перед библейскими мудрецами, что чувствует исторический страх перед их потомками, и если ему приходится, уступая современности, рисовать Исаака жадным, трусливым, то, напротив, из Ревекки он делает почти идеальный тип, блестящий всеми добродетелями.

Анализ Жаботинского актуален и более чем век спустя – и не только по отношению к нееврейским авторам, пишущим о евреях диаспо-

⁵ Мы располагаем десятью выпусками «Вопросов общественной жизни» за 1901–1902 гг. Судя по рекламному объявлению, журнал выходил также в 1903-м и планировался к выходу в 1904-м. 11 апреля 1904 года А. М. Ремизов писал П. Е. Щеголеву, что читал перевод пьесы Пшибышевского «Снег» в «Вопросах общественной жизни» № 1, 2, 3 (см. Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву, ч. 2 (1903–1904). Публ. А. М. Грачевой // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1997 г. СПб., 2002. С. 197). Комментарий отмечает: «В библиографических указателях журнал “Вопросы общественной жизни” не указан» (с. 198. Примечание 2). Мы продолжим поиск недоступных пока номеров журнала с неизвестными текстами «В. Владимирова», в том числе с продолжением статьи о Леониде Андрееве.

⁶ Жаботинский пишет о Новикове и в «Одесских новостях», своей основной газете: см. *Altalena*. Вскользь. На клерикальные темы. 12.10.1901 и Вскользь. 20.09.1903 (соответственно: ПССЖ. Т. 2, кн. 1. С. 579–581 и Т. 3. С. 474–475).

ры, но и по отношению ко многим вполне современным израильским литераторам, обладающим не менее «двойственными» взглядами.

Философ и социолог Яков Новиков (1850–1912) был известен пацифистскими сочинениями, публиковавшимися на французском. Стал он и героем замечательного фельетона Власа Дорошевича «Конгресс в вертепе» об очередном конгрессе «сторонников мира» в Монако (1902). В цитатах, которые мы приведем, немаловажен номер больничного отделения, куда доставлен описанный журналистом самоубийца:

Принц Монакский любезно предложил «друзьям мира» собраться у него – «друзья мира» с восторгом приняли предложение.

И одиннадцатый международный конгресс мира соберётся 20 марта – нашего, 2 апреля – нового стиля в княжестве Монако.

Среди игроков и кокоток.

Люди будут защищать человеческую жизнь там, где случается по 400 самоубийств в год, где этим только и живут.

На земле, пропитанной человеческой кровью, они будут проповедовать: «Не убий!»

Именно на этом фоне – огромного количества самоубийц в княжестве, которое живет за счет игорного бизнеса, – проходит конгресс. А главным врачом по регистрации самоубийств игроков в Монако является доктор Колинъон, который и представляет страну в Европе.

Доктора Колинъона зовут при каждом самоубийстве в Монте-Карло. Он является, помогает или констатирует смерть.

Все 6,032 самоубийцы за 15 лет прошли через его руки.

И если вы видите этого сухого господина, с плотно сжатыми губами, с холодными и спокойными глазами, торопливо идущим в казино, вы можете быть уверены, что в подвальном этаже, как раз под самой игорной залой, дёргается в последних конвульсиях или лежит бездыханным самоубийца.

Странное впечатление произвёл на меня в первый раз этот человек, как только он вошёл в комнату.

Мне вспомнился фельдшер при мертвецкой в одной из московских больниц.

Один из моих приятелей удавился. Труп отвезли анатомировать – это было летом – в 6-е отделение больницы для чернорабочих.

Я вместе с родственниками отправился хлопотать о похоронах.

– Сию минуту! Сию минуту-с! Зашиваю! – со сладчайшей улыбкой сообщил мне фельдшер, приотворяя дверь анатомического зала.

Анатомировать только что кончили, и фельдшер «зашивал» труп.

– Пожалте! Готово!

На анатомическом столе лежало обнажённое жёлтое тело. Словно восковая фигура.

<...> фельдшер обратился ко мне:

– Сами хоронить будете? – лебезил он с заискивающей улыбкой.

– Да.

– Так уж нельзя ли-с, чтоб гробик в мою пользу! Мне уж оставьте!

– Какой гроб?

– А тот-с, полицейский-с, в котором их привезли. В своём хоронить будете, так что вам этот не нужен. А мы продаём подержанные гробики.

Такие лица бывают у людей, живущих на счёт чужого несчастья, питающихся около трупов.

Именно с этим анатомом из «Палаты № 6», названной в фельетоне «отделением», и сравнил патрона конгресса Якова Новикова король российской журналистики Влас Дорошевич.

К чести России надо добавить, что в этой комедии – или безнравственной или, в лучшем случае, просто неразумной – русское общество никакого участия не принимает.

Именно совсем никакого, потому что во всей России нашёлся всего один человек, который согласился поехать на конгресс мира в Монако.

<...> Г-н Яков Новиков из Одессы.

Или: г-н Жак де-Новиков, де-канатный де-фабрикант.

Личность высоко-анекдотическая, мужчина водевильный и международный.

Это – тот самый Жак де-Новиков, который несколько лет тому назад читал лекцию в Милане в театре «La Scala».

Лекцию, по поводу которой все миланские газеты в один голос заявили: «Может быть, это и очень хорошо. Но никто решительно не понял, что г-н Новиков хотел сказать. Пусть повторит еще раз».

Это – тот самый Жак де-Новиков, которого в Западной Европе считают «знаменитым ученым в России», а в России думают: «Он знаменит на Западе!»

Международное недоразумение. Небольшой колокол, повешенный на ветреном месте. Он звонит без умолку, но и без толку.

Учёные говорят: «Положим, в своих книгах этот канатный фабрикант, почему-то вообразивший себя ученым, повторяет зады, то, что уж давным-давно забыто! Но его очень читает публика!»

А публика в это время думает: «Положим, мы его не читаем – но зато, говорят, его ценят ученые».

В науке он, так сказать, живет по просроченной книжке, как можно жить по просроченному паспорту.

По недосмотру научных властей!

Он будет единственным представителем русского общества на этом конгрессе.

Другими словами, не будет никого.

Таков контекст статьи Жаботинского о Новикове в «Вопросах общественной жизни». Между тем журналиста, который издавался над международной известностью не пишущего по-русски Новикова, Жаботинский в рубрике «Вскользь» «Одесских новостей» от 12.10.1901 назвал «Хеврониусом», т. е. «свиньей-хавроньей», сидевшей, как известно, под дубом и т. д. Как бы это ни было смешно и в те годы, и сегодня, но Новиков номинировал кандидатов на Нобелевскую премию мира.

«В. Владимиров» упоминает в этой не такой уж безобидной статье некую «знаменитую русскую ноту». Речь идет о следующем:

...12 августа 1898 г. министр иностранных дел России пригласил к себе послов иностранных держав в Петербурге и вручил им текст обращения. Основной смысл этого документа четко выражен в первом абзаце: «Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений являются при настоящем положении вещей целью, к которой должны стремиться усилия всех правительств».⁷

Успеха эта действительно знаменитая нота не имела, но в историю идеи всеобщего разоружения вошла. Так же, как вошел в историю этого процесса и еще один человек – Мартенс⁸, цитата из которого есть в статье «В. Владимиров».

В нашем контексте важно, что в 1893–1894, 1900 и 1904 годах он выступал в качестве делегата российского правительства на Гаагской конференции, созванной Нидерландским правительством для определения основных принципов международного частного права.

Одной из величайших заслуг Ф. Ф. Мартенса было проведение по инициативе России Гаагских конференций мира (1899 и 1907), которые положили начало мировому процессу установления правил ведения войны и мирного урегулирования международных споров.

За свои заслуги в сфере гуманитарного права, а также за участие в качестве посредника в различного рода международных конфликтах в период с 1901 по 1908 г. Мартенс номинировался на Нобелевскую премию мира; номинатором был среди прочих и Яков Новиков.

Факты эти дают возможность увидеть период становления уже политических и даже пацифистских взглядов Жаботинского, которого израильские «борцы за мир» пытаются представить милитаристом и человеконенавистником.

Кажется, что изложение далеко ушло от литературы. Но это не так. Ведь и политическая полемика велась упомянутым Дорошевичем тоже с намеками на «Палату» Чехова. Да и о Герцле писал Жаботинский внутри статьи об авторе «Иванова» и «Тины». Все это лишний раз свидетельствует о том, что на рубеже веков Чехов, Горький, Андреев, Конгрессы защитников мира и первые сионистские конгрессы в одинаковой степени задевали и политиков, и литераторов, и журналистов, и, судя по всему, читателей «Одесских новостей» и «Вопросов общественной жизни».

Вернемся же от проблем защиты мира и разоружения к русской литературе.

Исследователи (а теперь и читатели ПССЖ) для сравнения могут прочесть статью «Антон Чехов и Максим Горький. Импрессионизм в русской литературе».⁹ Это как бы начало книги, которую Жаботинский пишет на протяжении ряда лет: она могла бы называться «От Че-

⁷ Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802–2002. В 3 т. Т. 3. С. 199–200.

⁸ Мартенс Ф. Ф. (1845–1909) – член Совета Министерства иностранных дел России (с 1881 г.), вице-президент Европейского института международного права, член «Постоянной палаты третейского суда» в Гааге.

⁹ *Vladimiro Giabotinski. Anton Cechhof e Massimo Gorki: L'impressionismo nella letteratura russa // Nuova Antologia. Roma, 1901. Vol. 96.*

хова до Андреева». И это серьезный критик, печатающийся чуть ли не в самом эстетском итальянском журнале, а не просто блестящий корреспондент пусть даже хорошей, но провинциальной русской газеты.

Естественно предположить, что эти статьи 1901–1903 гг. могли бы вылиться в книгу, типа «От Чехова до наших дней», которую значительно позже выпустил младший друг и протеже Владимира Жаботинского Корней Чуковский. Он дописал и издал такую книгу. Жаботинский же по разным причинам не успел реализовать часть своих замыслов.

Тем не менее на страницах «Вопросов общественной жизни» и «Nuova Antologia» мы видим, как созревал талант Владимира Жаботинского, не только блестящего публициста, но и серьезного литературного критика, многие статьи которого обращены ко всему русскому обществу.

Серия статей такого типа за подписью В. В. была опубликована в петербургском журнале «Театральная Россия», где, между прочим, появилась и весьма критическая оценка драматургии Е. Чирикова, невольного героя «Чириковского инцидента». И статья эта подписана «В. Жаботинский». Он часто поступает подобным образом: в ряду псевдонимных статей вдруг возникает, словно дорожный знак, его полное имя. Заметим, кстати, что в 1905–1906 гг. в «Театральной России» активно печатался и Корней Чуковский.

Совершенно зрелые размышления о драматургии двадцатидвухлетнего Жаботинского мы видим и в другой его статье:

Казалось бы, естественный подбор должен был проявить здесь свою силу и очистить сцену от негодных пьес, оставив для воспроизведения создания таких великанов драматургии, как Ибсен, Гауптман, Метерлинк, Чехов и др. <...> К сожалению, этого нет: «естественный подбор» не действует.

<...> Какая причина заставляет сходить со сцены титанов драматургии и вытаскивает на подмостки бездарности, еле годные для какого-нибудь глухого городишки?

<...> Одной из причин следует признать лихорадочную быстроту, преувеличенно скорый темп нашей жизни. Благодаря этому чувствительность притупляется, глаз привыкает к быстрой смене явлений и с неудовольствием останавливается долго на чем-либо одном. Знаменитый невропатолог Бард объясняет это нервным перерождением; он сообщает, между прочим, крайне интересный для нас факт, что американцы требуют теперь от театра исключительно легкий репертуар: фарсы, легкие комедии, оперетки, обстановочные феерии и т. п. Их издерганные нервы не выносят долгого напряжения в одном и том же направлении. Театр принял в Америке чисто служебную роль, нечто вроде электрической машинки, которая рядом коротких и мягких токов должна подкрепить утомленный организм.

<...> Другой причиной служит, несомненно, положение уровня вкуса у публики. Благодаря демократизации искусства и науки в настоящее время и то, и другая захватывают в своем победоносном шествии все большие и большие массы людей; и то, и другая пере-

стают быть привилегией немногих; но рядом с этим отрадным явлением замечается и другое, довольно грустное, – это постепенное понижение среднего уровня понимания искусства и науки. Пройдет известное время, необходимое для первоначального накопления знания и выработки вкуса, общий уровень духовный подыметься, и мы опять вернемся к великим художникам, поймем их; но пока мы еще далеки от этого, и в этом весь трагизм современного искусства.

Поглядите, например, на то, как понял Ницше 2-н Трахтенберг, изобразивший современного ницшеанца в лице инженера Rogovicha в своей пьесе «Комета». <...> Инженер Rogovich свою волю считает выше всего, что может встретиться ей на пути; для него свое «я» – всемогуще, конечно, в пределах своих действий и поступков. Казалось бы, при таких данных, при такой анестезии к требованиям других «я» человек должен – либо сделаться пророком будущей морали и мощным разрушителем настоящей, гнилой, как это было с Ницше, либо если его склонности влекут злостное «я» ко злу, то должен сделаться чем-то вроде Антихриста. <...> Рецепт создания модернистского человека, как видите, очень прост. Бери взятки с подрядчиков, но пусть это делают не твои нечистые руки, а «воля»; кради любовь чистой девушки на свою потребу, но пусть опять-таки делает это не твоя развращенность, а все та же «воля». <...> Пора бы вернуться к простой жизни, в которой взятки берут – взяточники, живут за счет любовников – женщины не демонические, не «кометы», а обыкновенные кокетки, в которых, конечно, бывает и много человеческого, но ничего сверхчеловеческого...

И далее:

...публика устала уже слушать модернизированную самодельщину; она требует чего-либо здорового, выхваченного из живой, а не книжной действительности; ей захотелось увидеть свое родное, свой быт, свою, хотя и жалкую, но все-таки жизнь...¹⁰

Что же касается «Руси», то в конце 1905 года со страниц этой газеты навсегда исчезает «Владимир Ж.» и вместо него мы видим острейшие публикации «В. Владимиров» о деле Марии Спиридоновой, расстрелах на Московской железной дороге, Белостокском погроме и т. д. Но данные статьи и написанные по ним книги «В. Владимиров» – это уже 1906–1908 годы...

Жаботинский больше никогда не проявлял такой революционной активности, как в этот период. И неудивительно: шла первая русская революция, и до пьесы с красноречивым названием «Чужбина» и «Чириковского инцидента» было еще два-три года. Но и будучи «русским писателем», Жаботинский уже не примерял, а носил «фуражку рулевого сионистского корабля», что не мешало ему написать романы и воспоминания, без которых сегодня нет ни еврейской, ни русской литературы.

Москва, 2011

¹⁰ В. Владимиров. Последний драматический репертуар. Вопросы общественной жизни. № 5, март 1902.

Анатолий Юнисов

СТИХИ МОИ И МОИХ ПРЯТЕЛЕЙ

1. ПРИПОМНИВ ВСЁ

Припомнив всё, о чём напишу ниже, и опасаясь стать бытописателем, что ли, нашего московского житья-бытья в середине прошлого века, то есть в пятидесятых-шестидесятых годах, я хоть и не историк и не критик литературный, а, скажем, зубной врач – так сказать, не филолог, а стоматолог, взял-таки в руки перо, чтоб объяснить про себя и про приятелей своих, потому что сами о себе толком ничего не рассказывают.

Приятели мои – три в то время московских поэта: ровесники Миша, Саша и Сеня, соответственно, Михаил Роговский, Александр Лайко, Семён Гринберг – и с ними ещё, не знаю, как сказать, писатель не писатель, говорят, политолог, а на самом деле просто удивительный Мэлиб Агурский (Мелик). А я – Анатолий Ахметович Юнисов, что родился и чуть не пятьдесят лет прожил в Москве на Чистых прудах, а сейчас дотягиваю в Соединённых Штатах.

Я сам придумал написать про нас, земляков. Ведь вместе уже не соберёмся никогда – Саша и Сеня, первый в Берлине, второй в Иерусалиме, слишком для этого погружены в дела мирские и медицинские, Мелик – тому уж два десятка лет – лежит на иерусалимском холме Гиват-Шауль, кладбище тамошнем, а Миша лет на семь позже него опочил в омерзительном Париже.

Пишу на самом деле ещё и потому, что давно хотел этого. А не приступал до сего времени по многим причинам. Одна, например, – стыдился рассказывать о себе. Начнешь, кажется, о ком-либо, а на самом деле про себя. Говорят, по-другому и невозможно. Была у меня приятельница, Ора, Орлит звали. Так вот, она когда-то в Москве знакомицей была моих знакомцев. И попросил я написать про них, а рассказывала удивительно. Но сказала, что не станет о себе распространяться, других используя. А я решился.

А произошло, как и бывает, случайно. Написал однажды письмо в «Иерусалимский журнал» о покойном своем, смею думать, друге, Мише Роговском. И позабыл было, но позвонил некто и стал пенять мне, что я, мол, в том письме излишне резко о Генрихе Сапгире сказал. А я Генриха упрекнул всего лишь, что он Мишу не включил в свою поэтическую антологию. И еще спрашивал господин, откуда у меня фотография Генриха и других (про фотографию я упомянул в том письме), если тогда при фотографировании меня не было и быть не могло.

Он прав, господин, конечно, не след ссорить умерших, как замечательно сказал по похожему поводу один проницательный, а что до фотографии, то есть еще одна, на которой Сапгир с теми же спутниками, и тоже снимал Холин.

Сейчас объясню, чтоб не только господин помянутый, но и другие не гадали, откуда я всё знаю, как всеведущий Икс, Н. или Г-ов из какого-нибудь убогого русского романа. Во-первых, многое сам видел и слышал, а во-вторых, уезжая в 1980-м из России навсегда, Миша оставил мне часть своих бумаг, где были и упомянутые две фотографии. На них те самые персонажи, которые тогда, в 59-м году, отправились в Переделкино с Киевского вокзала в так называемый Дом творчества писателей к знакомым драматургам Заку и Кузнецову. Сейчас бы сказали: «поехали попить, почитать», то есть водку попить, стихи почитать. Почему к ним? Просто Исая Кузнецов приходился родным дядей Саше Лайко, одному из путешественников. Остальные же – это как раз Генрих Сапгир, Игорь Холин, Сеня Гринберг и Миша Роговский. Отложив в сторону Сапгира и Холина, получим в остатке искомую троицу.

Сделаю над собой усилие и постараюсь сначала только о них. Ну и о себе, конечно.

Мы жили в то время на Чистых прудах. Двое – Саша Лайко и Сеня Гринберг – по правую сторону бульвара, если смотреть от Кировского метро. Теперь эта станция так и называется: «Чистые пруды». Саша – в доме 10, почти напротив пруда, а Сеня – в доме 2, угловом с улицей Кирова, сейчас (и раньше) Мясницкой. Миша же Роговский на другой стороне бульвара в Большевицком переулке, близ Городского дома пионеров, что был тогда в переулке Стопани, бывшей, а может, и нынешней, Огородной слободе.

Все трое (и я тоже) курили сигареты «Дукат» из аккуратной рыжей пачки, стоившей в 55-м году 68 копеек, а потом в новых деньгах – семь. И было каждому полных семнадцать лет.

Ну что ещё? Двое семнадцатилетних, Саша и Сеня, только-только окончили мужскую, естественно, школу № 313 в Сверчковом переулке, в которой учился и я. В какую же школу ходил Миша, забыл напрочь.

Жизнь наша крутилась вокруг Чистопрудного бульвара, в начале которого ещё не торчал памятник Грибоедову, а тридцать девятый трамвай совершал круг не у метро, а возле пруда, где и была конечная его остановка у кинотеатра «Колизей».

Помню осенью железные плакатики с надписью «Берегись листопада», обращённые скорей к вагоновожатому «Аннушки», отнюдь не той, разлившей на Патриарших подсолнечное масло, а к водителю послевоенного трамвая с буквой «А» на голове первого вагона. «Аннушка» легко пронеслась мимо нас вдоль бульвара от Сретенки к Покровке, только ветки по стёклам хлестали.

Я думал по молодости, это меня предупреждают про листопад, но, признаюсь, и полвека спустя не ведаю, чем он мне или трамваям угрожал.

Совсем иное «Колизей»...

«Колизей» и вообще кинотеатры, если использовать животноводческие понятия, как бы помечали территорию. Они располагались на границах наших и чужих мест. Вот сад Баумана, Разгуляй и дальше Елоховка были чужими. Их отделял от нас кинотеатр «Спартак» в

конце улицы Чернышевского у Садового кольца. А «Форум» на Колхозной и даже «Уран» на Сретенке были не то что чужими, но и не совсем нашими. Наши – это «Аврора» на Покровке и, конечно, «Колизей» у самого пруда, красивый, с колоннами.

А начинался он, «Колизей», как и полагается, с очереди. Днем, когда все, в общем-то, на работе или учатся, очередь тем не менее состояла из бесформенных взрослых фигур и детворы в шапках-ушанках и капорах. С улицы, поднявшись по нескольким ступенькам полукругом, очередь слегка поворачивала налево и притормаживала у входа вниз к билетным кассам. Дальше пускали порциями. Вдоль расхаживал милиционер и следил за порядком. Если кто (чаще мальчишки) пробовал прошмыгнуть зайцем, мильтон поступал весьма просто – снимал с головы нарушителя шапку и широким жестом швырял ее далеко в сторону. Наблюдали с одобрением.

Приостановлюсь. Иначе окончательно окунуться в неторопливые воспоминания. Хотя, наверно, так, не спеша, обращая внимание на всякие мелочи, удастся понять, объяснить, как можно любить и писать стихи, живучи в московской коммунальной квартире с единственным туалетом на двадцать разнообразных, разнокалиберных персонажей. Теперь-то думаю, именно она, эта обстановка, стихам и благоприятствовала.

2. ПЕРЕДО МНОЙ ЛИСТОК

Передо мной листок из школьной тетрадки в клеточку. Под рисунком более или менее стандартной женской головки, нарисованной Сашей Лайко, нацарапано его же пером следующее:

*Тебе, красивой и незнакомой,
Я хочу сказать несколько слов:
Ах, как в жизни легко мы
Наломали до чёрта дров!*

*Я хотел быть большим и добрым,
Ты хотела бы жить и любить,
Но доски для гроба собраны –
Осталось лишь сколотить.*

А что? Вполне достойное стихотворение, шутовское, конечно, но не хуже любого так называемого обращения к незнакомке какого-нибудь поэта серебряного времени, или, как там говорится, серебряного века.

Ничего более серьезного из той поры у меня, к сожалению, не сохранилось.

Сам Саша верно заметил, что «в нашей компании стихи были в застолье и первым, и вторым блюдом, а также десертом». Можно подумать, сие, скажем, преувеличенное отношение к поэзии зародилось ещё в школе, в нашем классе. Но никаких совместных радений над стихами, даже отдалённо напоминающих Царскосельский лицей, не было. Так, кропали сами по себе.

Например, одноклассник наш, Володя Клячко, впоследствии Владимир Леви, известный советский писатель и психолог, или психолог и писатель, уже тогда занимался версификаторством, о чём и поведал мне во время совместной утренней беготни по улицам.

Или сосед по парте Ульянецкий, тоже Володя, как-то, заранее подготовившись, в стихах отвечал урок по физике. Первый куплет помню:

*Берём закрученную нить
Из тугоплавкого металла
И ток к ней будем подводить,
Чтоб электроны выпускала.*

И дальше в том же духе. Молодец!

А после школы, до того как осенью 55-го мы поднялись по Харитонию мимо районной поликлиники, туда, где открылся впервые молодёжный клуб «Факел», была исхожена, истоптана нами вся паутина Чистопрудных переулков, одни имена которых поныне доносятся из полувековой глубины, как некая музыка: Потаповский, Сверчков, Кривоколенный... Ещё и Телеграфный, и Армянский, где жили школьные наши приятели, Владик Магидсон и Толя Коряшев. Они вместе с ещё одним соучеником, Генмихом, то есть Геннадием Михайловичем Шимановым, будущим деятелем великорусского глубокомыслия, и составили вместе с нами кружок собеседников, слушателей, собутыльников, участников стихотворных подражаний, проб и ошибок.

И правда, именно с того времени чуть не каждое вспоминаемое имя пробуждает в памяти слова, строчки, стихи, что были тогда слагаемы, читаемы, обсуждаемы. Я еще напишу об этом.

Вот, к слову, Генмих Шиманов:

*Маленькие солнца катятся из моих глаз
И освещают мне бумагу,
На которой я пишу,
И немного согревают моё лицо.*

Или:

*Любимая, прикрой меня всего
Своими ресницами.*

Стихи, конечно. Хотя, по мне, русские стихи должны быть в рифму... Кстати, в первом стихотворении «мне» – лишнее слово.

И всё-таки я несколько приторможу на Чистых прудах.

Мы выходим из кафе «Ландыш» на углу Тургеневской площади и улицы Кирова. Что сказать? Усидели несколько шницелей под бутылку, с собой принесённую. Прогуляли то ли Сенькину стипендию, то ли книжки, сданные в букинистический. Помню скандал, что учинила Галина Константиновна, Сашина матушка. Она взяла с полки Клима Самгина почитать, а под жёлтой суперобложкой с надписью «Полное собрание сочинений Горького А. М.» обнаружила знаменитый учебник Ларичева «Алгебра» для восьмых или девярых классов.

Ну, хорошо. Вышли. Стоим. Разговариваем. Налево вниз уходит Кировская, туда, за дом Корбюзье к Красным воротам. Направо она

же бежит за Почтамт к старому «Детскому миру» у самой площади Дзержинского. Прямо – метро, бульвар, а там и пруд, наконец...

Куда ж нам плыть?

Сегодня какую московскую книжку ни возьмёшь или в интернете помотришь – Чистые пруды, Чистые пруды... тут тебе и Кривоколенный, и Телеграфный, и даже сад Милютина помянут, все земляками стали. А приглядишься, у них трамвай с Чистого Маросейку пересекает!

Что делать? И мы в ту сторону. Мимо метро, Харитоньевского переулка, Колизея, квартиры мемориальной Сергея Михалыча Эйзенштейна, певца, слуги и жертвы родимого режима. И через проезд темноватый, где в магазинчике кулинарном всегда в ассортименте бутерброды с частичком, любимая Сашина закуска, выплываем на Покровку, как раз у гастронома. В нём изумительно пахнет копчёными селёдками. Земляк и безобразник тотчас припомнит анекдот про слепого, что влачится мимо рыбного магазина и приветствует: «Здорово, бабоньки!»

Или нет, лучше пройдем насквозь двор дома 12 и через Потаповский переулок выйдем на ту же Покровку у самого кафе-подвальчика «Рыбка» и направо к Стеклянному. Рядом с ним некогда Илюша Бокштейн толковал Саше Лайко про «антисемитизм Достоевского в связи с личным сексуальным опытом Фёдора Михайловича».

Можно, конечно, и дальше, там тоже много интересного. Вот 46-е отделение милиции за старинными воротами, над коими выбито: «Свободенъ отъ постоя». Потом в конце Маросейки дом ЦК ВЛКСМ и памятник героям Плевны, у которого, говорят, собирались те, кого ныне величают голубыми.

Но мы не туда, мы сразу за Стеклянным магазином повернем налево под горку...

Это и есть Старосадский переулок с незабвенной Исторической читальней и не менее известной курилкой, в которой помимо царивших там Льва Петровича Барашкова и Свешникова (не помню имени) можно побеседовать, например, с заглянувшим туда самим Николаем Заболоцким. Что, кстати, однажды и приключилось, хотя разговор этот, трудно поверить, не оставил никакого впечатления, и внимали мы знаменитому поэту, как бы это послабее выразиться, вполне снисходительно.

Те же чувства владели нами и позже, при слушанье стихов Генриха Сапгира. И знаете почему? Мы все – и Саша Лайко, и Сеня Гринберг, и Миша Роговский, да и я тоже – полагали, что пишем лучше! Нет, не Заболоцкого, конечно, – его стихов мы тогда практически не ведали, а Сапгира, чтоб попасть к которому, достаточно было набрать номер телефона Д-3-71-47, а то и без звонка явиться в каморку на Грузинской вблизи Белорусского вокзала.

Действительно, можно ли было всерьёз относиться к разговорам о метрике, скажем, Иннокентия Анненского, это позже Генрих говорил, что был учителем нашим, но на самом деле мы уже несколько месяцев подряд читали и перечитывали в Исторической читальне «Полутораглазого стрельца» Бенедикта Лившица (и представляли

себя футуристами, что ли), а Харджиевский том «Неизданного Хлебникова» передавали из рук в руки и знали едва ль не наизусть.

Сапгиру тогда было под тридцать. Он где ни попадая декламировал триолеты из своей замечательной «Бабьей деревни» и еще несколько стихотворений, одно про пьяную вечеринку, которое приведу позже, и другое, про неандертальца, у которого «как щели, мутные глаза» и жрал который – «аж трещало за ушами». Старомодными казались нам эти стихи, но превосходного грассирующего Генрихова чтения забыть невозможно.

Суждения наши были простыми (и пустыми) до убогости, мол, коли мы сейчас не хуже Генриха, то какими же станем через десять лет в его возрасте! А Генрих написал за это время «Голоса» и «Псалмы» и обратился тем самым в Сапгира, которого помню и люблю.

Я только пунктиром наметил, в какой именно кастрюльке начинало вариться наше, как бы это сказать, стихосложение, стихописание, стихотворение, стихоговорение... А теперь опять спрошу, зачем я всё это пишу? В рифму получилось. Или, точнее, кому интересно, кто читать-то станет мои писания?

Родственники? Приятели? Участники описываемых событий, коли таковые событиями назвать можно, да и если сами участники живы?

Подумаю. То бишь мозгами пораскидываю.

Ну не довелось нам посетить мир в его минуты роковые! Ну не пригласили нас всеблагие погулять, попить с ними за одним столом!

Спокойно. Кавафиса тоже не пригласили. И Артюра Рембо. Боюсь сказать, но скажу: и Сашу Пушкина тоже!

Положа руку на сердце, насколько, к примеру, сонет «В зеленом кабаре» Рембо краше, нежели его же вопли (или так в переводе получается?) по поводу парижских буржуа. Вопли, стенания, похожие на Блоково голошенье: идите, идите, мол, на Урал и прочее...

Что же заставляло их голосить и надсаживаться? Ужели минуты роковые? Сплошное творчество и чудотворство! Может, так со всеблагими и разговаривают?

А в сонете Рембо широкоплечая девушка подаёт ему, голодному, ветчину на блюде и кружку пива. Всего-то!

Помолчу, а то не удержусь по поводу и других великих. Как-нибудь в иной раз. А пока продолжу, как и раньше – ни о чём. Кому захочется, прочтёт. Больше того, расскажу пару историй, в которых, в общем-то, ничего не происходит.

3. РАНЬШЕ Я УПОМЯНУЛ

Раньше я упомянул о Барашкове в Исторической читальне. О нём и о библиотеке этой вспоминают многие, и я тоже.

Да и как не помнить, коли именно в этой читальне, библиотеке, книгохранилище мы обретали, укладывали в свои девственные головы то, что порой описывают убогим и, конечно, неадекватным сему словом «эрудиция».

Однако не упущу сказать несколько слов и о другой библиотеке, Тургеневской. Она занимала почти целиком старинный особняк, расположенный посреди Тургеневской же площади, где в начале семидесятых, после непристойного разрушения, сноса самой библиотеки открылась очередная станция метро. В здании находилось ещё и наше 47-е отделение милиции. А трамваи пробегали перед фасадом через Кировскую к бульвару и позади читальни в сторону Сретенки.

От моего дома, Чистые пруды, 2, до Тургеневки была минута ходу, и я, понятно, туда записался и даже впервые прочёл там «Камень» Мандельштама, но не проникся, мало что понял, наверное. А все приятели мои предпочитали именно Историчку. Она и обширней, и богаче, да и обреталась в тишайшем московском уголке меж Маросейкой и Соляной. И я, в конце концов, её Тургеневке предпочёл.

Было время, когда в Историческую читальню на Старосадский мы ходили чуть не ежедневно, а уж ежевечерне точно, как на службу. А на самом деле просто читали книжки и, что не менее важно, болтали о прочитанном в упомянутой курилке.

Но не только, конечно, не только таким путём книги настигали нас. Нередко самым фантастическим образом.

Такая история, скажем. Я говорил, как хотелось нам походить на футуристов. А кофты-то жёлтой никакой не было. И купил я галстук-бабочку (продавались ведь!), нацепил, и вот сидим мы у Саши Лайко дома. И входит сосед Сашин по коммунальной квартире, Алик (повзрослому – Альберт) Кузмин. И видит Алик мой галстук, и говорит:

– Продай!

Я отказываюсь.

Он предлагает обмен – галстук на любую книгу из его, сказал, библиотеки.

Идём по коридору и заходим в комнату Алика. Родителей его нету дома, он один. На недлинной полке стоят прямо и косо два десятка разномастных томиков. Я смотрю на корешки и, чуть помедлив, вытаскиваю наружу не слишком расхристанную старую, с твёрдыми знаками и ятями, книжицу Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».

Сейчас я задумался, почему взял именно её. Ведь о Фрейде я тогда и не слыхивал. Может, название завлекательным показалось, а может, кроме этой книжки были сплошные Кавалеры Золотой Звезды?

И проходит год или меньше. И вот в клубе «Факел» знакомый наш Марин (упоминаю, хотя дальше о нём ничего, просто привет ему), так вот, Марин прямо загорелся, узнав, что у меня Фрейд есть. И попросил почитать. И взамен дал том Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Я и не знал до этого, что так поступают, взамен дают. А в томе том была знаменитая Шопенгауэрова «Метафизика половой любви». Но не из-за философии Шопенгауэра рассказываю.

Стоял я как-то в Исторической читальне в недлинной очереди, книги заказывать. А передо мной парень заказал эту самую «Метафизику половой любви». Так на требовании и написал. Советская наша библиотекарьша говорит павлиньим голосом:

– Мы такую литературу не выдаём!

Я подошёл к нему и тихо посоветовал:

– Закажи, – говорю, – «Мир как воля и представление», второй том, там как раз твоя метафизика...

Это известный способ был. Скажем, стенограмму суда над Бухариным-Рыковым заказать нельзя, а подшивки газет за 37-й либо 38-й годы – пожалуйста.

Именно эти так называемые мелочи и делали Историчку домашней и подвигают сейчас на воспоминания.

И о персонажах тоже. Хотя, например, о Льве Барашкове в курилке и вне её рассказывают, на мой вкус, несколько общо. Вот, Саша Лайко: «Лев был нашей энциклопедией: любая справка религиозного, философского, исторического или литературного характера выдавалась им моментально, как чек в кассе. Помню его блистательный экспромт на тему «по ту и эту сторону “ОБЭРЕУ” о житейской и творческой трагедии Николая Заболоцкого, когда мы обсуждали в курилке журнальную публикацию»¹...

Я тоже помню Льва Петровича в клубах сигаретного дыма, убеждающего, отвечающего, обсуждающего, спорящего, словом, непрерывно говорящего и закуривающего новую сигарету от огонька предыдущей. Но сомневаюсь, чтоб он мог рассуждать о неведомых нам обзёриутах.

Похоже и у Мелика Агурского. Он пишет, как тот же Саша Лайко на вечере в молодёжном клубе «Факел» в присутствии провоцирующего его стукача читает Мандельштама «Мы живём, под собою не чуя страны»². Но это неверно. Ни Саша, ни Мелик, никто из нас тогда не знал этих стихов. Саша прочёл «Волка», то есть «За гремучую доблесть грядущих веков». Я хорошо помню и тот случай, и, конечно, стихотворение. Всегда меня корбила в нём пижонская последняя строка: «И меня только равный убьёт». Строчка, по убогой содержательности своей соперничающая с Блоковой «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце – острый французский каблук!».

Равный убьёт! Кто этот равный? Я уж не говорю, что «живущий несравним». Убьёт любое ничтожество. И убило-таки!.. Накликал, дурачок! Могу, могу так говорить, ибо тот Осип Эмильич мне нынешнему в сыновья годится!

Ну ладно. Не стану же обсуждать, из-за чего неточности воспоминаний, с памятью ли что, или просто желание украсить, упростить прошлое. Но сказано: «Вы знаете, что было, а я вам расскажу, что было на самом деле».

Вот и расскажу про встречу с Барашковым, как я для себя описал её 5 января 1962 года, отступая от записи только в связи с грамматическими ошибками.

Мы встретились в Исторической читальне. Барашков там «хозяин». Он говорил с библиотечаршей и смеялся. Он предложил поговорить. И мы направились в курилку.

«Курилка, курилка», – повторяю я, как попугай. Что это за курилка?

А это курительная комната перед туалетами. Она была большая, метров двенадцать в длину, то есть от входа прямо из читального зала

¹ Александр Лайко. Илюша. Иерусалимский Журнал, № 10, 2002.

² Михаил Агурский. Пепел Клааса. Jerusalem, URA Publishers, 1996.

до окна во двор, и в ширину метра четыре. Света из окна было немного, и в курилке после обеда почти всегда горел электрический свет. К стене была прислонена широкая деревянная скамья со спинкой и подлокотниками, занимаемая обычно курящими посетительницами, нога на ногу.

В «часы пик» в комнате одновременно находилось, говорило и курило человек пятнадцать-двадцать. Повторю вслед за Сашей Лайко – «табачный дым в курилке стоял плотным недвижимым туманом», и добавлю, что дым этот прорывался в читальный зал, когда дверь отворялась. А отворялась она поминутно входящими и покидающими сей туманный форум, или вертеп – кому как. А вместе с дымом к читающим вливался бархатный рокот многих голосов, подчас перемешаемый добродушным хохотом.

Не замечать этого безобразия или, наоборот, удержаться и не принять в нём участия можно было, только если был магнит посылней. Этим магнитом бывали книги.

Не стану вспоминать и перечислять, это можно бесконечно, но как, например, забыть ослепительную поездку в погребальной карете мистера Леопольда Блума с мылом в кармане брюк. Помню, зачарованный, схватил я библиотечные бланки, рассыпанные на столе, и стал переписывать на них, нет, не стихи, что, в общем-то, понятно, а прозу, прозаический текст Джойса из «Интернациональной литературы». Эти листочки сохранились до сих пор.

«Ослепительную поездку Блума», – написал. Мне тогда так казалось.

А то, было, я просто задохнулся, прочтя некое стихотворение Хлебникова в томе его собрания. И вскочил, и выбежал из зала успокоиться. А лет через тридцать попытался вспомнить, найти эти стихи. Весь пятитомник пролистал. Не нашёл. Может, это было четверостишие из «Иранской песни»:

*И когда знамёна оптом
Пронесёт толпа, ликуя,
Я проснусь, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя.*

Может быть...

Итак, «Пойдём покурим», – сказал Барашков. И тут же заговорил о шизофрении. Почему-то он считал, что мне интересно содержание некоего труда профессора Ганнушкина.

Но, собственно, дело не в этом. В тот день я заказал «Одиссею» в изложении Коллинза. Он спросил – зачем. Я объяснил (позже и вам объясню).

Барашков стал рассуждать о символике Гомера, потом, без перехода, о символике «Слова о полку Игореве» и в связи с этим рассказал свой сон. Ему, сказал он, приснился сон, в точности совпадающий со сном Изяслава из «Слова...».

Я не помнил ни такого сна, ни самого Изяслава и подумал: «Надо будет посмотреть». И посмотрел позже. И оказалось, нет там никакого Изяслава, есть Святослав, и сон его не такой.

Дальше излагается сон Барашкова.

– Вообще говоря, мне снились два мистических сна, – сказал Барашков и рассказал первый.

Он, Барашков, идёт по земле и видит на своём пути глубокие круглые ямы. Перебираясь через одну из них, он заглядывает вниз и видит море и берег, по которому идёт пара людей. Барашков с трудом преодолевает яму, чуть не срывается в неё, но всё же удерживается с трудом и в страхе.

Второй сон Барашкова укладывается в одну фразу: из окон полуразрушенного здания, стоящего на берегу моря, выползают черные змеи.

При этом сон в «Слове о полку» якобы такой: полуразрушенный дом и «сани к морю идоша» – подлинное выражение Барашкова. По его словам, некий профессор Орлов, специалист по древнерусской литературе, выделяет из сочетания букв в тексте слово «сани», которое толкует, вернее, переводит как змеи.

Ничего похожего я позднее в «Слове» не нашёл. И едва удерживаюсь от соблазна привести место из «Слова», где «Святъславъ мутенъ сонъ виде...».

А там, в курилке, я сказал Барашкову, что ничего мистического в его снах нет, и если он хочет, то могу истолковать первый сон по Фрейдю, как Остап Бендер сон Хворобьева.

Я смеялся, но Барашков был серьёзен.

Я толковал так: «По Фрейдю, яма – известный женский символ, ты заглядываешь и видишь нечто красивое и приятное – берег моря, идущую пару людей, но боишься использовать возможность получить удовольствие и в страхе просыпаешься. Боязнь женщины – это комплекс неполноценности».

– Лев, – сказал я, – твой сон можно поместить в учебник по психоанализу!

Барашков смутился и стал говорить, что, мол, по Фрейдю половой акт связан с движением, например, змеи в расщелине скалы. Он не заметил, что сам истолковал свой второй сон.

Я расхохотался. Мы были молодыми и жестокими.

Агурский, которому я потом рассказал всё это, добавил, что пара людей на берегу моря объясняет страх Барашкова ещё и тем, что яма занята...

И что? А то, что именно такие, по большей части бессмысленные разговоры и велись в библиотечной курилке, да и за её пределами. Поэтому остерегусь слов и суждений давешних собеседников, а то нередко суждения эти, будучи торжественно извлечены из пучин памяти, годятся чуть ли не в эпиграфы к «Фаусту» или «Анне Карениной».

4. НЕ ЧАСТО СЛУЧАЕТСЯ

Не часто случается подтвердить, ну, не подтвердить, конечно, поддержать, скажем, воспоминания вовремя найденными бумажками. Особенно если бумажки эти (записки, письма) писаны разными людьми.

К сожалению, собственных моих записок сохранилось немного. Но вслед за разговором с Барашковым есть про то, как мы с Агурским посетили художника Васю Ситникова. Можно ли упустить оказию? Понятно, что отклоняюсь в сторону, но если не напишу, кто же про Васю Ситникова расскажет? К тому же прислал мне Саша Лайко письмо лет пятнадцать тому, а в письме тоже про Ситникова.

Вот что пишет Саша:

...Ты помнишь, конечно, что покойный Мелик, Мэлиб, он же потом и Михаил Агурский (на долгие нам годы, как говаривала моя бабушка) был удивительно памятьлив. Я читал его мемуары и просто диву давался его памяти на даты. Никогда бы не вспомнил, например, год нашего с ним соседства съёмными дачами на «55-м километре» по Ярославке, или год, когда закрыли «Факел», или же дату первой выставки художников-авангардистов где-то на Шоссе энтузиастов, а Мелик – пожалуйста.

Правда, зрительная моя память, может, и поострее: вижу чистые, с запахом живой смолы, деревенские дома, которые хозяева сдавали на лето; художницу Маврину и её мужа, замечательного графика Николая Кузьмина, у которых мы с Меликом смотрели картины с фантастическими мавринскими цветами. Ещё помню большое поле перед деревней, по которому сосредоточенный Агурский шагает скоро, чтоб успеть на электричку в Загорск; огромный песчаный обрыв над речкой Ворей; потом в небольшом зале выставки вижу огромную картину Плавинского, где на старых манускриптах следы сапог; Васю Ситникова, беседующего с нами (со мной, Меликом и Сеней Гринбергом), но не забывающего при этом запутывать и распутывать верёвочку быстрыми пальцами. С военных лет в страшной казанской психбольнице Вася, говорят, «косил» на диагноз. А с диагнозом в нашей самой свободной и счастливой державе художнику жить было куда как сподручней.

Мелик пишет, как встретил Ситникова в гастрономе на Сретенке, где Вася в драной рубаше и брюках жадно вгрызается в огромный кус буженины, говоря, что не ел несколько дней. Я часто с Меликом и без него бывал у Ситникова, когда он переехал на Лубянку и жил в окружении зданий, принадлежавших известной организации.

На мольберте в его тесной комнате очень долго, если не сказать всегда, стояла картина, на которой был изображён монастырь в снегопаде. У монастырских стен снуют горожане, стоит милиционер, а в углу полотна сам художник, Вася Ситников, сидит на снегу в рубище и босой.

– Я долго работаю над каждой снежинкой, – говорит мне Вася и продолжает тщательно выписывать медленный снег в небе над монастырём.

Сенька, как-то обозревая многочисленные Васины картины, однообразно изображавшие половой акт, сказал мне: «Знаешь, подозреваю, что Вася голых баб и не видывал».

– Сокровенный человек российский, – говорит Мелик, когда мы покидаем Ситникова, а Вася закрывает за нами дверь и прикрепляет записку: «Миня нет дома».

Это из Сашиного письма.

А теперь мой рассказ.

21 января (добавлю: 62-го года), в воскресенье, мы с Агурским пошли к Ситникову. Он живёт в переулке (в Костянском, что ли) между Сретенкой и Кировскими воротами. Дом очень странный, вернее, вход в дом. Лестница, по которой мы прошли, виданная мною разве что в итальянских неореалистических фильмах, старая и деревянная, идёт вдоль стены дома с наружной его стороны. Дверь в квартиру не заперта. На коммунальной кухне стоит чем-то озабоченный Василий Ситников и говорит неприветливо:

– Что ж ты не позвонил?

Это Агурскому. Я в стороне молчу.

На Ситникове прекрасный грубой вязки серый свитер. Мы знаем, он сам вяжет.

Ситников, хоть и не рад неожиданным гостям, всё же предлагает войти в комнату, но сначала мы должны почистить ботинки. Агурский в галошах, он снимает их и идёт первым. Мне приходится взять щетку, причём Ситников следит, чтоб я водил щёткой по подошвам.

Наконец, вхожу в крохотную прихожую. Вешалка, дверь в комнату, дверь ещё куда-то, натянутая проволока со слесарными инструментами: молотки, клещи, плоскогубцы, пилы, даже гвозди в пакете... Сам Ситников рядом подгоняет, чтоб быстрее раздевался.

Вступаю в комнату, сажусь рядом с Агурским. Ситников ненадолго покидает нас, и можно спокойно осмотреться.

Комната семи-восьми квадратных метров. Окно против входа. К стене у двери подвешен приёмник, «Филипс», кажется. Играет джаз. Импровизированная тахта на кирпичках и сиденья стульев покрыты чем-то меховым. Меж тахтой и стульями у противоположной стены сорок сантиметров свободного пола. На полу ковёр, на стене тоже ковры, всё вокруг мягкое, меховое... Над тахтой три женских портрета, напротив, над стульями, ещё женский портрет, очень общий, красивый, не с натуры, и незаконченная работа – монастырь, можно сказать, чересчур многоглавый. На полке гипсовая Нефертити, несколько книг, кисти в двух вазах, фотография самого Ситникова, полуголого, на берегу реки, ещё что-то, ещё что-то, ещё, ещё... Очень много вещей, очень тесно, но всё аккуратно, чисто и странно.

Воротился Ситников. Он принёс с кухни картошку. Нож при этом он держал в зубах. И принялся чистить картошку. И опять сказал, что нужно звонить заранее, что он вчера был на дне рождения, что ещё не завтракал, что если мы не торопимся, то можем подождать, но можем и уйти и прийти позже.

Мы предложили сходить за бутылкой.

– Я не пью, – сказал Ситников, – здоровье уже не позволяет.

Мы вышли курить на лестницу. Через минуту показался Ситников.

– Вот что, – сказал он, – коли пойдёте за водкой, купите хлеба, бородинского и белого, вы пейте, а я и так буду весёлый и хороший!

Вернулись с хлебом и водкой. Пили на круглой доске, которую Ситников положил всем троим на колени. Мы пили, а он рассуждал о правильном употреблении спиртного.

Ситников о том, как надо пить водку:

Надо выпить, а вот закусывать следует только минут через пятнадцать. Тогда водка успеет проникнуть в кровь и станет хорошо. А если питье заедать сразу, то в желудке образуется ненормальное месиво. Я понял это, внимательно рассматривая винегреты и прочие извержения неправильно пьющих людей, иными словами, пьяниц. При желании вы и сами можете в этом убедиться...

Мы слушали рассуждения Ситникова и пили так, как он советовал.

Затем Ситников высказал свои соображения о Сапгире и Холине, а также и о поэзии вообще. И, узнав, что я пишу, потребовал, чтоб я прочёл что-либо.

– Прочти «Одиссею», – сказал Агурский.

5. ТУТ Я ПРЕВУСЬ

Тут я превусь для пояснений.

Сначала об Агурском.

Правильно Саша перечислил его имена – Мелик, Мэлиб (то есть Маркс, Энгельс, Либкнехт) и Михаил.

Когда мы познакомились, это случилось в «Факеле» осенью пятидесяти пятого года, Мелик уж институт закончил и даже женат был, да и на пять лет был старше.

И казалось, пять лет – огромный срок. Он-то по возрасту мог бы назваться и стать нашим учителем. И, можно сказать, стал им, но таким, который сам ничего не знает, но учится, узнаёт, а как что узнает, нам и расскажет.

Оглядываясь на себя тогдашнего, тамошнего, не могу внятно объяснить, чем был ему любопытен. Мелик был весьма общителен. И среди множества знакомых, с которыми он моментально становился короток (так, Ситникову он говорил «Вася» и «ты»), попадались, знаю, такие, кто по положению, образованию, эрудиции, пониманию окружающего, по возрасту, в конце концов, должны были, казалось, интересоваться его несравненно больше нас.

Но все эти люди для него (и для нас, понятно), не подберу, как сказать, были внешней средой, что ли. А мы прилаживались.

Вот, кстати, случай. Зашёл Мелик ко мне (жил он недалеко, на Сретенке напротив «Урана», в Даевом переулке) и, дождавшись, когда мать моя, приготовив на столе чашки, сахар, сушки – всё для чайной, так сказать, церемонии, ушла на кухню за кипятком, достал из карманов специально купленные для последующего две чекушки перцовки (водка, кто помнит, кирпично-красного цвета).

Последующее и наступило после того, как мать внесла кипящий чайник:

– Пейте, пейте спокойно, не буду вам мешать!

Мы и пили. Спокойно. Перцовку из чайных чашек. И говорили, говорили.

О чём?

После сталинской зимы мы заново пооткрывали себе историю и литературу...

За пару лет незаметно пробежали, прошерстили кучу всего и всех, начав, допустим, с Державина и Карамзина, и уткнулись в Соловьёва и Леонтьева.

Розанов, Бердяев, Несмелов были ещё впереди.

И стихи понятные стали появляться. Помню начало Саши Лайко стихотворения:

*Ещё мерещится глупцам
желаемый исход дуэли –
Дантес отправлен к праотцам.
Он мёртв. Вы этого хотели?..*

И дальше по Владимиру Соловьёву, мол, не Дантес убил Пушкина, а сам Пушкин себя своим выстрелом в Дантеса.

Что сказать, литература оказалась совсем не такой, как в школе. Мы узнали, что было не только письмо Белинского к Гоголю, но и Гоголя к Белинскому, правда, неотправленное. И Гоголь не только разоблачал мерзости николаевской России, но и написал «Выбранные места из переписки с друзьями». В этих «Выбранных местах» мы и прочли, что «появление “Одиссеи” (в переводе Жуковского) произведёт эпоху» и «произведёт влияние как вообще на всех, так и отдельно на каждого».

Не след, однако, думать, что жизнь наша так и текла в мрачном исследовании всей этой белиберды. Нет, конечно, безумств и смешного хватало.

Рассказать ли, как мы, случаем, помогли Мелику собираться в командировку (он работал тогда в каком-то НИИ), как проводили на вокзал, как чемоданчик его до поезда донесли?

А в чемодан, Меликом заранее заботливо собранный, незаметно положили мясорубку, утюг электрический, гантели, несколько томов энциклопедии, словом, вчетвером, Саша, Миша, Сеня и я, передавая из рук в руки, Мелика не утруждая, донесли чемоданчик, поставили в купе и пожелали другу счастливого пути.

И ведь не обиделся и смеялся по возвращении!

Мэлиб, Мелик, друг наш незабвенный, друг сердечный, ситный, друг наш старший, мудрый и смешной!

Как лежитя тебе там, на солнечном холме в далёком Иерусалиме?

Вот и Гоголя вышеупомянутого открыл нам Мелик, и заразил меня этой монотонной «Одиссеей».

Помню, купил я тогда «Одиссею» в серой обложке из дерюжки, на которой был вытиснен синий корабль работы Андрея Гончарова, корабль из списка, что не дочитал когда-то Осип Мандельштам.

И я читал и не дочитал, и решил изложить Гомера, как мне казалось, менее скучными, чем у Жуковского, стихами. И начал, и вот как получилась моя «Одиссея»:

Песнь первая

*Всё это время Одиссей,
Со дня паденья Илиона,
Скитался вдалеке от дома.
Он видел множество людей
И чуть не столько же морей,
О жизни спутников заботясь
И, уж конечно, о своей.
Но чёрт их дёрнул
Гелиоса быков зарезать.
Лишь Улисс
Сумел спастись
И у Калипсо,
В глубоком гроте заточён,
Он ждал, когда по воле Зевса
В Итаку будет возвращён.
И Зевс поднялся.
Он сказал, на смерть Эгисфа намекая,
Что их, бессмертных, упрекают
В излишнем умноженьи зла.
Но это ложь!
Ведь сообщили
Эгисфу,
Что произойдёт,
Если решится на убийство.
А он решился, идиот!
Тут светлоокая Афина,
Что заменяет Зевсу сына,
Сказала, выслушав отца:
«Он сам себя обрёл на гибель,
Ну и пускай теперь погибнет!
Не это тяготит меня.
Вот что нам делать с Одиссеем?
Ты позабыл об Одиссее.
Тебе же жертвы совершая
Среди ахейских кораблей,
Не знал, что целых десять лет,
С тех пор как он разрушил Трою,
Скитаться будет по земле!»
«Не торопись, я всё устрою.
Я не забыл об Одиссее.
Всё дело в том, что Посейдон
На Одиссея негодуя
За ослепление Полифема,
Бушует, переполнен гнева,
Но скоро усмирится он»...*

И так далее, и так далее, и тому подобное... Понятно, четырех-
стопный ямб оказался не менее однообразен, чем гекзаметр, но я да-

же цифры, номерам стихов у Гомера соответствующие, ставил как в академическом издании.

Отрывки из своей «Одиссеи» я и прочитал Ситникову по совету Агурского. Прислушав, Вася сказал с важностью:

– Этот поэт будет широко известен.

После чтения Ситников стал показывать свои работы.

Сначала он поставил два живописных полотна, абсолютно одинаковых и с одинаковым, как он объяснил, названием – «Закат на болоте». Можно подумать, Кафка списал художника Титорелли в «Процессе» с Васи Ситникова. Потом Вася показал серию сексуальных рисунков, а Мелик, разглядывая их, шепнул мне, что, мол, такой показ – привилегия избранных. (Написав последние строчки и вспомнив, что упомянул Васино о себе мнение, я подумал: в конце концов, себя не похвалишь – ходишь как оплётанный!)

Дальше последовал рассказ Ситникова о том, как он повздорил с министром Михайловым на выставке в Манеже, о чём по Москве уже ходили слухи.

Рассказ Ситникова о споре с министром Михайловым на выставке живописи социалистических стран в Манеже

Я стоял в польском отделе и рассматривал рисунки Кулисевица. Министр культуры Михайлов оставил свою свиту и подошёл ко мне. По-видимому, он был наслышан о спорах «бородатых стилиз» у картин «абстрактивистов» и решил посмотреть и послушать. Я краем глаза заметил подходящего Михайлова.

Михайлов спросил:

– Вам нравится?

– Конечно.

– А что вам здесь нравится?

– То, что вам не нравится!

Разговор продолжался в таком же тоне. Михайлов был корректен, я кричал:

– Вам нравится Корин?

(Ситников, изогнувшись, изобразил, как он указал на портрет Кукрынских).

– Да.

– Ну так вали туда, не теряй времени!

На другой день Ситникова уволили с работы, и теперь он живёт на пенсию – 218 рублей. Для тех, кто помнит времена Брежнева, это 21 рубль 80 копеек.

6. ВЕРНУСЬ ЧУТЬ НАЗАД

Вернусь чуть назад. В пятидесятые годы. Удивительное было время, хотя все времена по-своему удивительные. Пелена, казалось, упала с глаз, и не только потому, что перестали быть детьми, но и из-за открывшихся злодейств, выглядевших невообразимыми.

Всё становилось простым, доступным, легко объяснимым, по существу будучи непростым и неоднозначным. Но разве способны мы были это понять?

Тут я в очередной раз дам волю своей болтливости и расскажу эпизод из наших семейных преданий.

Отца моего арестовали в 1938 году. Он жил тогда в той же коммунальной квартире на тех же Чистых прудах в четырнадцатиметровой комнате, в которой потом и я прожил почти полвека. После обыска отца вели по двору к «Марусе», так, известно, называли «эмку», М-1, легковушку чекистскую, и он обратился к соседу по нашей квартире, сидевшему у парадного на лавке:

– Фёдор Иванович, присмотрите за Маечкой.

Это он про мать мою сказал, беременную мною.

На что Фёдор Иванович отвечал:

– Иди, иди, контра!

Сколько раз с детских лет слышал я этот рассказ и сам рассказывал. И всегда после слов Фёдора Ивановича кто только не спешил выказать негодование. Всё и всем понятно было. И только много лет спустя, старым уже, я спросил себя: «А что еще Фёдор Иванович мог сказать и не оказаться на месте моего отца?!» Он потом долго жил в нашей квартире, большой молчаливый человек, и умер где-то в начале семидесятых.

Это как при встрече с Заболоцким не приходило в голову, что не нам – ему не о чем было разговаривать с юнцами из библиотечной курилки...

Однако назад, к «Факелу».

Клуб этот начал своё существование довольно бодро. Об его открытии оповестила газета «Московский комсомолец» в статье, начинающейся такой, пробуждающей ностальгические слёзы фразой: «Замечательные думы и мечты вызывают у советских юношей и девушек предстоящие в 1957 году Всесоюзный и VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов». Тем не менее в клубе ежевечерне собирались молодые люди не только из нашего Куйбышевского района (клуб считался районным), но со всей Москвы. Знакомства, бесконечные разговоры, чтения, споры словно вынырнули из-под воды и задышали.

Литературная секция клуба оказалась переполненной, причем каждый второй писал стихи.

Сейчас это кажется удивительным, но отношение ко всему, что там происходило, было вполне серьёзным. Например, надумали издавать журнал. Журнал «Факел». Настоящий. Типографским способом. Может, ГБ эту идею подкинула, чтоб узнать, что пишут? Ладно мы, вчерашние дети, но Чертков? Сергеев? Красовицкий? Ведь они действительно принесли стихи для первого номера и принимали участие в отборе материалов.

Помню, Красовицкий в пальто (он зимой ходил в пальто и без шапки) подошёл к столу, заваленному бумагами, и сказал:

– Ну, что вы копаетесь? Можно за полчаса отобрать.

Он взял первый попавшийся листок, прочёл про себя и со словами: «Это годится!» – отложил налево, затем: «А это нет», – и направо.

Не отрываясь, следил я за его действиями и, когда он взял страничку с моим стихотворением, весь напрягся.

– Пойдёт, – обронил Стас, и я вздохнул с облегчением...

Вы замечаете, что перед моим мысленным взором проходят всё больше люди пишущие, но как мало с тех пор нашёл я из того, что можно было бы назвать воспоминаниями о «Факеле». Всего в нескольких словах рассказывает о нём Генрих Сапгир в своей антологии³:

В середине 50-х в Москве, как предвестник оттепели, возник молодёжный клуб под названием «Факел». Руководил им замечательный человек – длинный с длинным лицом и носом Мелиб Агурский, впоследствии известный профессор. Вместе с Сашей Лайко и другими молодými поэтами мы устроили первое в жизни выступление перед аудиторией. Боялись КГБ, конечно. Мелиб надел черные очки (так, он думал, его не узнают) и эдакой носатой птицей смотрел из президиума. Саша читал юношеские, свежие стихи, очень московские, где были чердаки, крыши, коты и пестрое на веревках белье. Нечто в духе Заболоцкого, которого он тогда не знал. И с нами, лианозовцами, было что-то общее. Позже мы несколько раз выступали вместе...

И ещё:

Тоже воспоминание о клубе «Факел». Они были два друга – Саша и Сеня, Семён. И так и остались друзьями до седых волос, хотя жизнь их со временем, как говорится, разбросала. Александр эмигрировал в Германию и теперь живет в Берлине. А Семён – в Иерусалиме...

Подробнее пишет о «Факеле» Мелик Агурский. Вот что я выудил из книги его воспоминаний «Пепел Клааса».

Рассказ Мелика Агурского про клуб «Факел»

В августе (1955-го), когда я уже начал работать, по Москве расклеили афиши, сообщавшие о новом молодежном клубе. Я поспешил в этот клуб – «Факел» – в Большой Харитоньевский переулок. Там собралось множество молодежи. Я поинтересовался кружком эсперанто, которого не оказалось, но меня сразу втянул вихрь новых знакомств. Председателем клуба был Володя Шляпников. Среди учредителей клуба – Ева Гилинская, Инна Рубенчик, Леля Александровкая, Володя Манякин и другие. Все они были не старше двадцати пяти, а то и моложе.

Самой активной была литсекция. Туда стали ходить Леня Чертков, поэты Хромов и Красовицкий. Там же была тройка совсем молодых поэтов, только что окончивших школу: Саша, Сеня и Миша. Миша ходил в пальто, застегнутом на все пуговицы, и сверху повязывался шарфом, как дошкольник. Туда же зачастила журналистка Алла Гербер. Заглянул в литсекцию известный в будущем киносценарист Ольшанский, робко предложив прочесть свой сценарий. Юные поэты снисходительно выпроводили его.

...«Факел» был первым экспериментом такого рода в СССР. Политики в собственном смысле слова там не было. Молодежь приходила туда общаться...

³ Генрих Сапгир. Неподобные стихи. Минск – Москва, «Самиздат века», 1997.

...После венгерских событий (1956) «Факел» стал пустеть, хотя никто этого не приказывал. Просто все перепугались. Я же продолжал туда ходить как ни в чем не бывало...

В середине ноября мне позвонили из военкомата.

– Вы почему не явились по повестке? – спросил сердитый голос.

– Я ничего не получал!

– Как так не получали?

– Так не получал.

– Потрудитесь явиться сегодня в шесть вечера.

В военкомате я обратился в справочное, спросив, кто меня вызвал. Там удивились, но после консультаций отправили в комнату, возле которой не было очереди. В комнате меня ждали двое. Один был средних лет, низкорослый, в сталинском френче без погон, безликий. Другой – хлыщеватый молодой человек в гражданской одежде. Сердце у меня упало. Я был уверен, что придется расплачиваться за свое выступление по поводу книги Дудинцева в МГУ. Но я был не прав...

Оказывается, их интересовал «Факел». Я быстро соображал, что делать. Можно сказать, я уже был диссидентом, но далеко еще не разорвал с системой. Всеобщий страх перед машиной террора не прошел, и я тоже многого опасался, но про мое импровизированное выступление в МГУ они явно не знали.

С меня взяли расписку о неразглашении. Никаких других обязательств я не давал. Молодой человек, которого звали Юра Рафальский, стал мне позванивать.

Тем временем в «Факеле» начался кризис руководства. Володя Шляпников вдруг категорически заявил о желании уйти в отставку. Скоро я догадался, почему он это сделал. Его наверняка стала терроризировать ГБ точно так, как теперь взялась за меня.

На заседании актива «Факела» одна девушка неожиданно предложила меня в председатели вместо Шляпникова. Вероятно, она была доверенным лицом ГБ, а мой вызов в военкомат преследовал цель не столько завербовать меня, сколько поставить под контроль.

Я стал замечать в «Факеле» то, на что раньше не обращал внимания. На все заседания правления аккуратно приходил франтовый Володя Манякин. Он считался рабочим, но где он работал, никто понятия не имел. Рабочим он не выглядел. Однажды Манякин в присутствии нескольких человек позвонил по телефону, назвал знакомый мне добавочный номер Рафальского и стал говорить с ним запанибрата, называя Юрочкой.

Не могу сказать, знал ли Манякин о моих контактах с Рафальским, но в том, что он был штатным сотрудником ГБ, я потом убедился.

Во время заседания литературной секции, проходившего довольно сумбурно, Саша, юный поэт, вдруг брякнул:

– Я прочту стихи одного поэта.

– Кого? – тотчас спросил Манякин.

– Мандельштама, – лениво ответил Саша и прочел стихотворение о Сталине: «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Тут Мелик ошибается. Я уже говорил, Саша прочёл «Волка». Агурский продолжает:

Рафальский потребовал у меня список литсекции. Это совсем не было секретом, как не был тайной организацией и сам «Факел». Любый человек мог узнать его, в том числе и Манякин. Вероятно, Рафальский хотел представить дело, которым он занимался, как трудное, но могло быть и другое. В то неопределенное время борьбы за власть ГБ вполне могла ухватиться за «Факел» и создать думое дело.

Однажды Рафальский приехал на «Победе» вместе с господином, производившим впечатление человека интеллигентного и даже благожелательного.

– Есть сведения, что в «Факеле» изучают оружие.

– Это чушь! Этого нет и не было! Тот, кто передает такие сведения, лгун и провокатор...

Разговор об оружии, кем бы он ни был поднят, отнюдь не был безобидным, а я мог стать первой его жертвой...

Народ из «Факела» продолжал разбегаться. Весной мы еще устроили вечер. Манякин спел песню о Монтани: «Когда поет далекий друг». Вероятно, петь песни на вечерах было частью его обязанностей. Я опасался, что кто-нибудь из тех, кто был на вечере Дудинцева в МГУ в ноябре, узнает меня, надел черные очки и в таком виде сидел в президиуме, вызвав немалое удивление.

Вскоре от «Факела» осталась лишь литсекция. Я пригласил Генриха Сапгира, Холина, и они вместе с юными поэтами образовали ее ядро. Им удалось устроить встречи с литобъединением «Магистраль», имевшим хорошую репутацию у тех, кто хотел войти в литературу. Со стороны «Магистральной» пришел еще никому не известный Булат Окуджава, Эльмира Котляр...

Нас выгнали из Большого Харитоньевского переулка, но разрешили ещё собираться в Армянском, в школе, вечером после занятий...

...Однажды весной пятьдесят седьмого поздно вечером ко мне без предупреждения пришел мой приятель В. с незнакомым мне Ленеи Ренделем... Рендель принялся расспрашивать про «Факел»: «Что? Хорошие там ребята? Надежные? Можно прийти послушать?»

Ничего не подозревая, я договорился, что, когда вернусь из отпуска, отведу его в «Факел»...

Агония «Факела» совпала с международным фестивалем молодежи в июле – августе 1957 года...

Вернувшись в Москву после отпуска, я забежал к В. Он был бледен и перепуган: «Большие неприятности. Меня сняли с работы и исключили из партии. Рендель сидит.

В. был знаком со многими из только что арестованной группы университетских преподавателей и аспирантов, ядром партийной и комсомольской организации МГУ, известной как группа Краснопевцева-Абошенко. Стало быть, Рендель интересовался «Факелом» как возможной базой расширения деятельности. Успел бы он посетить «Факел», и дело для меня приняло бы иной оборот. Рендель отсидел двенадцать лет.

Помещения у «Факела» больше не было, и он сам по себе распался.

Такой вот рассказ Мелика.

Саша Лайко дополняет его ещё одним эпизодом:

С закрытием «Факела» связана следующая история. Как-то пришёл ко мне Мелик Агурский, близкий наш приятель, будущий видный диссидент, автор странных рассказов про кривое ружьё и вернисаж запахов и вообще умница, а в то время ещё и председатель «Факела», увёл меня на лестничную площадку, чтоб мать не слышала, и сообщил, что с ним встречался сотрудник ГБ, ведущий дело о хранении и изучении в литстудии «Факела» оружия (ни больше ни меньше!). Работники сего ведомства долго терзали Мелика, даже после закрытия клуба пытались вербовать, и тогда Мелик стал публично рассказывать об этом всем своим знакомым. Помню, на квартире у Сапгира (возле метро «Бауманская») после чтения Генрихом только что написанных «Псалмов» Агурский поведал о своей истории с ГБ многочисленным почитателям Генриховых стихов. Больше из ГБ Мелику не звонили.

Ещё два слова о «Факеле» по книжке памяти Леонида Черткова⁴.

Галина Андреева пишет:

На заводе Густава Листа появилось литобъединение «Красный факел». Мой школьный друг Миша Г. сразу предупредил, что ходить туда не следует – там всех берут на заметку, но ребята туда ходили и рассказывали, какая там свободная обстановка и какие смелые стихи там читают: «Сразу видно, что времена изменились».

Кто такой Густав Лист и почему факел красный, не знаю. С Мишей Г. тоже не знаком. Ребята – это Чертков, Сергеев, Хромов и Красовицкий. Какие там смелые стихи читали, я ещё расскажу. А вот сама Галя в «Факел» ходила, помню.

В семьдесят четвёртом я встретил её в Измайлово на лесной выставке художников. Выставке, разрешённой после «Бульдозерной». Мы шли туда от метро лесной дорогой и перекинулись парой слов. Очень она милая была, Галя...

Станислав Красовицкий в той же книжке вспоминает про арест Леонида Черткова:

Подвыпив, Лёня говорил зажигательные поэтические и политические речи... Ещё более зажигательные (всего лишь против посылки наших добровольцев на Суэцкий канал – их и не послали) он произносил неосторожно в молодёжном клубе «Факел». За это его и забрали...

Хоть про «наших добровольцев» не помню, но после Меликова рассказа, думаю, мнение Стаса справедливо. Со своей стороны тоже кое-что могу про «Факел» написать...

⁴ Памяти Леонида Черткова. Письма, стихи, фотографии, архивные материалы, воспоминания Г. Андреевой, В. Хромова, Ст. Красовицкого, Г. Грудзинской (Барышниковой). Москва, 2000.

7. ВОТ И НАЧНУ

Вот и начну мой рассказ о «Факеле».

Многим из пишущих стихи доводилось принимать участие в так называемом «чтении по кругу». Это когда собравшиеся, сидючи вокруг стола (установленного, по обыкновению, бутылками), читают стихи по очереди, один за другим, чаще по часовой стрелке. Впервые мы участвовали в таком чтении именно в «Факеле», если не ошибаюсь, осенью 1955 года.

Итак, небольшая комната на втором этаже особнячка в Харитоньевском переулке, то бишь Дома культуры промкооперации. Комната залита желтым электрическим светом, прямоугольный стол (без бутылок) завален бумагами – нашими стихами. Не скажу, кто руководил действием, не знаю всех участников, но помню многих, и в помощь мне сохранившиеся стихи – листы, бумажки со стихами с того канцелярского стола. А вокруг мы, человек десять-двенадцать, сидим вдоль стен на стульях с квадратными клеёнчатыми сиденьями.

Попробую воспроизвести, точнее, описать, сконструировать, что ли, тот осенний вечер, хоть это и займёт неприлично много места, и всё из-за того, что обязательно хочу привести полностью все сохранившиеся и прочитанные тогда стихи. Некоторые из них были опубликованы, другие же, понятно, не имеют шансов.

Кто начинает? Скажем, начинает юный Женя Абельман, позже, говорят, ставший известным поэтом. Он как раз и читает стихотворение «Юность». Оно длинное, но не очень.

Юность, неужели ты уходишь?

Неужели вправду без меня

Вечерами по садам ты бродишь,

Смехом переливчато звеня?

Стариком меня не называют,

Мне еще далёко до седин,

Но все чаще слышу я в трамваях:

«Вы сейчас сойдёте, гражданин?»

На играющих девочек глядя,

С удивленьем слышу от одной:

«Отодвиньтесь-ка немножко, дядя,

Вы сотрёте классики ногой».

Мне бы с ними заскакать вприпрыжку,

Крикнуть: «Девочки, не надо так!

Верьте мне, совсем еще мальчишка

Этот дядя в роговых очках».

Не поверят ни за что на свете

Ни девчонки, ни седой старик.

Некуда мне скрыть морщины эти,

Слишком часто хмуриться привык.

Юность кончилась, приходит зрелость.

Мне признание стоит не пятак:

*Многого я в юности не сделал,
Да и всё, что сделал, – всё не так.*

*Я хочу, пока еще не поздно,
Переделать всё и изменить,
Чтобы вечером, идя под звёздами,
О прожитых годах не скулить.*

*Чтоб ладони были бы натружены,
Чтоб глаза глядели веселей,
Чтоб по-настоящему стать нужным
В мире взрослых и больших людей.*

Дочитал до конца. Всё так действительно и было, и были мы, от-
носившиеся к сему всерьёз.

Что говорить, довольно ерунды сохранила Елизавета Алексеевна,
бабушка Миши Лермонтова, вот и я... Да что в детстве! Сколько по-
написано в преклонном возрасте разного «быть знаменитым некраси-
во»! Абельман отдыхает.

Однако читает следующий. Лёня Карабчиевский. Он двоюродный
брат незабвенного Юры Карабчиевского, ушедшего от нас уже почти
двадцать лет назад. Юра тоже был в «Факеле», но стихов его не помню.
Может, не писал тогда.

Стихотворение Лёни называется «Паровоз».

*Нет! Не охи, чихи и вздохи,
Раны сердца, Масснэ и Шопены.
Нет! Созвучия нашей эпохи –
Это краны, сирены, мартены!*

*Нет! Не Дантом, Шекспиром, Спинозом!
Нет не Гёте, Толстым и Додэ –
Я хотел бы быть ПАРОВОЗОМ
С увеличенным Ка Пе Де!*

*Чтоб, играя могучим торсом,
Раздувая свои бока,
Я бы пёрся вперед и пёрся,
Подымая паров облака!*

*Я б, не думая, пёр неустанно,
А под старость, устав чуток,
Я бы встал на вокзале Титаном,
Чтоб давать людям кипяток...*

*А когда решат кочегары,
Что на пенсию мне пора,
Я уйду писать мемуары
Под названьем «На всех парах».*

*Я хочу не стареть и гореть!
И в горниле весь век отстоявшись,
Мне хотелось бы умереть,
От горения распаявшись.*

*Чтоб на тризне, не пряча слёз,
Заявил мне прямой начальник:
«Ах! Какой это был паровоз!
Он и умер достойно, как чайник!»*

Это смешное стихотворение. Все смеются. Лёня садится.

Рядом с ним – девочка, на вид десятиклассница. Она поднимается, и действительно на ней черно-коричневая школьная форма. Или мне сейчас так кажется. Я не знаю, как зовут девочку, и уже никогда не узнаю. Она декламирует нечто, из чего я помню только начальные строчки. Такие:

*До революции много лет
Забитой женщина жила.
Переживала много бед,
Не знала света и тепла...*

В полной тишине девочка прочла еще несколько четверостиший и опустила на место.

На соседних стульях сидят поэты старше нас – Леонид Чертков, Андрей Сергеев, Валентин Хромов. Чертков говорит: «Я прочту два стихотворения». И читает:

*Расписаны в тона религиозных сект,
Уступами росли деревья до забора,
Дул ветер с севера, и осени проект
Был выверен рукой латинского сапера.
На затонувший сад тянуло не смотреть,
И людям на холмах дышалось тяжелее,
И свянной листвы готическая медь
По прихоти ветров чеканила аллеи.
Здесь вынули набор искусственной эмали,
Макеты деревьев расставили на рампе.
Безмолвные ловцы смолили корабли
И разожгли костры на выщербленной дамбе.
Дождь молнией в бору выпалывал деревья
И бил в стекло песком, пока не надоест,
Мы начали ломать дорогу на кочевье
И с берега в туман мы упустили шест.*

Прежде чем Чертков приступил ко второму стихотворению, девочка, что читала до него, имени которой я не знал, поднялась и со словами: «Ах, вот вы какие!» – направилась к выходу. Её не удерживали.

С той поры минуло пятьдесят пять лет. Я закрываю глаза и вижу ее крепенькую фигурку, ноги в чулках в резиночку. Она взялась за ручку двери, распахнула ее. И канула...

Чертков тем же ровным голосом продолжил:

СРЕДНЯЯ ПОЛОСА

*Путь от заката вёл по ломкой колее,
А грубые увалы не по нам.
Они скрипели гнилью, коли ел,
И пахло выменем – ломился скот к домам.*

*В деревню я вхожу... и ласковый скопец
Даёт приют и козье молоко.
И далеко за полночь рассказывает мне
Про польский плен, про беды революций.*

*А утром в узенькой лужайке
Мочу я волосы и лью на воротник,
И рядом пруд, истоптанный скотом.
Когда-то здесь, у этого пруда
Я видел добрые глаза, и крупный рот, и детские ужимки,
И пруд, и день, он лёгок и понятен.
Картина дня составлена из пятен –
Разлапистые пятна облаков,
Сухие пни, подобьем кулаков,
Китайской ширмой лес и зеленью овёс
С забредшей лошадьё, и сохнувший покос,
И речки дальние, уступом на уступ,
И тучи мошек, вьющихся к кусту.*

Затем читали Сергеев и Хромов. Сергеев – свой перевод из Роберта Фроста, эффектно выделяя голосом окончания периодов: «Деньги! Деньги! Деньги!», а Хромов – такое:

*Холодный день прошел по паркету.
Казалось, что не вытерпит и хлынет.
По-майски неустойчивое лето
Качалось на стеблях полыни.*

*Сосед смотрел в окошко чердака.
Он, может быть, боялся по наитью,
Что к городу привяжут облака
Косые надоедливые нити.*

*И город покачнется и взлетит
В далёкие и новые эпохи.
Я видел, как лицо его дрожит,
И за другой стеною слышал вздохи.
И гул тянулся из далёких мест,
Я встал и крикнул: «Пусть скорее грянет!»
Когда на сердце думы есть,
То Пушкин их рассказывает няне.*

После Хромова наступила очередь приятелей моих, Миши Роговского и Сени Гринберга. Я видел, что они смешались. На них (и на меня, конечно же) сильное впечатление произвело чтение Черткова со товарищи. Явились стихи, подобных которым мы не слыхивали. Самое удивительное, они выглядели абсолютно современными, просто сегодняшними. Помню, ошеломила интонация простых слов:

*И далеко за полночь рассказывает мне
Про польский плен, про беды революций...*

или, скажем:

Сосед смотрел в окошко чердака...

Да и сейчас это трогает, хотя с тех пор были прочтены океаны стихов, в том числе множество замечательных.

Как после такого говорить свои, внезапно показавшиеся детскими (каковыми и были на самом деле)?

Я приведу, разумеется, стихи, прочитанные моими друзьями, но сначала замечу, что во время чтения Черткова, и особенно позже, когда выступил Красовицкий, именно тогда для нас, для меня, по крайней мере, стало очевидным такое, казалось бы, простое соображение, что стихи вовсе не игра, а нечто весьма серьёзное. Видимо, в тот вечер некоторые сделали свой выбор.

А Миша прочел два небольших стихотворения:

*Из гущи галактик
Великого Бога послышался голос.
Он звал всех разумных пойти за безумьем
И ринуться к смерти.
Не верьте! Не верьте.*

И:

*Гроыхала буханка хлеба,
Во все окна свистел дом,
А мне до этого мало дела,
У меня в голове стульев ком.*

И Сеня — одно:

*Вот здорово!
В кармане ни копейки!
День отпылил, темнеет, зацветут
Людьми при фонарях зеленые скамейки.
А с этой встали. Кажется, уйдут.
Присесть? Не стоит — может быть, не хватит
Усталым места. Дальше побреду.
Купить бы сигарет. Но кто за них заплатит?
Стрельнуть бычка? Быть может, снизойдут.
Да ладно, обойдусь без сигареты —
Дымлюсь и без табачного огня...
— Нужны вам старые трамвайные билеты?
Спешите, покупайте у меня!*

Такие вот стихи.

Следом была девушка по имени Вика, то бишь Виктория Писак, с грустным стихотворением «Ворона». И оно всем тоже понравилось:

*На два крыла полтора пера.
Птицу шатает и клонит, как пьяницу.
— Мама, я эту ворону нашла вчера.
Мама, пускай она здесь останется!*

*Птица забилась, хмурая, в угол.
Косила больное, угасшее веко...
А я, ей вернее сиделки и друга,
Неслась под дождём с трёхрублёвкой в аптеку.*

*Смотрела – дыханье горячее хрипло.
Удушьем её задышалась коротким...
А утром за домом, под старую липой
Зарыла её я в картонной коробке.
Сквозь слёзы немного видится былью,
А мне и сквозь слёзы больней и больнее:
Поникшие серые мокрые крылья,
Худая, холодная, слабая шея.
Я много нелепого помню за днями,
Но не было горше и не было хуже –
Больная ворона с больными глазами...
Осенние серые мокрые лужи.*

Именно после Вики выступил Станислав Красовицкий.

Не помню, как потом обменивались мнениями, поэтому не скажу за товарищей своих, но, полагаю, и для них чтение Стаса Красовицкого было неким потрясением.

«Ветер мел листья по улицам двух городов, – читал он, – стучала осень деревьями к нам в окно...» – и так далее. Да что «и так далее», вот это стихотворение полностью:

*Ветер мёл листья по улицам двух городов,
Стучала осень деревьями к нам в окно.
И то, что написано городу на роду
Ложилось на стёкла
туманом и сном.
И там,
где в тумане фонарь потух
И задумались доминиканские монастыри,
Никогда на заре не проснётся петух,
Которого город заговорил.
Деревянная осень колотила в окно –
там, где комната тенью навеки прогоркла.
И за каждой тенью
долго прятался гном
от безумной улыбки разбитого Гоголя.
А потом... это сказка...
Долго плакала дверь,
будто замок посольства в снегу по колени.
И осталось у осени только две –
две секунды для размышления.
И где-то там у доминиканских стен –
где дышат башни воспоминаниями отцов –
увидел на снегу замерзавшую тень
с ладонями, вдавленными в лицо.
А ветер мёл листья по улицам двух городов.
Деревянными криками в окнах темень прогоркла.
И было всё, что написано на роду,
в разбитой улыбке безумного Гоголя.*

Для меня, только-только окончившего советскую школу и считавшего, что уже понимаю кое-что, это было как если б сам Пушкин пришел и стал декламировать: «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает...» – или в таком же роде.

А последним я поставлю Сашу Лайко. Обычно Саша выступал не последним, может, и первым, но в моей конструкции застолья он занимает особенное место – стихотворение, им прочитанное, помнили, знали наизусть, повторяли и даже собирались сделать своеобразным символом клуба.

Вот оно, Сашино стихотворение:

*Снова осень. Снова арбуз на столе.
Снова с курортов съезжаются люди.
Я оставался. Я здесь болел.
Снова арбуз на столе
В знакомом и старом блюде.*

*Золотыми шарами цветут перроны.
Кто-то встречает, прощается кто-то...
А в зелёных и пыльных вагонах
Загорелые люди – лица курортов.*

*Я пришел сюда просто так,
Посмотреть на цветы и лица,
Я пришёл не встречать, не проститься –
Просто так.
Бывают разные лица.*

*И бывает, что просто так, невзначай
Происходит встреча.
Торопливо носильщик берёт на чай,
Много составов пришло,
И приходит вечер.*

8. ЭТИМ Я ЗАВЕРШАЮ

Этим завершаю чтение по кругу и подумаю, кого еще не упомянул из факельских завсегдатаев.

Нескольких. И главное, Генриха Сапгира и Игоря Холина. Я не мог их усадить за стол с Чертковым и Красовицким, ибо Игорь и Генрих появились в «Факеле» несколько позже. Мы сами привели, а познакомились в знаменитой мастерской трех скульпторов – Лемпорта, Сидура и Силиса, что была рядом с метро «Парк культуры».

Знакомство с Генрихом и Игорем оказалось основательным и перешло, можно сказать, в приятельство, несмотря на разницу в возрасте, но, чтоб рассказать об этом, пришлось бы побывать в Лианозово, и на Елоховке, и на Новослободской, и в других местах Москвы – обиталищах Сапгира. Там было читано много стихов, выпито громадное количество водки и не меньше наговорено бессмысленностей и ерунды, что, понятно, тоже было пищей для ума.

Но так как я хотел только о «Факеле», пусть Холин и Сапгир прочтут из того, что они действительно там читали. Из так называемых ранних, но на самом деле из стихов, написанных вполне зрелыми поэтами.

Сначала Игорь:

*Обозвала его заразой.
И он, как зверь, за эту фразу
Подбил ей сразу оба глаза.
Она простила. Но не сразу.*

И ещё:

*Жил за городом, на даче.
Покупал билет. Билетёрша недодала сдачи.
Ругался на весь вокзал.
На последнюю электричку опоздал.
Без паспорта в гостинице не пустили в номер.
Ночевал на улице. Простудился и помер.*

Холин читал много стихов из барачного цикла, но пусть будут эти, их помню.

А теперь Генрих:

*Пиво, водка и вино
Куплены заранее.
В комнате полутемно,
За столом компания.*

*Джаз. Взывает саксофон,
Недосуг расслаживаться,
Медленно под патефон
Машинально движутся.*

*Шаг вперёд и в сторону,
Шаг вперёд и в сторону,
Шаг вперёд и в сторону –
Просто танцевать фокстрот.*

*Пара стильная. Она
Щурит глазки узкие –
Закатились от вина
И от нервной музыки.*

*Перепились все давно,
На диванах сонные,
Только эти всё равно
Точно заведенные –*

*Шаг вперёд и в сторону,
Шаг вперёд и в сторону,
Шаг вперёд и в сторону –
Просто танцевать фокстрот.*

Не слишком? Но вот явилась «Бабыя деревня» и на подходе были «Голоса»!

Что еще сказать про «Факел»? Не описывать же стандартные советские мероприятия, так называемые встречи.

Скажем, с поэтом Семёном Кирсановым или с режиссёром Луковым, автором нашумевшего тогда фильма «Разные судьбы», который привёл с собой красоток – Татьяну Конюхову и другую, забыл, как звали.

Да и от встреч с литобъединением «Магистраль» ничего существенного в памяти не осталось. Хотя нет, был эпизод, никем не замеченный, а для меня конфузный. После взаимного чтения, во время перекура, я самоуверенно вмешался в разговор, перебив Булата Окуджаву, ещё не знаменитого, но старшего заметно. Он обсуждал чьё-то стихотворение, в котором были слова: «и ругались воровато». Я сказал, что, мол, лучше «ругались матом». Окуджава кивнул одобрительно. Но я не остановился на этом, полез выступать после перерыва и повторил то же самое. Не забуду презрительной улыбки Булата...

Довольно. Спрашиваю в очередной раз, зачем пишу всё это?

Чтоб вернуть прошедшее?

Возможно. Так сказать, в поисках утраченного времени.

И всё же цель моя и скромнее, и нелепей! Всего-навсего припомнить чистопрудную юность приятелей моих, которые предпочли нескончаемую болтовню за столом и на улице погружению в многотомные собрания синего цвета, хранящие вековую преемственность и так называемое величие русской поэзии.

Да, да, припомнить и организовать, устроить встречу, в действительности невозможную.

Каким образом? Я догадался, как это сделать, перечитав два осенних стихотворения из букета стихов, составленного и выставленного на прежних страницах. Меня осенила идея собрать сезонные стихи чистопрудных поэтов, хотя в последующие годы они, конечно, писали не только про осень и не только про московскую. В разных местах свои времена года.

Я сделаю это непременно... Когда-нибудь. Ведь именно так, стихами, они невольно пытались остановить, а может, и правда приостанавливали время, утекающее само по себе. Время, без этого их усилия исчезающее безнадежно...

«Вещи, которые сами собой проходят мимо... лодка под парусом, жизнь человека, весна, лето, осень, зима». Сэй Сенагон. «Записки у изголовья».

А пока – что написал, то и написано.

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Ирина Сорочинская

ПРЕДРАССВЕТНОЕ ВРЕМЯ

Где хранятся замыслы работ, которых еще нет?

Витают где-то рядом, задевая тебя краешком твоих мыслей. Даже не мыслей, и не чувств, и не слов. Что-то такое, трудно уловимое. Ходишь, замороженный этим ма-ревом, и пытаешься нащупать... Горячо, холодно, горько, нежно, как? Хватаешь руками воздух, и гладишь его, и улы-баешься в пустоту, наполненную душой.

Где и как материализуется то, что хочет быть прояв-ленным?

И даже, скажи честно, не тобой. Твоими руками, уме-ниями, точно подобранными техниками. Пропущенное че-рез что-то удивительное, которое наполняет силой, све-том и теплом узнавания. Вызванное из молчания и дре-моты.

Смотришь потом на это ожившее и не знаешь, кому счастливо улыбаться. И весь мир улыбается и кивает, приходи еще...

Так точно понимаешь слова, что если не ты, то кто? Кто, кроме тебя, будет так самозабвенно и упоенно радо-ваться этому Нечто, паутинкой на солнце рвущемуся от грубого прикосновения, от не тех мыслей и не тех слов.

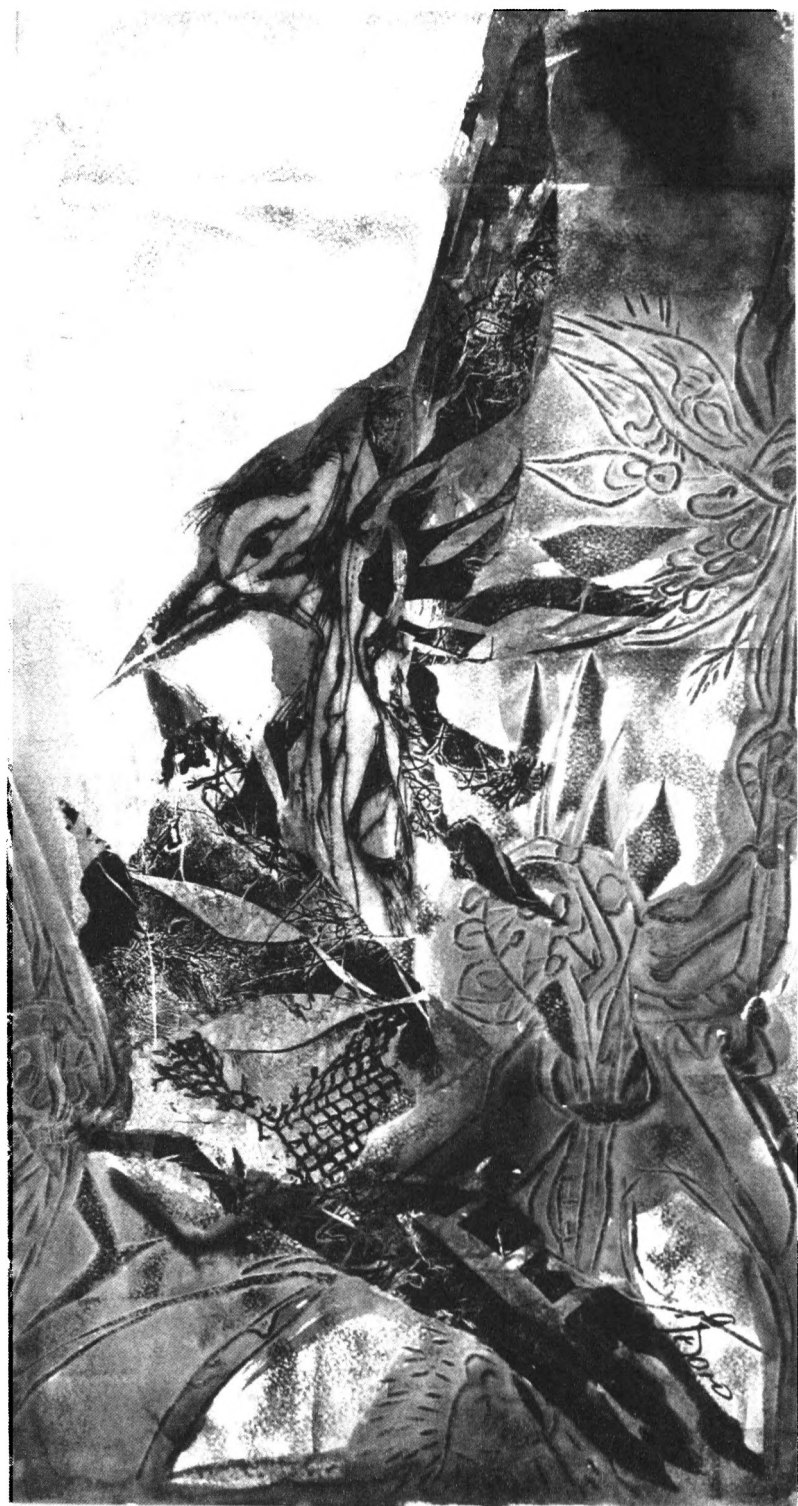
Думаешь, вот сейчас, сейчас, поймаю это, несказанное, сияющее, чудное, как редкую птицу в силок. Подкрадусь ти-хонько, выключив телефон и вооружившись кистью, и...

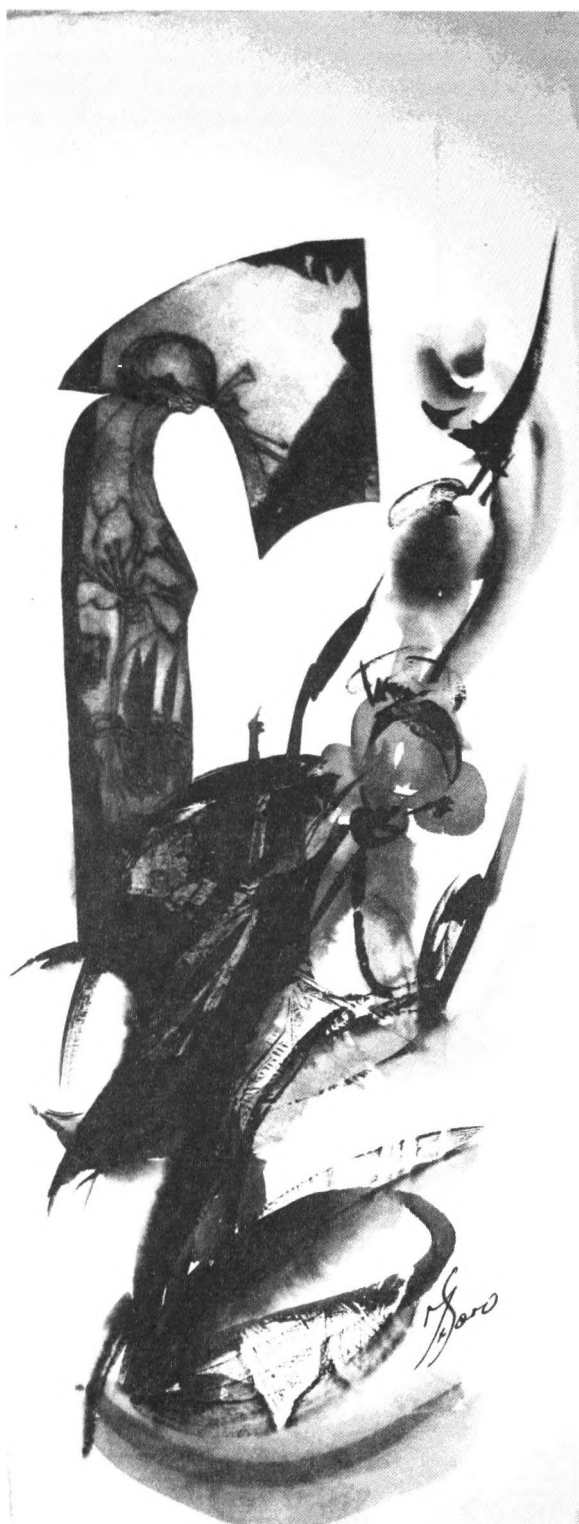
Только, знаешь, такая птица уже петь не будет. От нее, обманом схваченной, дивных песен не услышишь. Ее мелодии о свободе, полете и бездонной синеве настигают тебя в предраассветном добудильниковом времени. Когда не принадлежишь никому. Ни себе, ни другим. Так же, как небо не принадлежит никому. И песни свободной птицы не принадлежат ей.

Есть только одна возможность быть с ней и с собой на равных. Быть на ее высоте. Подняться туда, где летают, парят, плывут в прозрачной вышине твои замыслы и за-ждавшиеся тебя существа, мечтающие о материальной плоти, пахнущей краской и жизнью. Вдохнуть дыхание в них, и в себя, и в тех, кто не догадывается ни о тебе, ни о них, и не ждет их, и все равно ждет...

Потому, что все мы ждем весточку...

















Игорь Бальский

ПОПЫТКА ПРОЩАНИЯ С РУБРИКОЙ, или АНОНС НОВОГО ЖУРНАЛА

*и русский песенный стих берёг
меня от всего равна
и вдоль дороги и поперёк
была мне судьба одна*

«ИЖ» начинался в том числе и с песен. Иначе и быть не могло: «крышует» его «Иерусалимская антология», учредители которой – люди, совсем не далекие от самостоятельной, туристской, камерной, авторской, поэтической и прочая, прочая песни (все эти определения – суть эвфемизмы изначальной неподцензурности замечательного этого жанра, спасавшего наши души во времена молодости, что счастливо совпала с его головокружительным завоеванием одной шестой суши). Еще в конце 70-х, во времена Чимганских фестивалей, мы горячо обсуждали проекты аудиожурнала – «каэспэшного», не чета «Кругозору» (хотя и там почти в каждом выпуске случалась пластиночка из «нашего» репертуара). Тогда не получилось. В прекрасную по-своему эпоху развитого социализма взять и основать с друзьями новое издание было, ну, скажем, непросто. Средства массовой информации (а хоть бы и художественной) являлись «могучим оружием Партии», о чем напоминал и неоновый лозунг на соседней многоэтажке, не говоря уже о.

Задуманного периодического издания, в котором нашлось бы место самым хорошим и самым разным представлениям о песне, не произошло и по сей час. До сих пор мы печатали что называется «тексты песен».

Но сегодня – готовим к выпуску журнал (рабочее название – «Голоса»), благодаря которому новые песни (да и стихи) всемирно известных и не очень знаменитых пока авторов можно будет не только прочесть, но и услышать. Диски – CD и DVD – плюс тексты и фотографии.

В рубрике, название которой дал парк, где в начале 90-х проходили иерусалимские фестивали авторской песни, мы представляем четыре статьи о поэзии Бориса Рыжего из первого номера будущего издания. Судьба каждого из авторов этих эссе связана с песенным творчеством, связана еще более, чем судьба безвременно ушедшего поэта. В этом же номере прозвучат песни Сергея Никитина, Михаила Щербакова, Николая Якимова, Михаила Басина, Сергея Труханова и других мастеров жанра. Новый проект поддержали практически все наши давние друзья из Москвы и Беэр-Шевы, Алма-Аты и Праги, Питера и Марбурга...

Непросто сделать в одиночку что-нибудь настоящее и в новом пространстве-времени, когда слишком многое, к сожалению, измеряется критериями развитого капитализма. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому дорога песня – поэтов и журналистов, звукооператоров и фотографов, отъявленных фанатов и добросердечных спонсоров.

Сил нам всем и удачи.

Дмитрий Сухарев

*ВЛАЖНЫМ ВЗОРОМ**

1. СРАЗУ И ВДРУГ

Да мало ли на свете поэтов? Читаем, кто-то нравится, кто-то не очень... А тут – скоростное пленение. Что ни говорите, этот неоднократно подтверждённый феномен удивителен. Театр Петра Фоменко, едва послушав песни Сергея Никитина на стихи Бориса Рыжего, ставит по ним спектакль. Сам Никитин за вечер общения с этой поэзией стал её пленником на годы. Похожее чуть раньше происходит с другим композитором-бардом – Андреем Крамаренко, у него тоже немедленно возникает неистребимое желание петь Бориса Рыжего и нести его поэзию в народные массы. Перед тем механизм скоростного пленения срабатывает со мной: стихи Рыжего, увиденные в «Кулисе» (было такое приложение к «Независимой газете»), становятся родными прежде, чем подборка дочитана до конца. Свидетельства можно множить. Вот фрагмент письма, полученного мной из Архангельска от поэта Александра Роскова:

«Стихи Бориса Рыжего я открыл для себя совершенно случайно: бродил как-то по литературным сайтам в Интернете, и вдруг...

*В Свердловске живущий,
но русскоязычный поэт,
четвёртый день пьющий,
сидит и глядит на рассвет.*

*Промышленной зоны
красивый и первый певец
сидит на газоне,
традиции новой отец...*

После этих строк я, можно сказать, перевернул весь Интернет, вытащил из него всё, что было там Рыжего и о Рыжем».

Поэт Илья Фаликов описывает свой случай так: едва прочитал – и тут же выдвинул Рыжего на премию, и её ему тут же дали, несмотря на обилие номинантов. «Я говорю о премии Антибукер, которой его отметили в качестве поощрения за дебют 1999 года, – пишет Фаликов. – Сейчас незачем умалчивать: да, это я выдвинул его, найдя в знаменской подборке совершенно не известного мне автора нечто большее, чем стихописание».

Нечто большее, очень хорошо. Но всё-таки – что именно? Чем пленителен? Сложный вопрос. Должен предупредить: простых не будет.

*Журнальный вариант предисловия к сборнику стихотворений Бориса Рыжего, который готовится в издательстве «Искусство – XXI век». Сердечно благодарю друзей, обсудивших черновую версию статьи. Д. С.

2. А ЧТО ТАКОГО ОСОБЕННОГО В ЕГО СТИХАХ?

«А что такого особенного в его стихах?» – спросила девица с телеканала «Культура». Чем дольше думаешь, тем трудней ответить. В тот раз я ответил сразу, запись сохранилась, вот расшифровка:

По-видимому, *есть* нечто особенное, поскольку разные люди, которые считаются авторитетами в поэзии, говорят: да, Рыжий выделяется во всём поколении. Спросите хоть Кушнера, хоть Рейна, да и многих других – все говорят в один голос. Если попробовать объяснить... Могу попробовать.

Нужно закрыть глаза на второстепенное, хотя оно-то и лезет в глаза: на имидж, который он себе создавал, на его смерть, почему она случилась, зачем была нужна. Не многовато ли матерщины. Потом этот Свердловск, который живёт в его поэзии. Почему он не похож на реальный Екатеринбург? Всякие такие вопросы – они интересны, но отвлекают от сути. Есть, по-моему, три главных вещи, которые ставят поэзию Бориса Рыжего на совершенно особое место.

Во-первых, он соединил концы. Понимаете, после того как рухнул Советский Союз (и даже до того), очень большую развели при помощи зарубежных доброхотов пропаганду, что у нас в советскую эпоху ничего хорошего не было. Ни музыки, ни литературы – ничего. Это враньё, но на многих оно повлияло. И возникла целая генерация молодых поэтов, которые даже не знали, какая великая была у нас поэзия. Не знали, не читали, не желали читать. Поверили лукавой схеме: «Серебряный век – эмигранты – Бродский».

Рыжий на враньё не купился, у него было замечательное знание предшественников, редкостно замечательное. Для него оставались значимыми и поэты Великой Отечественной (в первую очередь, Борис Слуцкий), и поэты тридцатых (больше других Владимир Луговской).

Лишая культуру контекста, обрекали её на гибель. Рыжий убедительно восстановил контекст. Это первое.

Второе. Мне кажется очень важным, что Рыжий продлил ту линию русской поэзии, которую называют некрасовской. Я имею в виду поэзию милосердия, сострадания, когда страдание другого волнует поэта сильнее, чем собственное. Этого у нас почти ведь не бывает, поэтам свойственно испытывать жалость к себе. А тут...

Полвека назад Илья Эренбург задел тогдашнего читателя за живое, написав в «Литературной газете», что Некрасову прямо и непосредственно наследует никому тогда не известный поэт-фронтовик Борис Слуцкий. В самом деле, Слуцкий, у которого фашисты убили близких, мог писать милосердные, исполненные живого сочувствия стихи даже о поверженном враге – о захваченном разведчиками «языке», об эшелоне с пленными итальянцами... Полузабытая тема сострадания была мощно реабилитирована.

Теперь Рыжий наследует в этом Слуцкому:

*...но не божественные лики,
а лица урок, продавищи
давали повод для музыки
моей, для шелеста страниц.*

Урки, пропойцы, наркоманы и менты – они для него люди, они кочуют по его стихам, их можно любить, понимать, жалеть. Это огромная редкость.

И третье – Рыжий перечеркнул тусовки. Это первым отметил Дмитрий Быков, который сразу после смерти Рыжего опубликовал дельную статью о его творчестве. В отсутствие крупных имён у нас развелось изобилие амбициозных литературных кучек. Я имею в виду не кружки любителей и не литературные объединения, а именно кучкующихся квазипрофессионалов. Каждая такая кучка считает себя могучей, провозглашает гениев собственного разлива. Так вот, всё это стало ненужным. Знаете: висят, пляшут в воздухе комариные стайки, а махнёт крылами орёл – и нету. Сами тусовки этого, может быть, ещё не осознали, но дело сделано, и общая литературная ситуация неизбежно изменится.

Не стану отрекаться от сказанного тогда перед объективом, но есть ощущение недостаточности. Тогдашнее второстепенное уже не кажется таким. Выбор между реальным Екатеринбургом и «сказочным Свердловском» – не пустяк. Имидж – слишком вялое слово, чтобы выразить то, что Сергей Гандлевский назвал «душераздирающим и самоистребительным образом жизни». Мы к этому непременно вернёмся, а пока – ещё один фрагмент из уже упомянутого письма моего архангельского собрата. Александр Росков как бы ответил на вопрос, заданный мне в том интервью, и ответил по-своему.

«Мои привязанности в поэзии, – написал он, – широки: наряду с Есениным я люблю Пастернака, с Рубцовым – Бродского. Рыжий в моём понимании встал с ними плечом к плечу, правда, он не похож ни на кого из этой четвёрки, не зря же назвал себя “отцом новой традиции”. У каждого времени – свой поэт. Рыжий – поэт смутных 90-х лет 20-го века, стихи его – зеркальное отражение этого десятилетия. Трагедия Рыжего, может быть, в том, что он одной ногой стоял в том, советском времени, а вторую не знал, куда поставить. Творчество его напрочь лишено надуманности, вычурности, красотостей. Его стихи – *правда*. Они читаются легко, они просты для восприятия. И недаром же сказано, что всё гениальное – просто. Я не побоюсь назвать Бориса Рыжего – гением. Кто знает, как бы развивался его талант в дальнейшем, но уже того, что написано, хватит для подтверждения гениальности поэта. Рыжий встал на моей книжной полке рядом с перечисленными выше поэтами, и в последнее время я чаще других беру в руки именно его стихи».

Согласитесь, «чаще других» – поразительное свидетельство. Однако могу подтвердить это собственным опытом, Рыжего я снимаю с полки почти так же часто, как Пушкина и Слуцкого. Так что же, дело в правде? В плен берёт она? А если правда – то какая?

3. ТАКАЯ ПРАВДА

Чтобы всмотреться в правду Бориса Рыжего, соотнесём даты жизни поэта с событиями всемирной истории.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в СССР. Подростком он стал свидетелем катастрофы страны с таким названием. Заметим

как бы между прочим: в том же самом возрасте острой впечатлительности Пушкин едва не стал свидетелем завоевания отечества армией Наполеона. Но тогда катастрофы удалось избежать, мы одержали победу. Рыжему и его сверстникам досталось только поражение: страну расчленили, хозяйство растащили, жажду идеала охаяли, двигателем прогресса объявили жажду наживы.

Екатеринбургский поэт Евгения Изварина, долго входившая в ближний круг Бориса, исключительно важное значение придаёт тому, что его ранние годы пришлось на «время полной деморализации подавляющего большинства населения страны, как “верхов” так и “низов”, время без уважения к прошлому и должного попечения о будущем». Отсюда, пишет Изварина, – «абсолютно райская, обожаемая картина прошлых – детских – лет:

*Там вечером Есенина читали,
портвейн глушили, в домино играли.
А участковый милиционер
снял фуражку и садился рядом
и пил вино, поскольку не был гадом.
Восьмидесятый год. СССР».*

Двор, Бориске седьмой год. Дома стихи звучали тоже. Глава семьи, профессор геологии Борис Петрович Рыжий, имел обыкновение покупать поэтические сборники – так при советской власти было принято среди образованных людей. Вечерами, уложив сына в постель, Борис Петрович читал ему что-нибудь из любимых стихов. Это были оптимальные условия для развития заложенных в мальчишке способностей.

Превращаться из мальчика в мужа Борису Рыжему выпало в иные времена. Катастрофически обнищал читатель литературы. Если в 1991 году (поэту 17 лет) тираж «Нового мира» составлял почти миллион экземпляров, то к 1995 году он обрушился до 25800. Правил бал посредственности, всплывшие с литературного дна. Они презирали «эту страну» и глумливо внушали молодым, что родина и долг – никчёмные слова. Всё же островки былой цивилизации кое-как держались, на страницах того же «Нового мира» в начале 90-х шли дискуссии о назначении поэта, спорщики запальчиво трактовали Пушкина (какая субстанция *мой прах переживёт?*), Баратынского (дар как поручение). Позже эти споры напрямую отозвались в стихах Бориса Рыжего (*Я заплачу за всех и некий дар верну*), а тогда выстоять можно было лишь усилием творческой воли. Борис Рыжий поступил по-своему – он распростился с рыночным Екатеринбургом девяностых и вернулся в Свердловск восьмидесятых. Город детства, город отрочества чудесно наполнился голосами, страстями и событиями.

Двенадцать лет. Штаны вельвет. Серёга Жилин слез с забора и, сквернословя на чём свет, сказал событие. Ах, Лора. Приехала. Цвела сирень. В лицо черёмуха дышала. И дольше века длился день. Ах, Лора, ты существовала в башке моей давным-давно. Какое сладкое мученье играть в футбол, ходить в кино, но всюду чувствовать движение иных, неведомых планет, они столкнулись волей бога: с забора Жилин слез Серёга, и ты приехала, мой свет...

Событие? Нешуточное. Страсти? Ещё какие. Правда? А как же. Но строка Пастернака, неприметно пристроившаяся к душистой черёмухе, предупреждает, что столь очевидную подлинность не следует принимать за чистую монету, поскольку помимо правды жизни существует правда поэзии, и она правдивей. Да, Серёга, Лора – они несомненно реальные, но вместе с тем и сказочные, как всё остальное, вся сценическая площадка, весь антураж этой безыскусной (на вид) поэзии: дворы Вторчермета, улица Титова, десятый трамвай, кусты сирени, скамейка и арка, менты и кенты.

*Трижды убил в стихах реального человека,
и, надо думать, однажды он эти стихи прочтёт.
Последнее, что увижу, будет улыбка зека,
типа: в искусстве – эдак, в жизни – наоборот...*

*В тёмном подъезде из допотопной дуры
в брюхо шмальнёт и спрячет за отворот пальто.
Надо было выдумывать, а не писать с натуры.
Кто вальнул Бориса? Кто его знает, кто!*

Прототипы, однако, вальнуть Бориса не успели. Он ушёл из жизни сам, не дожив до 27 лет. Наложил на себя руки 7 мая 2001 года – в день рождения главного для себя поэта, Бориса Слуцкого. Случайное совпадение? Кто знает. Сознавал, что делает? Сложный вопрос. Я же говорил, что простых не будет.

4. ТАКИЕ ВЕТРЫ

За недолгую жизнь Борис Рыжий многое успел. Успел окончить Уральскую горную академию по специальности «ядерная геофизика и геоэкология», поучиться в аспирантуре, опубликовать свои результаты в рейтинговом научном журнале. Успел родить сына. Успел вложить в стихи благодарность любимой жене, родителям и сёстрам, друзьям и учителям, а более всего – родной литературе. Успел поддержать в руках первый сборник своих стихов, названный с деликатной непритязательностью – «И всё такое...» (СПб, 2000). Составил второй, который вышел в свет после его кончины.

Название посмертного сборника (СПб, 2001) вызывает сожаление: «На холодном ветру». С чего бы так?

Не склонный, вообще-то, к декларациям, Борис Рыжий с предельной чёткостью зафиксировал особо значимые позиции:

*...Пусть тяжело уйти и страшно жить,
себе я не устану говорить:
«Мне в поколение друга не найти,
но мне не одиноко на пути.*

*Отца и сына за руки беру –
не страшно на отеческом ветру.
Я человек, и так мне суждено –
в цепи великой хрупкое звено...»*

Демонстративно переименован Баратынский. Перерос ли Рыжий сверстников, бывших некогда ближайшими друзьями? Сверстники не всегда готовы с этим согласиться. Но по поводу ветра никаких разночтений. Вот и назвали бы книгу «На отеческом ветру». Ветер отчизны был Борису тёплым. «Потому что все меня любили», объяснил он в одном стихотворении. Потому что сам был переполнен любовью. Какой уж тут «холодный ветер».

*Можно лечь на тёплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?*

Это строки из стихотворения, которое особенно часто преобразуют в песню. Я слышал его в переложениях нескольких бардов – Дмитрия Богданова, Григория Данского, Андрея Крамаренко, Вадима Мишука, Сергея Никитина... Если самым разным музыкантам хочется петь эти слова, значит, в них содержится нечто важное для всех. Вот стихотворение полностью:

*Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей
и обеими руками обнимал своих друзей —
Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.
Над ушами и носами пролетали небеса.
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:
лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.
Вот бродяги-работяги поправляются с утра.
Вот с корзинами маячат бабки, дети – грибники.
Моют хмурые ребята мотоциклы у реки.
Можно лечь на тёплый ветер и подумать-полежать:
может, правда нам отсюда никуда не уезжать?
А иначе даром, что ли, желторотый дуралей –
я на крыше паровоза ехал в город Уфалей?
И на каждом на вагоне, волей вольною пьяна,
«Приму» ехала курила вся свердловская шпана.*

Допуская возможность иных толкований, предлагаю своё: это стихотворение о любви. Его ключевые слова – *влажным взором*. Взор увлажняется любовью.

Есть свидетельство: готовя свой первый сборник к публикации, Борис Рыжий выбирал из трёх вариантов названия, одно из них было такое – «Крыша паровоза». То есть и сам поэт придавал этому стихотворению особое значение. Между тем у паровоза вовсе нет крыши. Нет ничего, мало-мальски пригодного для лежания или сидения. Мало того – физически невозможно на полном паровозном ходу «лечь на синий воздух». Но в том-то и дело, что эти разумные соображения абсолютно неуместны, потому что – ну да, потому что правда поэзии правдивей, чем правда жизни. Что здесь выражается правдой поэзии? Увы, это невозможно передать отвлечёнными понятиями. Половодье дружелюбия и застенчивость любви – вот мой неуклюжий перевод, примите его снисходительно.

(Один из персонажей «Войны и мира», испытывая потребность в отвлечённых понятиях, переходил с русского на французский. Я соз-

наю ничтожество предлагаемого перевода, но перейти на французский не умею и ничего лучшего придумать не мог.)

Так вот, обладатель рук, обнимающих друзей, которые носят заурядные дворовые клички, отмечает влажным взором всех и каждого, кто встречается на пути чудо-паровоза, а это опять же заурядные обыватели, каких мы сами ежедневно видим и провожаем равнодушным, а то и раздраженным взором. Посмотреть увлажнённо на грибников с корзинами – ещё куда ни шло. Но что за *бродяги-работяги поправляются с утра?* А это опохмеляются алкаши. Это падшие, но и они милы. («И милость к падшим призывал...») Да и грешную свою родину Борис Рыжий любит не выборочно, а всю целиком. Не белую, скажем, берёзку или там плачущую иву, а всё, на что ляжет увлажнённый взор. Лесовозы. Трактора. Хмурые мотоциклисты. Вся она ему пригожа, вся мила. *Может, правда нам отсюда никуда не уезжать?*

А кто ещё у нас в поэзии проводил увлажнённым взором бездарно потерянную цивилизацию? Ну, Слуцкий. Ну, Чичибабин. (Почему-то и они Борисы...) Кто вспомнил, что она, оплёванная всеми ничтожествами обоих полушарий, худо-бедно жила идеалами всечеловеческого братства, подарила мировой культуре самых прекрасных композиторов (да разве только их?), не жалела денег на переводы поэзии, сделала общедоступными толстые литературные журналы, давала пианистам и программистам (да разве только им?) лучшее в мире профессиональное образование и совсем даже неплохо обеспечивала истинно демократические отношения между людьми – на простом житейском уровне, безо всяких праймериз и иных перформансов.

*...В побитом молью синем шарфике,
я надувал цветные шарики,
гремели лозунги и речи.*

*Где ж ваши песни, флаги красные,
вы сами – пьяные, прекрасные,
меня берущие на плечи?*

У Рыжего стихотворение называется «7 ноября». И язык не повернётся назвать время действия – прошедшим. Это взгляд в прошедшее из настоящего, опечаленный будущим.

5. ТАКИЕ ПЛЕЧИ

«Мы стояли на плечах гигантов» – эти слова Ньютона часто вспоминаются учёными людьми, но к поэзии они тоже приложимы. Когда семнадцатилетним первокурсником Горной академии Борис Рыжий попал в среду таких же самодельных стихотворцев, он был подражателем раннего Маяковского. А чьим же ещё? Маяковский – единственный из продолжателей Хлебникова и, более того, единственный из великих поэтов Серебряного века, кому нашлось достойное место в школьной программе. Вот будущие стихотворцы и начинали с него. У Рыжего это выражалось декоративной метафорикой:

*Коньём разбивши пруда круп,
Вонзилась рыжая река.
Завод сухой клешнёю труб
Доил седые облака.*

Этих и других ранних стихов Борис не хранил, публиковать даже не собирался, мы знаем об их существовании из дневников Алексея Кузина (Следы Бориса Рыжего, Екатеринбург, 2004). В дневниках с завидной педантичностью, глазами понимающего (позже – с трудом понимающего) старшего друга, прослежен практически весь путь, пройденный Рыжим-стихотворцем после окончания средней школы. Студент-технарь, он сразу же попадает в высококreativeвную гуманитарную среду – дружелюбную, деятельную, достаточно квалифицированную. Ему рады, ему в ней хорошо, он много и охотно пишет. Запись Кузина от 14 июля 1992: «Борис Рыжий попросил оценить подборку его стихотворений за март-июль (штук 40). Он отказался от своих февральских стихов». 28 декабря 1995: «Борис сказал, что каждый день пишет по несколько десятков строф. Но это для него как упражнение. И он их не собирается печатать». Это у Рыжего в порядке вещей, при высочайшей продуктивности он не держался за написанное – сознавал, что потом напишет лучше. Плюс постоянный интерес к высоким технологиям. 14 октября 1993: «Сказал, что сейчас пишет стихи... проводя полную глубокую метафору ситуации от начала до конца стихотворения». Систематично и целенаправленно заниматься наращиванием мускулатуры – это, поверьте, большая редкость среди начинающих стихотворцев.

Судя по всему, Борис Рыжий не был строго привязан к какому-то одному из доступных литобъединений. Да и весь этот первичный творческий бульон был подвижным, открытым, общительным, его то и дело выплёскивало за пределы Екатеринбурга, в нём выслушивались и обсуждались не только стихи, но и песни под гитару. Себя Борис бардом не считал, но стихи свои часто называл песнями и перед бардами не спесивился. (Из дневника Кузина, 24 июля 1994, геологическая практика: «Сегодня я вернулся из Сухого Лога. Навестил Б. Рыжего. Брал гитару. До четырёх утра сидели у костра». Знакомая картина! «О, да, он пел, помогая мне. И всё: голос, слух – у него есть».)

ЛИТО при вузовской многотиражке, доме культуры, районной газете, поселковой библиотеке и т. п. были замечательным порождением советской цивилизации, они прививали вкус, приучали терпеть критику, помогали молодому автору удовлетворить своё самолюбие, напечатавшись в каком-никаком местном альманахе с цветастой обложкой и многообещающим названием, к примеру, «Молодые голоса». Все нынешние мастера письменной и поющей поэзии вышли у нас из ЛИТО или КСП, этих народных творческих сообществ. Руководителями там, как правило, были подвижники, страстно преданные своему негромкому и бескорыстному делу. Так повсеместно велось в СССР, так всё ещё, вопреки одичанию, остаётся пока в России и на дочерних территориях. Дай Бог здоровья безвестным бюджетникам – библиотекарю, учителю, врачу, собравшему вокруг себя малых сих, дабы приобщались к поэзии и к бардовской песне.

Едва окрепнув, Борис утвердился на плечах сильнейших непосредственных предшественников – Иосифа Бродского и Сергея Гандлевского, подражая сначала первому, затем второму. Бродский был в те годы общим поветрием, многие тогдашние молодые так и застряли на всю жизнь на этой стадии развития. Рыжий двинулся дальше, но его благодарность Бродскому-учителю до конца оставалась горячей. Причину своего отхода от Бродского отчасти прояснил тем, что выстроил яростную оппозицию: Слуцкий versus Бродский. Она легко трактуема в понятиях человечности – постоянная готовность к состраданию у Слуцкого и недоразвитость, по мнению Рыжего, таковой у блистательного Бродского.

У Гандлевского Рыжий взял интонацию. Он «любил Гандлевского и самозабвенно подражал ему – до неотличимости, – пишет критик К. Анкундинов и приводит в качестве примера центон, составленный из строк Рыжего и Гандлевского: – А где здесь Гандлевский и где Рыжий – разберитесь сами»:

*Вот и стал я горным инженером,
получил с отличием диплом.
Не ходить мне по осенним скверам,
вишней не записывать в альбом.
Больше мне не баловаться чачей,
сдуру не шокировать народ.
Молодость, она не хер собачий,
вспоминаешь – оторопь берёт.*

А вот освоить изысканную поэтику Слуцкого Рыжий не успел или не хотел. Она уникальна: Слуцкий был склонен маскировать изощрённые средства своего стиха, назовём это скрытописью. У Бориса Рыжего был однако свой, не от Слуцкого, любимый приём скрытописи.

6. ТАКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ

Я имею в виду такую глубокую переработку литературного первоисточника, при которой последний становится почти незаметным. Читаешь, читаешь – и вдруг радостно охнешь, прозрев, к примеру, что сквозь строки стихотворения «В кварталах дальних и печальных...» мерцает лермонтовский «Парус». Пародией здесь не пахнет, нет и привычной «переклички», которая так любима большинством из нас, пишущих стихи.

Скрытопись глубокой переработки адресована гурману – пусть дешифрует послание поэта далёкому предшественнику и получит порцию удовольствия.

22 мая 1999 года Алексей Кузин записывает в дневнике содержание большого телефонного разговора с Рыжим. Среди того, что сообщил ему Борис, было и такое: «Указал прототипы (литературные) стихотворений “Восьмидесятые усатые”, “Что махновцы...” и “Оркестр играет на трубе...”. Очевидно, что Борис Рыжий не чуждался и прямых аллюзий. Таково, к примеру, его обращение к упомянутому здесь стихотворению Давида Самойлова «Сороковые, роковые...» или к

пушкинскому «Пророку» (*Зелёный змий мне преградил дорогу...*). Я был рад обнаружить в стихах Бориса Рыжего на вечную тему, которая и до Пушкина («Нет, весь я не умру...») имела неслабую историю, и реминисценции из своего стихотворения.

*...Только пар, только белое в синем
над громадами каменных плит.
Никогда, никогда мы не сгинем,
мы прочней и нежней, чем гранит...*

У меня было так: *...Только темень да каменный город... / Монолог парпетов и плит. И дальше: Никуда мы бесследно не ка-
нем, / Будем длиться, как жар от камней.*

Поэт Алексей Пурин справедливо отмечает: Рыжий «совсем не таков, каким может показаться неискушенному или невнимательному читателю. Многие сегодняшние поклонники его таланта не способны расслышать высокие регистры его голоса, различить тонкие модуляции этой поэзии – они довольствуются её поверхностным слоем». Пурин даёт свой пример глубокой переработки:

*Над саквояжем в чёрной арке
всю ночь играл саксофонист.
Пропойца на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.
Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубахе белой с чёрным бантом
играть ночами, на ветру...*

«Не вызывает сомнений отмеченная Андреем Арьевым внутренняя перекличка этого стихотворения с «Посмертным дневником» Георгия Иванова: *А что такое вдохновенье? / – Так... Неожиданно, слегка / Сияющее дуновенье / Божественного ветерка. // Над кипарисом в сонном парке / Взмахнёт крылами Азраил / – И Тютчев пишет без пометки: / “Оратор римский говорил...”*».

В сравнении с благородным прототипом у Бориса Рыжего всё низшей категории: не кипарис, а саквояж; не Азраил, а саксофонист; не Тютчев, а пропойца. «Игра на понижение» встречается раз за разом. Так надо? Не шестикрылый серафим, а зелёный змий. Не *А он, мятежный, просит бури*, а *Проматерился, проревелся и на скамейке захрапел*. Не *три пограничника, шестеро глаз* (Багрицкий), а *милиционеры* (*Четверо сидят в кабине. / Восемь глаз печально сини*). Или вот:

*На окошке на фоне заката
дрянь какая-то жёлтым цвела.
В общежитии жиркомбината
некто Н., кроме прочих, жила.
И в легчайшем подпیتی являясь,
я ей всякие розы дарил.
Раздеваясь, но не разуваясь,
несмешно о смешном говорил...*

В «прототипе», у Ярослава Смелякова, начальная строфа такая:
*Вдоль маленьких домиков белых / акация душно цветёт. / Хоро-
 шая девочка Лида / на улице Южной живёт...* И в финале хоро-
 шую девочку Лиду ожидает хорошая любовь хорошего мальчишки,
что в доме напротив живёт. А у Рыжего опять дрянь какая-то:

*Выходил я один на дорогу,
 чуть шатаясь, мотор тормозил.
 Мимо кладбища, цирка, острога,
 вёз меня молчаливый дебил.
 И грустил я, спросив сигарету,
 что, какая б любовь ни была,
 я однажды сюда не приеду.
 А она меня очень ждала.*

Зачем, к чему эта постоянная игра на понижение? Ведь снижено буквально всё: действующие лица, лексика, реалии. Не всё, однако. Есть важное исключение – уровень драматизма. Вот Слуцкий. Обращение к теме Бога у него всегда болезненно.

*Это я, господи!
 Господи, это я!
 Слева мои товарищи,
 справа мои друзья.
 А посерёдке, господи,
 я, самолично – я.
 Неужели, господи,
 не признаёшь меня?
 Господи, дама в белом –
 это моя жена,
 словом своим и делом
 лучше меня она.
 Если выйдет решение,
 чтоб я сошёл с пути,
 пусть ей будет прощение:
 ты её отпусти!..*

А вот Рыжий со своей дрянью:

*– Господи, это я мая второго дня.
 – Кто эти идиоты?
 – Это мои друзья.
 На берегу реки водка и шашлыки, облака и русалки.
 – Э, не рви на куски. На кусочки не рви, мерзостью
 назови, ад посули посмертно, но не лишай любви
 високосной весной, слышь меня, основной!
 – Кто эти мудочёсы?
 – Это – со мной!*

Мольба запредельна. Однако сотрудничать с высшей инстанцией герой не намерен: сам знаю, что мудочёсы, но они – со мной, понятно? Своих не сдаём. Этот тезис развит в инструкции покойному другу («На смерть Р. Т.»):

*...Там, на ангельском допросе,
всякий виноват,
за фитюли-папирасы
не сдавай ребят.*

*А не то, Роман, под звуки
золотой трубы
за спину закрутят руки
ангелы-жлобы.*

*В лица наши до рассвета
наведут огни,
отвезут туда, где это
делают они...*

Снижено всё, что только можно снизить. Дрянь повышает уровень драматизма? Существует такая зависимость? Сложный вопрос, пусть разбираются литературоведы.

7. «ЕСЛИ БЫ НАС НЕ НОСИЛО...»

До сих пор речь шла в основном о том, что мне самому представляется особенно значимым в творчестве Рыжего. Но читателя может интересовать более широкий круг вопросов.

Рекомендую несколько серьёзных публикаций, они иногда доступны в Интернете.

Я уже упоминал статью, которой на смерть Рыжего отозвался поэт Дмитрий Быков (librus2.ilive.ro/dmitrij_bikov_blud_truda_12465.html). Она бескомпромиссно определяет место Рыжего в литературном процессе: «Борис Рыжий был единственным современным русским поэтом, который составлял серьёзную конкуренцию последним столпам отечественной словесности – Слуцкому, Самойлову, Кушнеру. О современниках не говорю – здесь у него, собственно говоря, соперников не было». Мнение о современниках не звучит голословно, Быков называет имена и судит компетентно.

Похожую мысль неизменно озвучивает Евгений Рейн: «Борис Рыжий был самый талантливый поэт своего поколения».

Осторожней подошла к оценке поэзии Рыжего Евгения Изварина, статью которой (seredina-mira.narod.ru/izvarina5.html) я тоже уже цитировал. Для Извариной современники неоднозначны. Это как в музыке: там шоу-бизнес использует словосочетание «современная музыка», чтобы откреститься от собственно музыки, стоящей на плечах гигантов – Прокофьева и Шостаковича, Шнитке и Гаврилина. По ихнему получается, что собственно музыка несовременна, а современны «композиции», под которые подпрыгивают у микрофона потные неандертальцы. Постсоветская поэзия была близка к подобной подмене понятий. Изварина решительно игнорирует литературный перформанс, поколение Рыжего представлено в серии её статей талантами и выглядит достойно. Какой из подходов точнее – Быкова или Извариной? Возможно, оба.

Очень вероятно, что по-своему справедлива и каждая из попыток объяснить уход поэта из жизни. Изварина видит причину в истощенности «сказочного Свердловска»:

«Вне сомнения, он писал всё лучше и лучше, избавлялся от влияний и мог уже говорить (“петь”) своим уникальным голосом. Но – произошел коллапс его мировоззренческой системы, изнутри стал разрушаться его искусственно замкнутый мир:

*Городок, что я выдумал и заселил человеками,
городок, над которым я лично пустил облака,
барахлит, ибо жил, руководствуясь некими
соображениями, якобы жизнь коротка.*

*Вырубается музыка, как музыкант ни старается.
Фонари не горят, как ни кроет их матом электрик-браток.
На глазах, перед зеркалом стоя, дурнеет красавица.
Барахлит городок.*

Поэтический мир болен и умирает. Подразумевается, что душевные силы и иные средства, затраченные на его создание, не оправдались и обречены вместе с ним».

Иначе понял причину ухода Алексей Кузин – тоже земляк, тоже поэт. В роковой день 7 мая он записал в дневнике: «Борис покончил с собой от стыда, что он сам себе не хозяин». Очевидна недоговорённость. Тот же Кузин записал шестью месяцами раньше: «Борис, заговорив на языке воров и пьяниц, как бы надел на себя маску. И в этой маске его пустили на современный литературный карнавал. Честнее было бы иметь открытое лицо». И тут же: «Борис это сам понимает и страшно переживает». Его действительно «пустили на литературный карнавал», но большие поэты обеих столиц ценили в Рыжем вовсе не наносное, здесь Кузин ошибается. Они-то как раз дружно отмечали обаятельную интеллигентность, начитанность и, конечно, талант. Тем не менее слова «сам себе не хозяин» могут быть справедливыми. Было давление имиджа – мучительная обязанность «умереть красиво».

«Житейских причин для суицида у Рыжего не было, – пишет критик Кирилл Анкундинов. – И в самом деле: любящая жена, чудесный ребёнок, родители, друзья, всеобщее уважение, набирающая обороты популярность...» Знакомство с обстоятельствами самоубийства, продолжает Анкундинов, вызывает чувство недоумённой неприязни: свой уход из жизни Рыжий обставил театрально. И всё же «хотелось бы верить в то, что – хотя бы в филологических средах – сохранится след легенды о профессорском сыне, которого выманила из дома и повела за собой – музыка. Она повелела ему стать в глазах окружающих шпаной, урлаком, уркаганом – и он подчинился её велению. Она заставила его страдать – и подарила прекрасные стихи, выстроенные на страданиях. Наконец, она подвела его к петле» (folioverso.ru/imena/1/ankundinov.htm).

Музыка действительно постоянно присутствует в стихах Бориса Рыжего, но не очень понятно, почему она должна нести ответственность за взваленный им на себя непосильный имидж. Сам Рыжий грешил на Пастернака:

*Быть, быть как все – желанье Пастернака –
моей душой, которая чиста
была, владело полностью, однако
мне боком вышла чистая мечта.*

У Пастернака это звучит так: *Всю жизнь я быть хотел, как все.* А максимальное приближение к реализации этого желания читается в его предвоенном стихотворении «На ранних поездках».

*...В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врождённой
И всосанному с молоком.*

*Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.*

*Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.*

*В них не было следов холопства,
Которые кладёт нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.*

*Рассевишись кучей, как в повозке,
Во всём разнообразье поз,
Читали дети и подростки,
Как заведённые, взасос...*

Превозмогая обожанье – это ведь и есть *влажным взором*. Прототип «Уфалея»?! Вот и приехали.

По мнению Алексея Пурина, имидж Бориса Рыжего значил для него нечто большее, чем желание «походить на всех». «Европеец и не поймёт: как ни странно, Борис Рыжий любил этот несчастный и страшный мир. Этот мир был частью его души. Борис жил в нём, пользуясь свободами / на смерть, на осень и на слёзы, – жил им, стремясь алхимически претворить его безобразие в философское золото стихотворной просодии» (opushka.spb.ru/text/purin_rigiy.shtml).

Заманчиво представить Бориса Рыжего шпаной со Вторчермета, таким стихийным самородком. Самородки иногда имеют место, спору нет, но к Рыжему это не относится. Вот Александр Росков, чьё письмо я цитировал в начале статьи, был самородком, поэтом от сохи, точнее – от печки; его, деревенского печника из каргопольской глуши, огранивал сам Межиров, и Росков стал одним из просвещённых литераторов Русского Севера. Вы только посмотрите, какое элитарное стихотворение он выбрал у Бориса Рыжего, чтобы включить в свою микроантологию русской поэзии XX столетия (sukharev.lib.ru/Anthology.htm):

ПИСАТЕЛЬ

*Как таксист, на весь дом матерясь,
за починкой кухонного крана
ранит руку и, вытерев грязь,
ищет бинт, вспоминая Ивана
Ильича, чуть не плачет, идёт
прочь из дома: на волю, на ветер –
синеглазый худой идиот,
переросший трагедию Вертер –
и под грохот зелёной листвы
в захламлённом влюблёнными сквере
говорит полушёпотом: «Вы,
там, в партере!»*

Да, Борис Рыжий иногда писал и так, потому что по существу он был аристократом духа. И хотя рос «в лабиринте фабричных дворов», хотя породнился в своей сердобольной поэзии с этими дворами и их обитателями, сам, как отметил Сергей Гандлевский, «считал себя и был литератором, причём искушённым».

Перед высотами творчества поэта отступает в тень ипостась хулигана и высвечивается лучшее и подлинное. «Сухощавый, элегантный, мнительно самолюбивый, как молодой д'Артаньян, и в то же время приветливый, он был обаятелен и хорош собой... Галантно подарил моей дочери горшок комнатных роз» (Сергей Гандлевский). Галантная роза, подаренная на этот раз жене автора, фигурирует и у Ильи Фаликова, который посвятил Борису Рыжему несколько статей. Они носят литературоведческий характер (Рыжий в контексте поколений русской поэзии – «в цепи великой хрупкое звено»), но есть и личное, в частности рассказ о телефонных звонках Бориса накануне самоубийства.

Это были предпоследние звонки, а последнего Фаликов не услышал – ушёл побродить с заглянувшим к нему Рейном. «Именно в те три-четыре часа, пока мы гуляли, ко мне звонил из Екатеринбурга Борис Рыжий. Назавтра он погиб, а я улётел. Не избавиться от вины. Если бы нас не носило по Москве... а?» Сложный вопрос.

8. В ПРИСУТСТВИИ ПУШКИНА

Куда существенней чувство вины, от которого давно и постоянно не мог избавиться сам Борис Рыжий.

*Есть фотография такая
в моём альбоме: бард Петров
и я с бутылкою «Токая».
А в перспективе – ряд столов
с закуской чёрной, белой, красной.
Ликёры, водка, коньяки
стоят на скатерти атласной...*

Стихотворение ошарашивает. Напитками нас не удивишь, к их изобильному присутствию в поэзии и прозе Рыжего мы привыкли.

Содрогаешься, уяснив, что на этот раз местом возлияния служит место национального поклонения. Пьянка во святыне.

*...Подумать страшно, баксов штука, –
привет, засранец Вашингтон!
Татарин-спонсор жмёт мне руку.
Нефтяник, поднимает он
с колен российскую культуру...*

Всё узнаваемо: засранцы пиарятся, челядь пирует.

Где боль? Куда девался влажный взор? Взгляд поэта насмешлив и точен, сух и беспощаден.

*...Стоп, фотография для прессы!
Аллея Керн. Я очень пьян.
Шарахаются поэтессы –
Нателлы, Стеллы и Агнессы.
Две трети пушкинских полян
озарены вечерним светом.
Типичный негр из МГУ
читает «Памятник».*

Дальше – страшное:

*...читает «Памятник». На этом,
пожалуй, завершить могу
рассказ ни капли не печальный.
Но пусть печален будет он:
Я видел свет первоначальный,
был этим светом ослеплён.
Его я предал.*

Как любил говаривать сам Борис, базара нет. Спорить не о чем: конечно, предал. Предал Пушкина, который верил в спасительное вдохновение и нам завещал работать этим старинным, проверенным методом, а про *взбодряк* и *подогрев* (см. словарь наркоманов) и слыхом не слышал. Предал маму («Я так трудно его рожала!»), предал отца, который научил его любить стихи. Предавал и терзался, терзался и снова предавал. (*Только в песнях страдал и любил. / И права, вероятно, Ирина – / чьи-то книги читал, много пил / и не видел неделями сына.*)

Дочитываем последнюю строфу, медленно:

*Я видел свет первоначальный,
был этим светом ослеплён.
Его я предал. Бей, куда
ещё умею слышать боль...*

Кто – бей? «Ты сам свой высший суд». Всё понимал. За четыре года до окончательного суда над собой написал:

*А была надежда на гениальность. Была
да сплыла надежда на гениальность.*

Точно ли, что сплыла, так и не успев реализоваться?
Сложный вопрос.

Ольга Качанова

ВСМАТРИВАЯСЬ В СЛОВА

*Всего и надо, что вчитаться, – божье мой,
Всего и дела, что помедлить над строкою –
Не пролистнуть нетерпеливою рукою,
А задержаться, прочитать и перечесть.*

Юрий Левитанский

Обожаю рыжих. Увижу – люблюсь, провожаю взглядом, разглядываю незаметно. У рыжих человек особое устройство. Не только яркий цвет волос, но и повышенная чувствительность. Спросите у анестезиологов, и они скажут, что рыжим обезболивающего нужно больше, чем обычным людям. Когда я услышала о Борисе Рыжем – еще не читая стихов, – подумала, что он сам себя так назвал из-за природной рыжести или чтобы обозначить свою непохожесть на других. Оказалось, что эта фамилия – фамильная. Но и потом, когда прочла его стихи, мысли о большей дозе обезболивающего возвращались и возвращались... Потому что было много боли – и как состояния, которое передается читателю, и само это слово встречалось очень часто, особенно в ранних стихотворениях. Его почти нет в поздних, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Но, видимо, к боли можно привыкнуть и перестать ее замечать. Уменьшается боль, но не убывает любовь. Все меньше звезд, все больше облаков. Совсем нет глагола «жить» в стихотворениях последнего года жизни... Еще и еще перечитав всего Рыжего, начинаю всматриваться в слова. Прибегаю к помощи несложной программы, которая показывает статистику употребления слов. Попав в мое поле зрения по чисто техническим причинам, она тем не менее иногда выдавала удивительные результаты. Два года назад, к примеру, шли разговоры о том, как назвать фестиваль памяти Виктора Луфферова. И я решила посмотреть, о чем чаще всего он пел. Первые три слова оказались такими: все – Бог – один. Мне кажется, этим многое сказано. Вот и теперь в отношении стихов Рыжего – удивительное дело – многие мои предположения подтвердились. Поверку «алгеброй гармонии» еще никто не отменял...

Жизнь, смерть, любовь – без этих слов невозможно представить поэзию вообще. Поэзия Рыжего не исключение. В семантическое ядро его стихов на протяжении всей жизни эти три слова входят неизменно. Но главное слово этой триады в каждый период – разное. Доминантой становится то одно, то другое, то третье. Жизнь – любовь – смерть. И получается, что основных периодов в стихотворной жизни поэта – тоже три. Первый – это 1993–1996 годы. Жизни больше, чем любви и смерти. Тогда боль проживается очень ярко, она «звенит» и «гаснет». Ее столько же, сколько любви – не в метафорическом смысле, а в семантическом. Главный зримый образ этого периода – «звезда».

Три составляющие жизни: / Смерть, поэзия и звезда.

Жизнь и смерть, стоящие рядом, становятся основой для восприятия поэтом картины мира. Впрочем, как и у многих, кому дано гово-

рить стихами. Итак: *Да что о жизни говорить, старик... / когда и смерть не заглушает плача.*

Какой бы в вечности ты не имел венец – / увя, не смерть, а жизнь прекрасна.

И всё казалось, будто чем сложнее, / тем ближе к жизни, к смерти, / к человеку...

Дуальность мира обозначена очень ярко. Могилы, кресты, тьма, мрак... – черные, ледяные, а над ними небо. Глубокое и голубое, иногда золотое. Основной цвет – черный, белого и голубого гораздо меньше. Тень и свет – как на офорте. Не претендую на подход Карла Ясперса, описавшего состояния Ван Гога по изменениям цвета его картин. Но смена цветовой гаммы в стихах Бориса Рыжего прослеживается очень отчетливо. Она меняется по мере жизни от черных тонов к светлым. Хотя со словами «жизнь» и «смерть» все происходит наоборот. В этот период «жизнь» и «жить» побеждают «смерть» и «умереть». Пока число живого больше числа мертвого. А «любить» и «любовь» – где-то посередине. Но есть еще нечто, более важное, – это стихи:

*...Но это тра-ля-ля, дружище,
порой, как губы ни криви,
дороже жизни, смерти чище,
важнее веры и любви.*

В таком порядке поэт расставляет свои приоритеты, и нам остается либо присоединиться к подобному раскладу, либо сказать: это не для меня. А для него «тра-ля-ля» превыше всего, Рыжий уже знает, каким оно должно быть. У поэта есть отчетливо сформулированная просьба к «Нему», она сводится к самому простому – как я это понимаю, но и к самому сложному: *О, боже, ты не дал мне жизни вечной, / дай сердце – описать её с любовью.*

«Сердце» как осознанный инструмент для «описания с любовью» появляется в текстах все чаще. «Души» в стихах того времени меньше, чем «сердца». Может быть, это эстетический выбор (уж больно потрепали «душу» стихотворцы), а может – и мировоззренческий. Сердце смертно, а значит, острее чувствует столкновение жизни и смерти. Именно в этот период у Бориса Рыжего рождается «градостроительная идея» – поместить город внутри человека: *Ты сказала: я чувствую город в груди – / арки, люди, дома и дожди...*

Этот город возникает из музыки и исчезает вместе с ней. Такой строительный материал. Вот и появляется много музыки для возведения своего города. Именно «музыка» и «небо» становятся главными образами в 1997–1999 годы. А в триаде «любовь – жизнь – смерть» побеждает любовь. Как понятие, как состояние, как действие. Картина мира заметно светлеет, черного цвета столько же, сколько голубого. Активно добавляется синий цвет и красный. Убывает «золото» – это и понятно: чем ближе картина к реальности, тем меньше сияющих цветов. Поэт начинает создавать свой Город, населять его людьми. Обращается к памяти и выбирает героев. Вместе с ними приходят слова из периферии языка. Соединяются две стихии – семантика литературной поэзии (не знаю, как сказать точнее) и язык заводской окраины. В этом соединении поэт проявляет особую деликатность. Уверена, что в

его лексиконе был такой запас «периферийных» слов, что нам и не снилось. Борис Рыжий знал, *как много может лёгкий матерок*. Однако ненормативная лексика появляется только в случае крайней необходимости. Но это отдельный разговор. Попробуйте найти в интернете, к примеру, синоним к выражению «войти в доверие». Там сотни две глаголов, которые никакой журнал не напечатает. Но люди из Города наверняка их знают. Однако все это остается за кадром.

Мы видим реальность, в которой нет ничего такого, что поэт осуждает или судит. Нет никаких оценочных определений в отношении личности каждого из своих героев. Все достойны восхищения:

*Какие люди, боже праведный,
сидят на корточках в подъезде –
нет ничего на свете правильной
их пониманья дружбы, чести.*

Характеры жителей города раскрываются через поступки и действия. Борис Рыжий начинает разговаривать с нами людьми, их историями, их судьбами. Мне даже кажется, что и собственная жизнь впоследствии станет тем, чем он будет говорить с нами. И его уход – это тоже попытка сказать что-то важное. Как написал Борис Рыжий в своей прозе: «Реальность требует сыграть по-крупному». Реальность «градостроительного» периода требует сосуществования, согласия, совместных действий, но только – не соавторства. Просьба к Господу уже нет, поэт сам творец. Обращается почти на равных: *...Но Бог не дурак, он по-своему весельчак*. Из «свалки памяти» Рыжий извлекает своих Адамов и Ев. Живы они или нет – Эля, Наташа, Витюра, мурлозвон Евгений, Гриша Штопоров... – неважно. Дядя Саша, дурень Петя, дурочка Рая, Череп, Водяной... Реальные имена и фамилии, топонимика – все приближает нас к реальности. В городе есть все, что нужно для жизни его героев: общага ПТУ, гаражи, дома хрущевские, пустыри, винные магазины, кладбище, цирк, острог. Полный градостроительный набор. Полный набор характеров, к которым добавляется еще один. Это лирический герой:

*Мой герой ускользает во тьму,
вслед за ним устремляются трое.
Я придумал его, потому
что поэту не в кайф без героя.*

Герой – свой среди своих. Отвечает добром на добро, корешится с мафиози, любителю с буфетчицей ночным небом, *уделав стакан за удачу*, пожимает руки. В стихах много свидетельств тесных отношений с жителями города. Между ними нет никаких различий. Но иногда зрением боковым герой отмечает: *И что ни миг, чем расстояние / короче между ним и мной, / тем над моею головой / очаровательней сиянье*. Ощущает, что ему дарован осколок огня. Говорит об этом не всерьез, но в какой-то момент ему становится ясно, что полного слияния не произошло: *Смотри, они жалеют и смеются...*

Обозначена дистанция не только между его героем и другими жителями города, но и разрыв между лирическим героем и автором. Эта дистанция будет увеличиваться и увеличиваться до тех пор, пока создатель не уйдет из своего города.

В следующий период (2000–2001) триада основных слов выстраивается таким образом: смерть – любовь – жизнь. Но любви по-прежнему много. Юношеская просьба к Богу выполнена, жизнь описана поэтом с любовью. Градостроительная идея тоже осуществлена. Можно посмотреть на свое творение со стороны – «Город» превращается в «Городок». Так теперь его называет Борис Рыжий. Уменьшительный суффикс меняет масштаб картины и точку зрения на нее. Субъект становится объектом. Смотрит на себя со стороны: *...Мальчишкой в серой кепочке остаться, самим собой, короче говоря.* И такое шокирующее самоопределение: *...а что называется мной.* Слово «я» вообще появляется все реже. И в окружении поэта меньше становится людей, которых он называет по имени, все больше «типажей»: «податый сосед», «грязный школьник», «тётя с приветом»...

Облака и небо в этот период становятся главными зрительными образами. Картина мира заметно светлеет – много света, синего, голубого и белого. Этому я не удивляюсь, вспоминая позднюю лирику Анны Ахматовой: «И кажется такой нетрудной, / Белея в чаще изумрудной, / Дорога не скажу куда... / Там средь стволов еще светлее, / И все похоже на аллею / У царскосельского пруда».

Во власти поэта увидеть свет в том, что его ждет. Борис Рыжий в силах изменить цвет городского пейзажа, но на соображения о жизни он повлиять не может. Обращается к Богу с дерзостью отчаявшегося что-либо изменить человека: *...слышь меня, основной!* Спрашиваю себя: «основной» среди кого? Наверное, все-таки «основной» среди творцов, создателей. И тут мне чудится картина, напоминающая выдуманную реальность в фильме «Шоу Трумана». Все люди – актеры, только Труман живет настоящей жизнью. Город – это построенные декорации в огромном съемочном павильоне. Облака, солнце, озеро... – все искусственное. Один главный герой настоящий, и однажды он догадывается об этом. А дальше – бунт против главного режиссера «шоу», против установленного формата. И наконец, герой решается на то, чтобы покинуть павильон. Он понимает, что этот город подчиняется замыслу, на который невозможно повлиять. Можно или играть дальше свою роль, или оставить город вместе с его жителями:

*Жалуйтесь, читайте и жалеите, / греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слезы лейте. / Только без меня.*

Можно оставить и то, что над городом: *...без меня отчаливайте, хватит – небо, облака!* И тогда человек нащупывает грань, отделяющую этот мир от другого, неведомого. Он нащупывает дверь в огромной оболочке, изображающей небо. Он берется за дверную ручку... Вижу эту ручку, думаю – почему она появляется в моих мыслях? Потом вспоминаю, что именно к ней была привязана веревка.

А у нас, «читающих и жалеющих», остаются вопросы. Но только – не выводы. Делать выводы из жизни – даже не помышляю об этом. Сравнивать, оценивать, примыкать к виноватым... Нет. Но, может быть – тоже попрошу, чтобы было в моем сердце больше любви для описания своей не вечной жизни.

Посмотрела частоту употреблений слов в этом тексте, оказалось: Рыжий – любовь – город. Вот, собственно, что я хотела сказать.

Андрей Крамаренко

ЭТО СО МНОЙ

Не новый вопрос, можно ли анализировать предмет любви, а в моем случае отношение к поэзии Бориса Рыжего – это, конечно, любовь, имеем ли мы на это право. *Всё прекрасное – тайно / и секретно, друзья*, – предупреждал Борис и был прав. Тайну рождения прекрасного не раскрыть. Но проследить путь или пути художника к этой тайне, которые он выбирал, открывал – почему не попробовать? Есть и причина: может быть, это знание поможет кому-то другому найти путь к своей тайне? За десять лет отсутствия Бориса профессиональными литераторами на сей счет написано немало исследований. Я лишь добавлю несколько своих замечаний под углом зрения обычного потребителя литературы.

ВЕРНУСЬ ОДНОЗНАЧНО

Свой «городок» Б. Р. населил человеками, что живут в «промышленной зоне» на рубеже двадцатого – двадцать первого веков, любят, рожают детей, пьют «плохой алкоголь», страдают, сходят с ума, умирают. Чем стихи Б. Р. милы моему сердцу, как и сердцам его теперь уже многочисленных почитателей, ведь «городок» – место далеко не райское? Психологи говорят, что одним из основных страхов является незнание. Места, времени, языка. А мы узнаем себя, вот в чем фокус. Это наш городок, наша улица, наш подъезд, наш сосед, и уходит страх, преследующий нас не только со стороны массовой культуры, но и – с противоположной стороны – современного искусства, которое все меньше обращено к рядовому зрителю, слушателю и читателю. Уходит страх, который возникает и в обыденной жизни, где все чаще сталкиваешься с нечеловеками. Уходит страх, потому что поэт говорит с тобой на понятном языке, пусть и пересыпанном изредка ненормативной лексикой (так ведь и это мы где-то уже слышали). Страх уходит, а душа наполняется сердечной теплотой, которой пропитаны строчки поэта. Он не холодный и циничный наблюдатель за жизнью человека или даже сочувствующий им, но на почтительном расстоянии (узнаете нашу поэзию?).

Борис участвует в судьбах человека: не было ни одного просившего милостыню на его пути, кому бы он не подал, мгновенно ввязываясь в драку, видя несправедливость, не задумываясь о последствиях (ведь «честь должна быть спасена мгновенно», не так ли?), пьет с человеками, видит в человеке Человека и уже только за это любит его. Способность возлюбить ближнего (и дальнего тоже) развита в Рыжем по сегодняшним меркам предельно. Это доминанта и в стихах, и в жизни самого Бориса. Когда он принес в редакцию журнала, где работал, стихи Уфлянда, редактор в резкой форме отказался их напеча-

тать. Придя домой, Боря по-детски расплакался (чем не иллюстрация к его любимому Слуцкому: *Покуда над стихами плачут...*). Из журнала ушел навсегда.¹ Ну да, как ребенок. А «дитя прекрасно». Да, с детства Борис оведали теплые ветры родительской любви, мальчишеской дружбы. Там, в детстве, зарождались искренность, острота и чистота его чувств. Ностальгия по детству, юности – миру чистоты и любви – темы, к которым Борис возвращался в стихах все время. И снова мы узнаем себя, шемяще тоскующих по своему прекрасному далёку.

Мир светлого детства, юношеской любви, дружбы и верности держал, не отпускал мужающего Бориса, но холодные ветры мира реального уже били в сердце. В распадающейся стране открывался сезон предательства и лжи, алчности и насилия, ненависти. Душе, коли таковая наличествует, противно то, что стоит за этими словами. Душе поэта – многократно. Душа его стремится к ладу, гармонии, сердце болящее не может ни впустить в себя демонов зла, ни примириться с поражением детских (а на деле-то – человеческих) идеалов под напором нарастающей энтропии в обществе. Струна натягивается. Поэт понимает – не выдержит, рванет. Оттого одновременно столько безнадёги и столько света. В безнадёжность не веришь, поэт говорит о смерти походя, мельком, подчас с блестящей тонкой иронией. А свет озаряет всякий раз, как раскрываешь книжку.

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Стихи Бориса *невучи*. Я понимаю под этим словом не голосовые модуляции читающих свои стихи поэтов (или интерпретирующих не свои – чтецов), напоминающие пение, а утилитарную способность стиха к переложению на музыку или – более узко – становиться песней. Это свойство наличествует, коли позволяет форма и содержание стиха. Свойство, редко встречающееся в современной поэзии, заключающееся, с оговорками, в лексической и смысловой простоте (не примитивности! – вспомним пушкинское «А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», вокруг которого за полтора века сломано столько копий из-за буквального прочтения. Выскажи А. С. эту мысль в стихе, не было бы повода для шума. Что и сделала в шуточных строчках Новелла Матвеева: *Поэзия должна быть глуповата / Но сам поэт – не должен быть дурак*. Ясность мысли и простоту изложения, думается, имел в виду классик, за что и был востребован композиторами). Плюс – некая «сюжетность». Определение, конечно, расплывчатое, нестрогое и неточное, поскольку стих может и обладать этими качествами, но оставаться безнадежно «непесенным». Стало быть, условие необходимое, но недостаточное. Стихи Б. Р. поются, это слышно невооруженным слухом, и это качество также привлекает читателя. (Пользуясь оказией, хочу обратиться к мастерам поэтического цеха с просьбой спускаться, пусть ненадолго, с горних

¹ Роттердамский дневник. // Борис Рыжий. Оправдание жизни. Лирика, проза, критика, интервью, письма. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. Составитель Ю. В. Казарин.

высот от разговоров с Богом и проблем Языка к нам – на улицу безъязыкую, спускаться с простыми – да пусть бы и непростыми, но – песнями. Ибо сказано не нами: в песне душа народа. Ибо хреново народу жить без души, то бишь без песен сегодняшних, ибо хреново сегодня. В этом соль и сказанного выше скобок.) Вот и все, что я хотел объяснить больше себе самому, почему так любим мною Борис Рыжий. Осталось небольшое музыкальное приложение.

БОНУС-ТРЕК

Многие стихи Рыжего откровенно провоцируют композиторов. Только я знаю больше десятка авторов, пишущих или писавших на стихи Б. Р. Число песен, о существовании которых мне известно, приближается к двумстам и будет расти, в чем можно не сомневаться, хотя бы потому (а в основном-то, увы, не потому), что абсолютных «попаданий», на мой взгляд, пока всего лишь одно («Над домами» Сергея Никитина) и еще шесть-семь ближе к яблочку, чем к молоку, и почти все – у того же автора, наделенного прекрасным композиторским даром и поэтическим слухом. Причина, возможно, заключается в следующем свойстве поэзии Бориса Рыжего, которое сознательно редуцировал композитор. Имя свойству – *н е р в*. Стремление Никитина «обезболить» песней стихи – суть его приверженности норме, проявление заботы о слушателе, его психическом здоровье. Это – высший пилотаж для композитора. Это позиция мудрого мастера и может служить правилом для пишущих песни. «А правила без исключения нет». В случае с поэзией Б. Р. – оно не работает. *Н е р в*. Это свойство – порождение натуры Б. Р., его психики, физиологии, мировоззрения: Борис так жил. Оно имманентно. Потому оно растворено в лексике, фонетике, иногда почти незаметно, но присутствует всегда. У Рыжего *н е т* спокойных стихов. Вторгаясь мелодией, гармонией, интонацией в их ткань, композитор должен помимо прочих решить задачу сохранения этого свойства. Иначе стих рассыпается, гибнет подобно зубу (не самая удачная метафора), обреченному по удалению нерва. У Слуцкого, например (на стихи которого тоже песенные удачи единичны), таким неудаляемым свойством является пафос. Есть оно, у каждого свое, и у Тарковского, и у Бродского, еще целого ряда поэтов. Это то, при удалении чего стихи теряют свой объем, а порой и смысл. Повторюсь, Борис так жил. На пределе. Его струна всегда перетянута, готова в любую минуту рвануть. Где нерв и струна – там Высоцкий. Рыжий любил его песни, часто крутил пластинки. (Опять к певучести – повлиял Владимир Семёныч? Или отозвались концерты мощного в те поры КСП Челябинского политехнического института, куда водила маленького Борю его старшая сестра?)

P.S. У меня есть ощущение, что после того, что случилось в двадцатом веке, человеки нуждаются уже в Новейшем Завете. И он уже пишется лучшими поэтами. А самые сокровенные слова сложатся в новую Песнь песней, которую исполнят барды. Там будут обязательно и строчки Бориса Рыжего.

Ольга Чикина

МИЛЫЕ ЛЮДИ И РЫЖИЙ

Вообще, мы все с вами страшно милые люди.

И все идет к тому, что со временем сделаемся еще милее.

Плохо ли это? Отчего же плохо.

Милый человек – это очень хороший человек. Вежливый, приветливый. Участливый, позитивный. Зарабатывает. Здоровается. Как узнает, что порешил с собою талантливый пьющий литератор, – покачает горько головой: «Ой, ну что ж такое». Читает прекрасные книги. Слушает прекрасную музыку. Покупает прекрасные продукты питания. Уважает себя и ближнего своего. Не скучает, не мучается, не страдает бессонницей. Хороший друг и заботливый родственник. Если пьет, то в меру.

Милый человек – это прелесть что такое. И жизнь его на сегодняшний день исполнена выгод и преимуществ. Правда, лишена роскоши.

Стать милым просто: надо отдаться течению жизни со всеми ее обстоятельствами, борьбой, суетой и правилами. Все дальше и дальше оно будет относить тебя от дикого, отчаянного, одинокого «я», живущего в самом центре твоей души.

Встречи с этим «я» случаются в полусне, вынужденной праздности, под алкоголем, при чтении стихов. Они портят настроение, лишают самоуважения и несут с собою тревогу и высокую печаль. А всем известно, что тревога и высокая печаль – признаки лузерства и давно в отстое.

Однако встречи эти полны намеков, что, мол, есть какое-то иное существование, иные берега и все такое, все такое... И что, вообще-то, благородному человеку пристало жить вовсе не так, как мы ныне это делаем.

Такие встречи учат говорить с небесами. А это уже поэзия. А поэзия, как заявил поэт Рыжий, – это роскошь.

Мы плаваем в мутной воде и не можем разглядеть всех чудес мира.

Поэт Рыжий хорошо умел делать мутную воду прозрачной. Он протирал действительность, как запотевшее окно, и смешное оказывалось страшным, а страшное – смешным. Кажется, он просто занимался тем, что возвращал явлениям забытые имена, образы и смыслы.

Он умел делать видимыми очевидные вещи, которые по каким-то причинам перестали быть для людей очевидными.

Какие же это вещи? А вот какие.

Каждый и любой из нас абсолютно одинок. И все эти наши «ах, давайте, давайте все обнимемся, и будет нам чудо человеческого общения» – хрень собачья; это мы от страха перед своей настоящей су-

тью. Перед обстоятельством, что человек рождается не для счастья, а для познания и прозрений.

И для поэта Рыжего, лихого, неистового, веселого, отчаявшегося, сумасшедшего, как сама наша страна в лучших и худших своих проявлениях, одиночество было естественно. Как естественно оно для любого благородного человека, который не будет себя за это жалеть и бегать по психотерапевтам, чтобы те научили его позитивному мышлению.

Ибо чувство одиночества – высокое чувство. Это чувство маленького человека, которого мы когда-то так жалели и от которого ныне так бежим, оно помогает увидеть высоту неба, услышать подземный звук стихий и мировую музыку.

И лучшие друзья стремятся побыть вместе, чтобы любовью измерить глубину одиночества. Хочешь почувствовать – дай чувству тебя охватить. И только охваченный чувством одиночества видит свою душу и небо одновременно.

Вот что такое роскошь. То есть поэзия. Поэзия – она не в книжке, она внутри человека. А Рыжий – тот, кто помогает это увидеть.

Не знаю, был ли он мастером. Но, кажется, интуитивно ему удалось положить мозаичный кусочек рисунка точно на нужное место. Потому что форма большинства его стихов так же естественна, как форма старого глиняного горшка, вырытого из земли.

Не знаю, был ли он искренним. Но, кажется, и впрямь эти стихи писались не мозгами, а горячим сердцем, что ныне не очень вроде бы модно, однако заставляет иного волноваться, плакать и чувствовать себя живым.

Поэт – самое естественное из человеческих существ. Поэтому любые границы, стены, заборы, возведенные искусственно, для него ерунда. Он знает, что мир безграничен, и это знание ужасно. Но оно же помогает увидеть красоту мира и – полюбить всё разом и без разбору. Кто это сказал, что безобразное – это то прекрасное, что не смогло уместиться в душе? А у Рыжего вон сколько всего в нее поместилось. Убийцы-раздолбай, ласковое ворье, убогие, дегенераты, сумасшедшие, бомжи, серые, добрые, злые, смешные люди, униженные, тупые, унылые – он их всех любил, и эта любовь, похоже, и впрямь была безусловна. Рыжий любил их как самого себя, и это тоже естественно, ибо ему не надо было, как у Мережковского, «ходить в народ», как в чужую деревню. Потому что Рыжий – он сам народ и есть.

Наши добрые чувства делаются сонливыми.

И я так боюсь уснуть заживо в этой мутной воде и проспять до самой смерти.

Человеку чуткому всегда как будто чего-то не хватает. И он занимается йогой, меняет пол, идет в бандиты, едет за границу.

Но ему не хватает одного – себя самого – бодрствующего, любящего, живого, исполненного чувств. Ему не хватает поэзии.

Которая есть роскошь.

Я люблю почти все, что он написал. Но более всего нуждаюсь в двух стихотворениях.

Первое – про дядю Пашу и плохой фабричный репродуктор. Помню, как на рубеже веков этот стих был торжественно декламирован другом Рыжего, поэтом Григорием Данским. С тех пор эта вещь и украшает собою мое прошлое и прошлое моей страны.

Второе же – про спящего поэта Диму Рябоконя, к которому пришло море. Я очень хочу, чтоб ко мне оно тоже пришло. Но к милым людям море не ходит.

А чтоб пришло, мне нужно уйти из дому, напиться, проматериться, прореветься и уснуть на лавке – Бог знает где. А это роскошь.



Тригорий Певзнер *ЗА РАМКОЙ КАДРА*

ПАЛАМЕД

«Какая сука Одиссей!» – люблю говаривать, кося.
От Одиссея жизни всей осталась только «Одиссея».

А Паламед был деловит, он, гнева не боясь Зевеса,
дал людям числа, алфавит! Он меры дал длины и веса,
на годы, месяцы и дни разбил расплывчатое время.
На список дел его взгляни – не хватит нобелевских премий!

Познав движение светил, он корабли по ним направил,
для войска правил наплодил и для приёма пищи правил.

Презревши Одиссеев раж и Одиссеевы замашки,
не раздобытый им фураж, без маузера и фуражки,
где надо, действуя рублём, где надо, расставляя точки,
с одним копьем и кораблём он раздобыл без проволочки,
игру придумал не одну из тех, что любит наша эра.
Да и Троянскую войну воспел он, кстати, до Гомера!

Но Одиссей похлопотал, припрятал золотишко в яме,
шутя его оклеветал – и Паламед побит камнями!

Ну, не хотелось на войну, ну на хрена ему чужбина?
На кой ему бросать жену и новорожденного сына?

Ну да, под психа он канал, ну да, устроил представление,
а Паламед и распознал, и заложил без сожаленья!

Конечно, хамство затаить за это, в общем-то, несложно,
и можно было отомстить, и дать по роже было можно.

Но чтобы подло предавать? Но чтобы, избегая стычки,
вот так камнями побивать по древнегреческой привычке?

Не комильфо, как ни крути! А не похвально, так уж точно!
Но Одиссей у всех в чести, а Паламед забыт – и прочно.

А всё Гомер! Исток всего Гомера к Паламеду зависть.
Поэт и комплексы его – всегда проблем грядущих завязь.

Поэты лепят этот мир. Поэта слово – мира мера.
Один – забыт, другой – кумир. Всё это происки Гомера.

Поэт не знает берегов. Покорен мир поэтов лирам.
Поэты создают богов – и эти боги правят миром!

* * *

Кто ты здесь – незадачливый дачник?
Врач? Лихач? Неудачник? Палач?
Жизнь – какой-то нелепый задачник,
где решения нет у задач.

Нету света в конце коридора,
и, какой ни пойдёшь из дорог,
у дороги дежурит Пандора
и трясёт изобилия рог.

* * *

Я посылаю тебе шифровку –
отсюда нет напрямую связи...
Я посылаю свою шифровку
то криком чайки перед грозой,
то стайкой листьев, то всхлипом грязи...
То спелой сойкой на старом вязе...
То предрассветною бирюзой...

Я посылаю, а ты не слышишь,
ты трудно дышишь. Ты, на спине
когда заснёшь, иногда так дышишь...
И ведь не звякнешь, и не напишешь...
Я упрошу, мне позволят – слышишь? –
к тебе порой приходить во сне.

СЕДИНА В БОРОДУ

Грызущая боль в пояснице,
и в шее, и в правом плече.
Покой уже больше не снится,
и спится хреново даже.

А Музе, мерзавке, нет дела,
и хворь непонятна моя.
Сама она лишь молодела
за время, что старился я.

Хохочет мерзавка, щекочет
и скачет, зазывно маня...
Неужто по-прежнему хочет
чего-то и впрямь от меня?!

* * *

Солнце поднялось чуть свет,
растранжиривает свет.
Ни малейшей экономить
у него охоты нет.

Свет растаять поспешил.
Он сошёл уже с вершин.
Но зато на крышах лужи
у домов и у машин.

Свет стекает по листве,
оседает на траве.
Дворник свет скребёт лопатой,
свет лежит на голове.

Свет доступен за гроши,
наливают от души.
Постепенно вылезают
похмелиться алкаши.

Дома лишнее оставь,
на носу очки поправь.
Поискать попробуй бродя,
но, похоже, надо вплавь!

ОСЕННЕМУ ОДУВАНЧИКУ

*...проснись, сумасшедший подснежник,
и встань, и звони по зиме.*

В. Ланцберг

Тепло ненадолго вернулось,
НЗ напоследок даря.
И снова унылая снулость
накрыла страну октября.

И больше пощады не клянча,
не веря уже чудесам,
последний увял одуванчик,
но сбросил последний десант.

Последние парашютисты,
вы в воздухе приняли бой
и пали, как водится, быстро,
но землю прикрыли собой.

Я знаю, однажды, однажды
у солнца согреется кровь,
и будет востребован каждый,
и каждый поднимется вновь.

В своей униформе зелёной
восстанете вы ото сна,
когда по зиме утомлённой
внезапно ударит весна!

* * *

Страшно жить на этом свете...

Н. Олейников

Больно страшно на планете
в наши сумрачные дни.
Бродят дети в интернете –
без родителей, одни,

точно зомби. Всюду зона,
и без stalkера ни зги.
Под воздействием озона
разрушаются мозги.

Под воздействием озона
соль уходит из земли.
Землю плотно фармазоны
паутиной оплели.

Дочь зависнет среди пугал,
сын останется висеть...
По углам повсюду Гугл
всех отлавливает в сеть,

из угла традиций угли
норовит мочой залить!
Начинают дети гуглить,
не закончивши гулить!

Мяч не лупит по воротам.
Исчезает хлорофилл.
Ждёт за каждым поворотом
жуткий википедофил.

Пол прекрасный не рожает,
рвёт, лажая, парка нить...
И Всевышний угрожает
нам провайдера сменить.

* * *

Утро, тронувши на востоке,
растворяет туману створки,
растворяет туманный панцирь...
Мы лежим с тобой, как лежали,
прикасаясь друг к другу лбами.
Я веду по губам губами.
Так водил заскорузлым пальцем
Моисей по своей скрижали.

* * *

Когда зеркальце мутнеть перестанет
когда боли наконец доболят,
над знакомыми недавно местами
пролетит освободившийся взгляд.

К самому себе примерится малость,
как поднявшийся впервые птенец, –
ни печали, что, мол, всё состоялось,
ни восторга, что конец – не конец.

И уйдёт за обиталище птичье,
потому что размотался клубок,
потому что отработан урок,

потому что позовёт, от величья,
от навязанного нами обличья
наконец освободившийся Бог.

* * *

Мозги в чести – к мозгам не лезьте!
А жопу всяк себе честит.
Обидеть жопу – дело чести
для потерявших честь и стыд.

Дырявят бедную шприцами.
Друг друга шлют в неё порой.
Вы не догадывались сами,
с чего у жопы геморрой?

А между тем не купишь в шопе
замену жопе, ё-маё!
Всё тело зиждется на жопе
и вырастает из неё.

И жопа, перейдя на шёпот,
твердит рассерженно слова
о том, что правильная жопа
любому делу голова!

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА

*Виновата ли дама, что время уходит,
А она не видала его никогда?*

Ольга Чикина

Конец оваций. Смолкли крики.
Народ расходится с концерта.
По грудь исполнена музыки,
бредёт домой бухгалтер Берта.

Йоганнес Брамс и Зубин Мета
остались с ней, оберегая.
Но путеводная комета
у Берты всё-таки другая.

Евгений Кисин, гений юный,
сумел без всякой партитуры
затрепетать заставить струны
полифонической натуры.

Под звёзд булавочным узором
пред ней лежит её Реховот.
Но кудри вьются перед взором,
но сердце – как под током провод.

И вот уж сон потерян прочно,
душа изорвана в лохмотья.
И нужен муж, буквально срочно.
На крайний случай – с крайней плотью.

* * *

Тому, кто не был Дед Морозом,
что всевозможным жизни прозам
и как противопоставлять?
Давай беднягу пожалеем!

Но я-то был и Бармалеем –
чего же мне бояться, блять?!

* * *

...Мы в Феодосии. Начало дня.
Мы пирожки на улице купили.
Под Киевом какая-то фигня,
и ехать в Киев нас отговорили.
(Не надо крыть меня и укорять –
я не прошу Чернобыль повторять!
Но в этом кадре он за рамкой кадра...)
На рейде в Севастополе эскадра...

О чём я? Севастополь не тогда!
А что тогда? Всплывает ерунда:
белёный Дом колхозника. Площадка
с качелями и скамьями. Палатка
на пляже в Планерском, и пляшущие блики
полны луны, и солнца, и весны,
спланировав с отхлынувшей волны,
срываются на сердлолики...

Я повидал с тех пор десятки стран.
Мы, что ни год, летим за океан,
иль за море, иль на море хотя бы.
Канадцы, и бразильцы, и арабы
сливаются в один калейдоскоп...

А я единым глазом, как циклоп,
копаюсь в памяти. И что там в глубине,
чем дальше ухожу, тем ближе мне,
что светится так горько и так сладко?

Короткий отпуск. Поезд. Перекоп.
Белёный Дом колхозника. Палатка.

* * *

Март в улыбке зубы скалил,
тут и там пыльца летела,
птицы горло полоскали...
А душа пилила тело:

– Как бы справиться с тобою?
Дал Господь в таком родиться!
Ты ж за юбкою любую –
ну куда это годится?!

Нет бы в небо голубое –
не по весям, а по высям!

Нет бы помнить, что с тобою
друг от друга мы зависим!

Вы, тела, себе беспечно
оттянулись между делом,
нам же, душам, нужно вечно
всё расхлёбывать за телом!

Вы кутнули и забыли,
ну а нам-то отдуваться
до скончания века или
даже дольше, может случиться!

Вдруг донёсся голос Божий
через море, через сушу:
– Ты права! Но только всё же
не трави ты телу душу!

Март сегодня в полной силе,
яйцеклетку ищет семя.
Телу скоро гнить в могиле,
а у нас ведь будет время!

Пусть оттянется немного –
до конца стихотворенья.
А потом его, ей-богу,
пустим мы на удобренья.

Даже завтра, может случиться...
Сверху что-нибудь посадим...
Дай ему поразвлекаться –
а с тобой мы всё уладим!

* * *

С унылым видом марабу и носом какаду
браню шалавую судьбу, но вслед за ней бреду.

Она быстрее день ото дня, я следом, семеня.
Герой не вышел из меня и не вошёл в меня.

Я, в пламя бросившись, ретив, не вынесу дитя,
красотку не спасу, скрутив насильников, шутя.

Я Эверест видал в гробу, не сунусь в Катманду –
я и у шерпы на горбу дотуда не дойду.

Я лишь любую ерунду, какую – наплевать! –
от какаду до Катманду могу зарифмовать.

Марк Азов

ХУДОЖНИК

Прибежавший охотник долго размахивал руками, пока выдавил из себя слово, но и по жестам его все уже поняли, что добыча огромная – в яму провалился мамонт. И племя с криками высыпало из пещеры. Чтобы убить, разрубить и дотащить такую громадину, нужны были все, включая мальчишек и девчонок. Даже женщинам с детенышами на руках не терпелось посмотреть. Не каждый день такая удача – эта ловушка уже зарастала кустарником. Поэтому в пещере остался только один человек, тот, кому выпало на сегодня хранить и подкармливать огонь. Никакая добыча не спасла бы от неминуемой смерти, если бы огонь погас.

Дров наготовили много и в большом зале с высокими сводами с ним разговаривал костер, прищелкивал горячим языком... Дым уносило в потолок, где были выходы в небо между камнями, обросшими бородами копоти.

Он впервые остался один на один с огнем. Никто ничего не сушил, не жарил, не плясал и не совал палки. Никто не мешал смотреть в пустое сердце пламени – прозрачный синеватый треугольник.

И костер полюбил его, приложил к его щеке свое тепло, человек благодарно сомкнул веки и, плавно покачиваясь, поплыл по реке сна...

И река превратилась в море: раскачиваться во сне он стал все сильнее, дно пещеры как будто оторвалось от него, и он, показалось, летит, потеряв опору... И, в страхе проснувшись, он услышал грохот снаружи, а здесь ощутил на зубах песок, мелкие камешки, падая с потолка, путались в волосах и бороде. Он бросился к выходу и не нашел его. Зев пещеры был завален, будто она наглоталась камней и подавилась ими. Он пробовал растаскивать камни. Да где там... Казалось, им не будет конца и края. Другого выхода, он знал, не было. Только дыры в своде главного зала остались, туда уходил дым и входил свет. Но ему туда не долезть и не допрыгнуть. Он уже взвыл было от отчаянья, но спохватился, сгреб в ямку живые угли от костра и сделал его маленьким, чтобы хватило дров на дольше, пока не вернутся люди и не разгребут завал у входа.

А люди, рады, что живы, переждали землетрясение на открытом месте и побежали к пещере, где были их вещи, посуда, орудия, запас дров, огонь... Но их пещера исчезла. Целая гора сползла по склону, и теперь надо было бы срыть гору, чтобы открыть рот пещеры. И мужчины с грудками мяса на носилках, сооруженных из копий, за ними женщины, тоже нагруженные едой, и дети, умеющие ходить, и детеныши на плечах у матерей – все потянулись в путь неведомо куда, чтобы найти другую пещеру, отнять у кого-то огонь или быть убитыми, может быть, даже съеденными другими счастливыми обладателями огня и пещеры...

А он остался в закупоренном зале под черным куполом, и только полосы света из недоступных дыр, пересекая крестом пространство, упирались в каменную стену. Он смотрел на эту стену бессмысленно, покорно, обреченно... И увидел бегущего зубра...

Зубр нес свою взгорбленную тушу, опустив морду так, что рога почти стелились по земле. Это был, конечно, не сам зубр, а натеки камня на стене, удивительно напоминавшие зубра.

Человек подошел вплотную к стене и ладонями погладил, а пальцами прощупал складки, превращающие камень в зубра. Руки его были черны от углей разгребаемого костра – зубр почернел, и его уже никто не спутает с натеками камня.

Путать, впрочем, было некому. Но человек забыл в этот миг, что он один в пещере. Мысли его были заняты совсем другим. В пещере была краска, которой красили лица: желтыми лицами племя отпугивало болезни, голод и холод, с красными лицами бросались на врага или отгоняли зверя от пещеры. Вообще-то, она была желтой, траурной, эта краска, и напоминала о неизбежном, что его ждет в пещере... Но, если обжечь на огне, желтое становилась красным. Человек так и сделал – обжег. И теперь он уже был не один в пещере: красный зубр бежал по стене в перекрестье света, и морда его была слегка повернута к смотрящему.

Но тому оставалось жить столько, на сколько хватит дров, чтобы тлел крошечный огонек, который он оставил от костра. Что же касается воды и пищи, то первая текла по стенам, вторая – ползала. Пленник пещеры ел мокриц и улиток без домиков. Пещера была огромной, с множеством коридоров, камер, углов, тупиков. Летучие мыши висели вниз головами – он наловчился их ловить и тоже превращать в пищу. А сладких корней, орехов, плодов и съедобных стеблей племя успело наготовить на целую зиму.

Но все это только продлевало муки. Мир замыкался в каменных стенах. И человек, как скорпион, попавший в кольцо огня, готов был обрушить на свою голову каменный коготь или биться с оем о стены, стонать, рычать и царапать сырую твердь.

Но его каждый раз спасал зубр. Зубру тоже было плохо одному, без стада. И человек подходил с краской... Рядом с зубром на стене проявился бык, пара пасущихся антилоп, кулан, убегающий во всю прыть от тигра. Потом появились люди, бегущие с копьями или с натянутыми луками. Стена ожила и задвигалась, никто не стоял на месте. Человеку не оставалось времени на то, чтобы подумать о своей ужасной судьбе. Только мелькнет жалкая мысль, как возникает новый замысел, ты цепляешься за него, и тебя, как на бревне по горной речке, несет в долину, где ветер гонит зеленую волну травы вслед убегающим козам.

Однажды утром, когда первые блики света из недоступных дыр запрыгали, оживляя в очередной раз его картину мира, человек очнулся от дум, которые давили ночью, встал, подошел к стене, но не стал рисовать ни людей, ни животных. Вместо этого он желтой и красной краской начал описывать концентрические круги: круг в круге, а в том круге еще круг...

– Нашим археологам несказанно повезло, – сказала дама-экскурсовод. – Оползень, который накрыл деревню у подножья

горы (триста человек были погребены заживо), обнажил вход в пещеру. В ней нашли скелет первобытного человека и наскальные рисунки каменного века, пожалуй, самые ранние из тех, что когда-либо находили.

– Выходит, этот скелет – первый в мире художник, – высказался кто-то из экскурсантов.

– Ну, во-первых, не исключено, что ученые обнаружат объекты еще более древнего происхождения. А во-вторых, неизвестно, рисовал ли все это человек, скелет которого здесь нашли, или кто-то другой – еще до того, как вход в пещеру завалило.

При этих ее словах кто-то из стоящих позади прогудел у меня над ухом:

– Не слушайте эту дуру. Что она понимает?

Я оглянулся – за мной никого не было...

Группу погрузили в автобус и повезли на турбазу, где распределили по два человека в номере. Моим напарником оказался дяденька лет семидесяти, коротконогий, но с длинным туловищем, чем-то похожий на контрабас. При таком инструменте для храпа он не даст мне уснуть этой ночью ни на минутку.

Так оно и вышло – поспать не получилось. Но по другой причине: до самого утра мы с ним проговорили.

– Экскурсоводка – дура, повторяет, как попка, чему их там учили, – бормотал он, укладываясь, – а что она может знать?

Я сразу догадался:

– Так это вы гудели у меня над ухом там, в пещере!

– Я. А что?... Сказал, что думал, и ушел покурить на воздух. Лучше, чем глупости слушать.

– Но откуда вы можете знать больше ученых – археологов и искусствоведов, специалистов по настенной живописи?

– Оттуда, что я был в шкуре этого человека, которого завалило в пещере, и сейчас, можно сказать, нахожусь...

Насчет шкуры он, похоже, прав. Когда снял рубашку, на груди и на спине обнаружили леса первобытных седых хвощей и дремучих мхов.

– Может, вы скажете, что и скелет там нашли ваш? – это я так сострил.

– Скелет пока со мной, – ответил он весьма серьезно. – А в остальном не вижу разницы.

– Но вы, надеюсь, не человек каменного века, который еще бронзы не знал.

– Я тоже не знаток бронзы. Я из тех, о ком говорили такие, как вы, остряки: «член профсоюза певчих птиц» – деревообделочник. Краснодеревщик. Но я оказался в положении этого скелета не по профессии, а по жизни.

– Вас завалило в пещере, и вы от нечего делать стали рисовать?

– Ну, во-первых, не заваливало, во-вторых, никогда я не рисовал.

При этих словах я вспомнил, что завтра нас снова будут гонять по горам, показывать разные местные чудеса света.

– Может, поспим чуток? Утро вечера мудренее.

– Утром я вам уже ничего не скажу. Пока меня тянет на откровенность, пользуйтесь.

– Ну?

– Вы обратили внимание, что все эти первобытные рисунки не просто разбросаны по стене, а собраны в одну розетку, что ли...

– Скомпонованы?

– Вот именно. Бегают вокруг одного и того же..

– Концентрическими кругами.

– Значит, это одна картина, придуманная одним человеком, который хотел этим что-то сказать.

– Не исключено. И, что именно он этим хотел сказать, когда-нибудь ученые разгадают.

Мой собеседник сел на кровати и начал зачем-то обуваться. Я понял окончательно: сна не будет.

– Зачем вам когда-нибудь? Послушайте сейчас... Я был как все, ходил на работу, выпивал понемногу в свободное время, смотрел футбол, помогал жене по хозяйству, воспитывал детей, пока не выросли. А теперь дети взрослые, переженились, уехали. Одни в Канаде, другие в Австралии, а мы с женой – тоже не дома. То есть наш адрес теперь надо писать иностранными буквами. Живем как чужие. Местный язык нам учить поздно. Хотя наших там достаточно, но друзья легко заводились в молодости, чаще в своем рабочем коллективе, как говорится, а сейчас, когда ты на социалке, сиди дома, смотри в ящик. Слова некому сказать, не с кем душу отвести.

– А жена?

– Что жена?... Я уже не в том возрасте, чтоб охотиться на одиноких женщин.

– С каких это пор родная жена считается одинокой женщиной?

– С тех самых пор, как она сама себя такой считает, – при каждом удобном случае повторяет: «Я с тобой одинока». Вот и судите сами, если нас только двое в доме: я и жена. Из двоих один одинок, значит, второй... Вы считать умеете?

– Н-да... Но знаете, моя жена тоже иногда жалуется на одиночество. Это у них такая поговорка.

– Ваша жена вас, наверно, любит до сих пор.

– Так, может, и ваша?

– Сейчас выясним. Ваша жена о чем вспоминает?

– Да мало ли...

– А моя только о плохом. Как ей со мной было плохо. Как хорошо, она не вспоминает.

И тоном учителя, доказавшего теорему, провозгласил:

– Ну, скажите теперь, разве это не все равно что остаться одному под завалом в пещере, как тот скелет?!

В окна сквозь опущенные жалюзи уже просачивалось утро.

– Сочувствую, – сказал я. – Но не вижу связи. Вы же не стали художником.

– Не стал, потому что не умею рисовать. Но я... не хотел об этом говорить: засмеете. Я на старости лет начал писать стихи. А куда еще себя девать?

(Стихов мне только не хватало!)

– Не волнуйтесь, читать вам не буду.

(Значит, не догадывается, кто я такой.)

– Да я и не поэт вовсе, а так, рифмоплет. По-научному, графоман. Может, слышали такое слово? Я для науки ценный экспонат. Если бы, скажем, вы были из этих экскурсоводов или, на худой конец, писатель, вы бы сделали вывод из того, что я рассказал, как оно получилось, что человек неграмотный, когда еще от обезьяны не успел далеко уйти, может, хвост не совсем отсох, стал первым художником на земле. Да это и по его картине видно. А наши профессора с высшим образованием глядят, как бараны на ворота... Египетские иероглифы и те расшифровали. А то, что написал неграмотный человек, прочитать не могут.

Он продолжал гудеть уныло и однообразно, но я не слушал, а старался на стене комнаты мысленно воспроизвести то, что мы увидели в пещере.

Большой круг, в нем меньший, а в нем еще меньший образовали две кольцевых дорожки. По дальней, длинной, бежали четвероногие: зубр и бык, антилопы, тигр, кулан и козы. По среднему кольцу, ближе к центру, – двуногие: мужчины с луками и копьями, женщины с корзинами на плечах и дети...

– Это все, что он видел вокруг, до того как завалило вход в пещеру.

– Ну, а что в центре?

– То, что видите? Круг...

– И что, по-вашему, должно быть в этом круге?

– Что и должно быть: пусто.

– Но, может, он просто не успел заполнить?

Мой собеседник ответил не сразу. Он зашнуровывал ботинки. Завязав шнурки бантиком, поднял голову, налитую кровью.

– Вы правда не поняли или притворяетесь?

...Человек очнулся от дум, которые давили ночью, подошел к стене, но не стал рисовать ни людей, ни животных. Вместо этого он желтой и красной краской стал описывать концентрические круги: круг в круге, а в том круге еще круг... В первый круг вписались животные, с которых он начал рисовать. Он сам только теперь понял, что размещал их по кругу. Люди расположились по внутреннему кольцу... И это все, что его окружало в той прошлой жизни, пока земля не дрогнула, и что он не мог забыть...

Но оставалась еще пустота. А чем заполнить пустоту?..

Елена Минкина

«ЧТО НАША ЖИЗНЬ?»

– Минкина, – говорит в трубку еще совершенно бодрый и почти здоровый Миша Лезинский, – Минкина, срочно пришли рассказ средней длины. Одному хорошему журналу требуются молодые авторы.

Господи, храни моих стариков! Дай еще немного побыть на этом свете молодой.

– Пришлешь на мой адрес. Нет, лучше посылай прямо главному редактору, записывай – Марк Азов, «Галилея». Ты, кстати, знаешь, кто это? Безобразие, могла бы и знать! Великий писатель. Между прочим, самому Райкину тексты сочинял

Как надоест еще этот рефрен – «самому Райкину, для Райкина, один из авторов Райкина». Почему не один из актеров Азова? Впрочем, что я ворчу? Аркадий Исаакович – реклама вполне достойная. И нам всем, если задуматься, одно рукопожатие до Райкина.

Кто придумал эту затею – считать расстояние до великих? Не могу вспомнить, но занятно. Воистину «рукой подать». Сколько рукопожатий от меня до Ленина, например? Папа вступил в партию в 1942, под Сталинградом, рекомендацию давал какой-нибудь старый коммунист, он вполне мог видеть Ленина и руку ему пожать на какой-нибудь конференции... Тьфу, ты, Господи! Занесет же. Зачем мне, спрашивается, этот лысый проходимец? Даже земли пухом не пожелаешь. И старых коммунистов к тому времени раскидали по лагерям...

А вот до Анны Андреевны Ахматовой одно рукопожатие, это как? Сколько раз хотела расспросить поподробнее, что говорила, как выглядела, как приняла юного рифмоплета Марика Айзенштадта?

Не расспросила.

– Минкина, поздравляю, твой рассказ вышел! «Галилея», 4-й номер. Что значит «взяли»?! Если я рекомендовал! Кстати, нас приглашают в гости в Назарет, у них литературное объединение самого высокого уровня, не какая-нибудь ерунда. Заодно и закусить можно в хорошей компании. И выпить малость. Не откалывайся от народа, такие люди не каждый день приглашают!

А что, собрались да поехали – когда-то, сто лет назад – бодрый и почти здоровый Миша Лезинский, молодой многообещающий автор Минкина и еще двое нормальных людей, не писателей. И было замечательное застолье в уютном полуподвале, какая-то дешевая выпивка в белых пластмассовых стаканчиках, неразменные питы с салатами, и были незнакомые, но абсолютно родные и понятные люди, все немного чокнутые, как говорит моя младшая дочь, то есть помешанные на любви к Слову, преданные этому дьявольскому плетению мыслей и строчек. И во главе действия мудрый лукавый старик. Немного сутулый худой старик с глухим голосом и хулиганскими молодыми глазами в круглых стеклах очков. И стопка журналов на столе – «Галилея», 4-й номер.

– Леночка, хотите взять два? Берите, берите! Все равно не окупаются.

Что в нашем мире окупается? Любовь к словесности, преданность собственному тексту, круг чокнутых единомышленников?

Сколько с тех пор прошло лет, сколько номеров? Марк Азов страшно переживал, добывал деньги, звонил и писал авторам.

– Срочно пришлите текст! Отрывок из повести? Прекрасно, пусть будет отрывок! Только не медлите. Номер почти готов. Деньги почти собрали!

Кто из редакторов не знает этих мук? Кто из авторов не мечтает о таком редакторе?

Еще приезжали несколько раз в гости, с Мишей и без него, праздновали юбилей Дани Мирошенского, что-то пели и пили. Было ужасно завидно видеть целую группу людей, больных твоей же болезнью – поэтов, прозаиков, литературных критиков. И вроде ты уже не болен, не чудак, не лилипут в стране великанов.

Казалось, что Марк щедро правит бал, не мэтр, но хозяин, но мудрый Учитель. Советовал, исправлял, опекал, пробивал в Союз писателей. Не знаю подробностей, не случилось участвовать – дела, дети, экзамены, дежурства в больнице, пустые хлопоты – кто знает, что останется после нас?

Потом услышала, что литобъединение распалось, разъединилось на группы. Какие-то политические разногласия, борьба за лидерство, голосование за и против Азова. Никогда не пыталась понять. Никогда не хотела слушать разъяснений.

Объединение литераторов Тульской области распалось в связи с принципиальными разногласиями между Л. Н. Толстым и П. П. Сидоровым. Предлагается общим голосованием решить, кто из писателей должен покинуть Союз.

Наше почтение всем сидоровым!

«Но поди знай тогда, что нас ждет впереди. Люди думают, Всевидящий все предусмотрел. Но зачем бы я сажал в прекрасном саду то проклятое Древо, если нельзя было рвать с него плоды?»

Он страшно переживал, не хотел смириться, боролся за выживание журнала. От отчаяния решил перейти на электронную версию, но не сложилось. Затеи другого времени. Иногда жаловался в частных разговорах на усталость и немощь.

«Вы думали, если Бог не человек, так у него и души нет, лишь гнев божий да смертный приговор. Да? А что я в них вдохнул, если во мне души не было?»

Было до слез обидно, твердила одно и то же – наплюйте, пишите себе и пишите, Вам есть, что сказать.

– Да, – отвечал доверчиво, – я пишу. Все время пишу, не могу остановиться. У меня уже нет времени на остановки.

«А он шел так легко, будто на его лодыжках прорезались маленькие крылышки. Этакая легкость происходила всего лишь от потери памяти: он забыл, что пришел обнимать мир. На этот раз мир обнимал его. И он с эгоизмом бабочки перепархивал через колдобины, пока не попал в сачок.

Сачком его накрыл циркуль в трусиках, и накрытый сачком, он выглядел дураком в колпаке.

– Папа, – сказал циркуль, – почему ты меня не гуляешь?»

Сколько раз встречались за прошедшие годы – десять, двадцать?

В 2004 году устроили презентацию моей книги в Хайфе. Затея Лезинского, конечно. Марк сидел в президиуме. С хитрым видом выудил из кармана стих.

«О ты, прекрасная Елена... – разве вспомнишь... что стоило сохранить листок! – Я пред тобою как полено, стою колено преклонив...»

Все хохотали. Лезинский гордился и задира л нос.

Боже, храни моих стариков. Дай еще немного побыть на этом свете молодой и красивой.

Он очень любил приезжать в гости. Всегда радовался приглашению и сразу начинал переживать – Леночка, если кто-то доставит. Если это удобно. Только не старайтесь специально. Что там было стараться – полчаса езды до Назарета! Даня Мирошенский выручал, захватывал по дороге. Марк радостно благодарил, послушно сидел среди гостей, пил чай. Потом не выдерживал и начинал рассказывать очередную байку:

– Знаете, Леночка, как-то мы ехали на концерт с группой студенток из театрального училища. Красотики! Мои товарищи быстро сориентировались и распустили хвосты, но как я мог с ними конкурировать при моем росте и прочих невзрачных показателях? Поэтому мне досталась в соседки самая страшненькая девочка. Такая удивительная умненькая девочка, что-то в ней чувствовалось. Знаете, в ней чувствовалась гениальность. Да, конечно, Чурикова! Я знал, что Вы догадаетесь.

Еще одно рукопожатие. Сколько протянутых рук повисло в воздухе.

Пару лет назад позвонил взволнованный – ожидается торжественное событие – презентация новой книги. Легко нашла здание Хайфского хостеля, у входа горстка пожилых людей в пожилой нескладной одежде. Расставили стулья в небольшом проходном зале. Из Назарета приехали самые преданные друзья с цветами, человека три-четыре.

– Как Вы думаете, если я почитаю не только смешные рассказы, но что-то из новой книги? Хотя люди любят слушать легкое и смешное.

Да, люди смеялись, слушали байки про Рабиновича и Хаима, трагикомедии эмигрантской жизни. Но потом все-таки открыл новую книгу.

«Человек, рожденный женщиной, скуден днями и пресыщен скорбью. Как цветок он появляется и вянет, и как тень исчезает. Для дерева есть надежда: даже если одряхлел в земле корень его, то все равно, почуяв воду, расцветет оно и пустит ветви. А скончается человек и никогда не узнает, что так дальше, как там дети его: унижены или возвышены тобою».

Люди, все эти старые Рабиновичи и Хаимы, слушали и тихо плакали.

В прошлом году на восьмидесятипятилетие собрался, кажется, весь город. Просторный культурный центр «Беркович» ломился от гостей и зрителей. Концерт силами местных талантов продолжался часа четыре,

как на День милиции в незабываемом нашем прошлом. Песни, танцы, отрывки из спектаклей, струнный оркестр – все на самом высоком уровне. Как будто Марк весь город заразил своим талантом.

Что открылось ему в последние годы, какая истина и печаль? Беспечно и бесстрашно вошел в эту воду, заговорил с самим Господом – спрашивал, сомневался, жалел! Не просил жалости, но жалел! И утешал. Корил и утешал.

«...я стоял над наполненной горечью бездной...»

Только время все поджимало, уже почти не правил текст, не перечитывал, не возвращался к неточностям – вперед, вперед!

Как-то позвонил под вечер, заговорил стеснительно и виновато – не любил жаловаться, не хотел нагружать горестями и болезнями.

– Леночка, скажите как доктор, вот у меня одышка. Ну, так что, за кем мне бегать? А родственники говорят, что нужно пойти к кардиологу, сделать эхо-кардиограмму?

Так ясно представила его слабое сердце, усталое изношенное сердце, принявшее на себя всю боль убитого солдата, покинутой женщины, старого отца, юной вдовы, Авраама, Иова, Адама, Господа... Разве его можно залатать, заменить?

– Марк, дорогой, стыдно признаться, но ни одному человеку эхо-кардиограмма еще не помогла от одышки.

– Ой, какая Вы умница! Вот и я подумал – ехать, ждать, жаловаться, сидеть в очереди. Да, я целый рассказ успею написать!

Парил над миром, разговаривал с Богом и при этом по-детски радовался каждой публикации в интернете, ревниво читал отклики. Знаю, что редакторы его любили, гордились, знакомством и дружбой. Только однажды позвонил, расстроенный до слез, – какой-то из читателей снисходительно пожурил за слабый сюжет, похлопал по плечу. Бросилась на защиту, расхвалила обруганный рассказ. Но ... постеснялась подписаться. Минкина в защиту Толстого! Зато еще один Сидоров останется в истории. А так кто бы вспомнил?

И все-таки всем нам, чокнутым товарищам, по старинке хочется живой книги, живой музыки, живой любви. Марк спешно собирал новую книгу, спешно заказывал тираж, не выбирая, не торгуясь... «Сочинитель снов». Успел увидеть первые экземпляры, успел подарить самым близким.

Минкина, – сказал очень больной и старый Миша Лезинский и заплакал, – Минкина, с Азовым плохо. В реанимации. Умирает Азов.

В этом последнем году в каком-то интервью Марк скажет без огорчения и пафоса: «Я израсходовал все везение, отпущенное на мою долю».

Наверное, уходить не очень страшно. Раз так устроена жизнь, то и смерть – часть жизни.

Но страшно оставаться.

«А я бежал к нему, стараясь не топтать, чтобы не заглушить и не дай Бог не выронить по дороге последний звук моей жизни, звеневший на кончике струны. А Его пальцы стекали по клавишам, как воды ручья. И, добежав, я вдохнул в себя свежесть надежды».

Вильям Баткин

«И СМЕХ, И ПРОЗА, И ЛЮБОВЬ»

...Январь 49-го, морозный, метельный. Проваливаясь в сугробы, загромождившие улицу Данилевского, мы, «подающие надежды отроки», с трудом пробирались по вечерам к подъезду Сухоруковых... Это был особый дом в Харькове. Борис Сухоруков, поэт, фронтовой корреспондент, израненный и гонимый за вольнодумство, и его жена, Анна Фишелева, ненавязчиво приобщали нас к культуре, отогревая наваристым чаем с душистым медом со своей пригородной пасеки... Шумно и нелицеприятно обсуждали мы стихотворные опыты друг друга, каждый только себя мнил поэтом... В одну из встреч появился сухощавый, плотно сложенный юноша, мог сойти и за ровесника, но длиннополая шинель и лихо сдвинутая набекрень форменная фуражка выдавали фронтовика. (Уже в Израиле Марк напишет: *...мы вышли из шинели, но не гоголевской, а серой, солдатской.*) Гость был явно из тех, кому едва за двадцать и кому с боями пробиваться к совершеннолетию пришлось... Многим из собравшихся было далеко до двадцати. *Ну так что, если мне семнадцать!* – писал я задиристо-нагло. Мы смотрели на фронтовика с благоговением. Впрочем, поглядывали мы в основном на очаровательную школьницу Ирочку, младшую сестру Анны Фишелевой. Не знаю, в тот или иной вечер, но обладатель армейской шинели лихо увел Ирочку у нас из-под носа, и стала она на всю жизнь его любимой женой.

– Марик Айзенштадт, – в многоголосие поэтического вечера Анна Фишелева ухитрилась пробиться с именем друга своего мужа, – прочти свои стихи...

За давностью лет, похоже, только имя и запомнилось бы, но удивила его реплика:

– Аннушка, милая, какие стихи на фронте? Мне бы удержаться в седле изловчиться...

Будто предугадывал удел свой – жесткий, сложный, многотрудный. Имя и фамилия – определяли в нем еврея, но характерный облик – нос, глаза – исчезли напрочь в грубых, словно высеченных из камня, чертах обветренного или обмороженного лица...

Он появился на наших литературных посиделках еще несколько раз, о себе рассказывал скупое да и стихи свои читать отказывался. От него мы слышали луколинские строки: *В этом зареве ветровом / выбор был небольшой, / – Но лучше прийти с пустым рукавом, / чем с пустой душой...*

Прошли годы. Марик обосновался в Москве на поденной литературной работе. Анна Фишелева рассказывала – тяжело свободолюбивому Марку вдали от семьи, в чуждой, не верящей слезам Москве...

Меня носило по Союзу – от донецких шахт до дальневосточных, но мы находили друг друга в каштановом Харькове – одна из встреч запомнилась отчетливо... Задумавшись о своем, брел я по парку

Шевченко, на тропинках которого едва ли не все мои строки нашептаны... На одной из скамеек, вблизи высотки университета, сидел Марик – небрежно забросив ногу на ногу, в отутюженном импортном костюме – вечно молодой, тщательно выбритый, улыбающийся умными глазами...

– Вилька! – радостно воскликнул. – Какими судьбами?

– *Кашиановый Харьков мне снится порой по ночам...* – вошло у меня в привычку отвечать строками стихов, своих или чужих, – особенно в луганских глубинах.

– Ты еще пишешь стихи или только переводишь? – в вопросе я услышал грустные нотки. – А меня, как в пучину, затянуло на литературную галеру... Деньги, не скажу шальные, отрабатываю по полной программе... Шуточки-прибаутки, на сите цензуры процеженные...

На раскаты его смеха оглянулись прохожие.

– Так ведь слава всенародная! – заметил я давнему приятелю. – Только и на слуху: Константин Симонов да Азов и Тихвинский... На гастролях Райкина я покатывался со смеху вместе с семьей.

– Не язви, Вилька! Литература не терпит соперниц, хотя, – он задумался, – у тебя инженерное дело – любимое, а стихи, смотрю я – не по боку... В «Литературке» попались мне твои переводы... добротные... И мне нужен какой-то роздых, слышу – второе дыхание вот-вот откроется... Война – сколько лет минуло! – во мне под завязку, – он острием ладони провел по горлу, – но после стихов Слуцкого и лейтенантской прозы, баклановской, Азову делать нечего... Пора бросать это непотребное дело – юмор дозволенный, как гудок на бане, на потребу начальству, – сказал он тогда на прощание и обнял меня... – И останется Союз на сухом пайке, без наших еврейских шуточек...

Как в воду смотрел... После той встречи отметил я говорок его московский, чистый, словно родниковый, без наших харьковских украинизмов, и ныне, в ивритской теснине, не утраченный.

Едва ли кто-то из нас двоих мог вымыслить, что судьбе будет угодно предоставить нам следующее randevu осенью 97-го, в приморском Тель-Авиве, на Каплан, 6, в Доме Союза писателей Израйля...

– Мы с вами где-то встречались? – в перерыве, норовя раздвинуть плотную толпу курящих, приветствует меня взмахом руки Марик, с которым мы треть века тому назад распрощались в парке Шевченко.

– Марик! – рад-радехонек я нежданной встрече и обнимаю земляка.

– Вилька! Какими судьбами?! – какое-то время мы не отпускаем друг друга. – Неужели угольные шахты по доброй воле с тобой расстались? – смеется Марик, и по этому раскатному смеху уже не сомневаюсь в достоверности его явления под сводами Каплан, 6.

Время, как маститый художник, наносит свои мазки, порой густые, сочные, неистребимые, на наши лица, иногда ограничивается невидимыми тонкими штрихами, хотя и у их отметин след неистребимый. Марк был по-прежнему молод – обликом, статью, духом, но годы, подобно ледяному ветру, прикоснулись и к его армейской выправке, а окаймленное рыжеватой бородкой и опаленное южным солнцем лицо выдавало возраст... В людской толчее едва бы я его опознал.

– Марик, – спросил я взволнованно, как о самом сокровенном, – какова судьба Анны Фишелевой?

– Удивительная судьба, красивая, – он извлек из объемистого саквояжа небольшую светлую книжицу, – читайте, завидуйте: Анна Фишелева, «Дожди. Деревья», стихи, – и, увидев мое озадаченное лицо, внес ясность: – Анечка живет в Нацрат-Илите. в одном доме с нами... Жди, на рассвете разбудит своим звонком!..

...И он, отныне и навсегда – Марк Азов...Марк Азов... Марк Азов, исчез в глубине попутной машины, и лишь где-то розовой расцветной дымкой над каштановым Харьковом истаяло юношеское, приятельское «Марик Айзенштадт»...

В тот же вечер мой автобус вынырнул из влажной приморской духоты и рванул на Иерусалим, навстречу горной прохладе... В руках тоненькая книга – Анны, и лучик верхнего света выхватывал из темноты короткие строки, и моя изголодавшаяся по настоящей поэзии душа ощутила иную свежесть... Тогда, в далеком харьковском прошлом, я даже не догадывался, что Анна Фишелева – Анна – Аннушка – пишет, и неожиданная встреча в ночном автобусе с ее поэзией меня потрясла.

...Однажды, задолго до репатриации, вернулся я из затяжной командировки – кто-то из знакомых горестно выдохнул: «Умер Борис Сухоруков». Искалеченный войной и мрачным временем, не востребовавшим поэта, он нередко болел, и вот – смерть, всегда неожиданная. И Марк, обремененный семьей, работой, предстоящей репатриацией, взвалил на свои неслабые плечи повседневную заботу о вдове – Анне Фишелевой... Убедил пожилую, слабого здоровья женщину оставить в Харькове обустроенный дом, где она долгие годы прожила с любимым мужем, и уехать в незнакомый Израиль. Именно здесь, спустя год решила Анна показать Марку объемистую стопу рукописных листиков... Так благодаря ему вспыхнула едва не затерявшаяся поэтическая звезда Анны Фишелевой. Стихи этой внешне хрупкой женщины полностью лишены слезливой сентиментальности, в пронзительной напряженности стиха нет нервного возбуждения, в мастерстве – нарочитой искусности: *Я глажу одиночество, как пса./ По шерсти и чешу его за ухом./ И всем нутром и потаенным слухом/ Храню времен прошедших чудеса...*

Наши встречи на Земле Обетованной оказались крайне редки. Марк обосновался в Нацрат-Илите, где возглавил отделение Союза русскоязычных писателей Израиля и стал главным редактором нового литературного альманаха «Галилея»... К тому времени я – лишь со второй попытки – репатрировался, и *среди Иудейских гор, точнее – в глубине, на поселеньях, вознесённых в скалах, со всей семьёй, с её баульным скарбом, случилось чудом очутиться мне...* Религиозное поселение Бейтар-Илит – городок к юго-западу от Иерусалима... Неспешно приобщался я к окружающему образу жизни, подрабатывал – усердно мыл полы и туалеты в нескольких детских садиках, писал стихи...

В отличие от друзей и приятелей, недоуменно спрашивающих: «Как ты, интеллигент до мозга костей, живешь среди этих... ортодоксов?» – Марк вопросов не задавал, а прислал мне первый номер «Галилеи» с лаконичной дарственной надписью: «Вильяму Баткину – нашему будущему автору. 18. 08. 98».

В одну из встреч спросил его:

– Как из писателя-сатирика, автора бесчисленных эстрадных миниатюр, остроумных, порой злых – мы хохотали над ними со всей страной, от края до края, в долгие полосы невеселой жизни, – вдруг, в одночасье, ты становишься литературным редактором?

Марк надолго задумывается.

– А почему в одночасье?... – мы сидим в крохотном кафе на бугристой брусчатке иерусалимской Бен-Иегуды, графинчик с коньяком наполовину пуст, но мой визави едва ли захмелел... – Вся моя долгая жизнь – иногда мне, как перезрелой даме на выданье, хочется скрыть свой возраст, – вся моя жизнь происходила на благодатной литературной почве... И в харьковском Дворце пионеров, и перед уходом на фронт в ташкентском общении с Анной Андреевной, и на ваших посиделках с Борисом Сухоруковым и Анечкой Фишелевой...

– Говори, Марк, – я разливаю остатки коньяка, но Марк прикрывает ладонью свою рюмку...

– Дома я возникаю только трезвым как стеклышко... – успокаивает он мое недоумение. – Реплики, интермедии, шуточки требовали тщательной шлифовки текста... Но по большому счету, вы, авторы, – надежда моя и опора, как и великий русский язык, не истаявший в нашем сознании под горячим израильским небом...

Ближе к полночи я долго сидел на скамеечке возле своего каменного дома на поселении, курил сигарету за сигаретой, приводил в порядок растревоженные мысли, гнал стихи – они приходили издали, как облака, а я по ночам не пишу – и всё тут!.. Телефонный звонок – неожиданный в такое время...

– Вильям? Не спишь? – голос Марка далекий, как и его северная обитель... – Так хотелось сказать «Вилька»! Да «непригоже у порога распахнутой старости», – это я у тебя вычитал... Сегодня, на Бен-Еуда, не сказал главного... У нашей Земли Обетованной особая способность – открывать в еврее нечто, прежде сокрытое...

– Марк! О чем это ты? – пытаюсь я докричаться...

– Всем я обязан Израилю! – связь наладилась, голос звучал отчетливо, будто рядом. – Да и какой русский (если он еврей) не возвысится духом на холмах библейской Галилеи у самого «пупа Земли» – загадочной, непохожей ни на какую другую горы Тавор?! Это я не у тебя вычитал! – даже по телефону его раскатный смех тревожит полуденное безмолвие. – Это Азов на такое сподобился...

Шли годы... Встречи наши становились реже, а с распространением интернета даже телефонные откровения истаявали, как ручьевые побеги в сушь июльскую, лишь Марк Азов с непогрешимой регулярностью – раз в год – рассылал авторам и заинтересованным читателям очередной номер своей «Галилеи».

«Первую, подчеркну, настоящую книгу издают многие, вторую и последующую – единицы, это относится и к журналам... Счастливого плавания тебе, “Галилея”!» – так написал я однажды в «Еврейском камертоне», и к вечеру того же дня Марк откликнулся:

– Вильям, а почему бы нам не побродить по зеленым холмам Галилеи? – в доброй неизменной усмешке, просвечивающей и сквозь рыжину его усов, я не сомневался... – Ты какой коньяк предпочитаешь? Глядишь, и новой повестью порадуешь...

– А почему бы и нет? – ответил я вопросом на вопрос. Я был на седьмом небе от предстоящей встречи...

Но – человек предполагает, а у обстоятельств – свои задумки... Пока на зеленых холмах Галилеи не отпечатались мои следы... Но возобновились наши беседы.

Однажды посетил я Германию. В Дюссельдорфе, на родине Генриха Гейне, удачно набрали мы с другом на музей Поэта... Уже по приезде домой, в Израиль, по-иному я перечел всего Гейне и залпом, лишь по субботам отрываясь от компьютера, написал повесть «Перечитывая Гейне» и отправил ее Марку... На десятый день он откликнулся: и все, о чем сказал мне, о чем промолчал, лишний раз подтвердило его талант, профессиональный, редакторский...

– Будем печатать, – обрадовал меня, – но в моей редколлегии столько знатоков великого Гейне, – Марк закашлялся, – что пришлось выдержать небольшой «бой при Нацрат-Илите»... В отрочестве мы все зачитывались его стихами, сотворили себе кумира, но если тебе верить, Генрих Гейне никогда не был истинно немецким поэтом, как Пушкин – русским... Вопрос спорный, но абзац этот оставим... Далее... главу «Революцией мобилизованный и призванный», о сходстве трагических судеб Гейне и Маяковского, – металл в голосе Марка подтверждал категоричность его суждения, – исключим...

– А что же оставим? – мое авторское самолюбие теряло терпение. – Название?

– Не обижайся и не ерничай, – голос Марка для меня непривычно жесток, и я пожалел, что наш диалог не с глазу на глаз, ибо по лицу его можно многое прочесть... – Будем печатать! – повторил он настойчиво. – Повесть – твоя несомненная удача... Возможно, впервые ты на другой лад услышал трагедию Генриха Гейне – извечную трагедию еврея, оторванного в галуте от корней своего народа или разлученного с ним. Нашу трагедию...

– Спасибо, – сказал я.

– Это тебе спасибо за повесть, но предлагаю изменить название повести: не «Перечитывая Гейне», а «Кадиш по Гейне»...

– Да, да, да, – закричал восторженно и сгорая со стыда: сам, столько лет приобщаясь к нашей религии, не додумался до такого точного, снайперского названия... А Марк, без кипы, додумался...

А Марк, без кипы, додумался... И по сей день эта тема для меня не разгадана...

По чисто внешним признакам Марк – человек не религиозный, но, и в этом я не сомневаюсь, верящий в существование Всевышнего...

Перечитав едва ли не все Азовым опубликованное – от кратких рассказов до повестей многоплановых, до драм исторических, – я возрадовался вдумчивому, не случайному, не поверхностному постижению Марком Танаха...

Такую оценку его устремленного продвижения в иудаизме определяю как завидное умение еврея – интеллигента, нашего современника – сквозь нагромождение веков прикоснуться к заповеданной нам мудрости... Далеко не каждому и дано!.. Поймите меня правильно: не рассыпаюсь в лестных отзывах, а пишу о способности или таланте Марка Азова мастерски и свободно вплести в свою самобытную еврейскую прозу, в динамику драматических сцен в сотворенном им театре неразгаданные тайны Танаха, по-своему, с завидной фантазией трактуя их пророческий смысл....

Наши редкие спонтанные беседы с Марком были бы непоправимо недосказанными, если не упомянуть признание его негромкой, бережливой, сыновней любви к этой Земле, прекрасной, доброй и обширной, к ее вечному трагическому прошлому, к тревожному нынешнему, к накатывающему штормовому грядущему, неведомому нам, смертным, но безошибочно закодированному в Торе, в пророчестве мудрецов, не однажды осуществленном, как наш Исход, спустя тысячелетия, в Эрец-Исраэль.

Азова следует перечитывать, либо – что доходчивей – слушать. Несколько раз побывал на его творческих вечерах и убедился: не будь Марк писателем, мог стать превосходным артистом, хотя одно другого не исключает. Озорные искорки в глазах и яркая накладка на нос не изменили облик мудрого и доброго еврея... Он почти не использовал мимику, но умел держать паузу, виртуозно владел интонациями, и зал покатывался от смеха.

Да, порой в Азове проглядывал юморист, но зачастую это наш, еврейский, «смех сквозь слезы». И главное в его прозе, в его драматургии – душа, вобравшая всю боль своего народа.

В последние год или два Марк изменился: исчезли искорки в глазах, накладка на нос затерялась за ненадобностью... На своем творческом вечере в Иерусалимской русской библиотеке он непривычно вяло пожал мне руку, слепо всматриваясь в немногочисленную аудиторию... В короткий перерыв Марк отвел меня в сторону:

– А ведь я увлекся твоими любимыми сонетами... Вот послушай Пьера де Ронсара: *Ведь старый человек на много лет моложе, / Когда не хочет быть у старости в плену. / Он этим придает всем чувствам новизну / Он бодр, он как змея в блестящей новой коже...* Словно обо мне сказано...

Да, Марк Азов не поддался старости: на ее безжалостные признаки он откликнулся новым творческим взлетом – его рассказы и эссе последних лет поражают глубиной осмысления, новизной содержания, мастерством изложения... В его лебединой песне ощутил я – да разве только я?! – истинную страсть, не знавшую утоления... Увы, обрдовать его этим запоздалым признанием мне уже не случится...

Доротея Литвак

ГРАЖДАНИН ОБОИХ МИРОВ

11 июля 2011 года в 13 часов в терапевтическом отделении хайфской больницы «Рамбам» лечащий врач палаты № 3 сообщил родным больного Марка Азова, что тот мертв. И со стороны всё выглядело именно так: бездыханное тело восьмидесятишестилетнего Марка, всё еще подключенное к системам реанимации, лежало на больничной койке, а светящееся табло над его головой свидетельствовало, что давление упало до нуля и сердце остановилось.

– Можете подойти к больному, попрощаться...

Попрощаться? Марк Азов умер?! Шутите, господин доктор! Умер – это не про него, не про Марка! Прошедший войну до Берлина, повидавший жизнь и смерть, Марк Азов был гражданином двух миров – земного и запредельного, скрытого от глаз простых смертных. Он не пытался выдать себя ни за Творца, ни за равного Ему. Он был просто Автором.

Автор: По-вашему, автор не может быть творцом? Болеть за свои создания?

Творец: Как вы там болеете? Ваше создание не может элементарно простудиться, я уж не говорю отморозить себе что-нибудь, даже если хранить его в холодильнике вместо книжного шкафа. А у меня они живые. (Из рассказа Марка Азова «Она и Он».)

И еще одна цитата из того же рассказа:

Творец: И я вспомнил утро седьмого дня, когда вышел из шатра в Эдеме... Вспомнил, спохватился, побежал за ворота, догнал сына своего единственного Адама с женой его, изгнанных из сада, и подарил им мир, который шире и прекраснее любого рая.



НОВЫЕ ВОРОТА

Елена АКСЕЛЬРОД. «Меж двух пожаров» [Стихи разных лет]. – Москва, «Время», 2010.

Человеческая память – феномен сложный и многозначный. Она – и сито, и хранилище жизненных впечатлений. Но ещё и тот *орган души*, в котором сосредоточены такие её, души, проявления, как страдание и сострадание, терзания по поводу совершённых дурных поступков и не совершённых благих. Память – и гулкое эхо давних loves. И нескончаемая боль и скорбь по ушедшим родным и близким.

Память – в названиях (заглавных строках) – от трёхстрочья «Мне память что-то шепчет еле внятно...» (1973) и диптиха «Память детства» (1971, 1974) до цикла «Помин-река» (2007-2008). И еще, и еще: «Я столько жизней прожила...» (1980), «Старая записная книжка» (1996), «Через двадцать лет» (2002)...

В первом из упомянутых стихотворений лирическая героиня утверждает, что память шепчет еле внятно. На самом деле память очень пристальна: она уверенно воспроизводит такие детали обстановки, как *потёки бронзовой смолы и пруда слегка подкрашенные пятна*. И концовка этого стихотворения на редкость выразительна: *И ясное вдали желтеет поле, / На нём черны лишь несколько полос*.

Чем подробнее память, тем она больнее. Об этом свидетельствует – нет, кричит! – ещё одно стихотворение 1973 года «Стремглав волна бежала к нам...»

*А в парке репродуктор пел
Про старенький причал,
Не забывать его велел
И душу надрывал...*

Совсем другая материя – память детства. Вспоминаются-то совсем невесёлые эпизоды жизни, связанные с годами эвакуации, с голодом и холодом, со страхом – не навсегда ли? – тем не менее сама непосредственность этих картин памяти (*И бежим мы вдоль путей, / Под вагоны лезем / И теплушкою своей, / Словно домой, грезим*) трогает до глубины души. А спустя десятилетие поэт во всеоружии окрепшего мастерства вспоминает ещё более давний отрезок своей жизни – довоенный – в триптихе «Двор на Баррикадной»:

*Ах, «Красный виноградник»
И голубой Дега!
В каморке нашей праздник,
Пусть в пол-окна снега.*

Речь идет о каморке в коммунальной квартире, где за *стенкой* *пляс разлапый, / Дом ходит ходуном...* Так от чего же столько света в этих стихах? ... *А мы листаем с папой / Любимый наш альбом. // Что в памяти хранится? / И свет, и грусть, и чад... / И всё отец мне снится / Который год подряд...*

Стоит ли напоминать, какого отца Бог дал Елене? Это был Меер Аксельрод, выдающийся художник, не признанный советским социумом из-за своей независимости, творческой и человеческой чест-

ности. А дядя Елены – поэт Зелик Аксельрод – расстрелян в начале Отечественной войны «своими»; ему посвящено второе стихотворение диптиха «Память детства» – «Сон», где читаем: *Я на пороге оглянулась. / Но где же ты? Простыл твой след. / Ты не проснулся. Я проснулась. / Где спишь ты тридцать с лишним лет?* «Сон» датирован 1974 годом. А через пять лет – диптих «Ялта 1979», в котором всё неоднозначно, всё – хорошее и дурное – заплетено в тугой узел:

*Я не хотела приезжать сюда.
Казалось, память с головою захлестнёт,
Как соль морская. Этих тёмных вод,
Казалось, не увижу никогда...*

Кто бывал в Ялте, знает, что воды там не такие уж тёмные. Это смута в душе поэта добавляет им темени...

*Лишь тот корабль, что белым был тогда,
Теперь чернел, цепляясь за причал,
О чём-то, надрываясь, мне кричал,
Как будто требовал меня к ответу
За то, что нет тебя...*

А вот другие воспоминания, которые Е. Аксельрод назвала «Я не умею отомолить вину» и посвятила памяти матери. Этот цикл из семи стихотворений написан в 1987 году. Выделю в нём два: второе и седьмое. Перечитывая их, всякий раз не могу сдержать слёз. И «виноват» в этом сколько сам мотив, столько же и потрясающее голосоведение. Тут контрапункт самых немудрёных реалий и высокого трагизма. Сочетание бесхитростного рассказа и головокружительной метафорики. Мама *погибала впервые* <...> брошена мной, *расставаясь с собою* (! – М. К.).

*Я пробегаю мимо балкона,
Где её дух одинокий витает.
Что же так тихо? Ни зова, ни стона...
Только ольшаник кадиш читает.*

Это из второго стихотворения, а вот из седьмого:

*Слово предков моих иссыхает, забито
Мощной осыпью речи, звучащей вокруг.
Только душу щемит тот напев позабытый,
Тот возлюбленный твой, тот задушенный звук.*

Какая образность и – какая точность!

Елене Аксельрод равно сродственны и прямые речи – «замарашки безвестные», и царевны-метафоры. Вот пример прямой речи – стихотворение «На поселении» (1970), в котором поэт вспоминает – по горячим следам! – свою побывку «в гостях» у репрессированного Юлия Даниэля. Это текст не только сочувственный, что понятно, но и самокритично исповедальный.

*Сидели мы всю ночь. Худые плечи,
Взгляд испытующий и борозды вдоль щёк
Который раз о том напоминали,
Чего я не могу и что он смог.*

Двумя годами раньше написано стихотворение «Моя страна моих друзей крадёт...» Одной из украденных страной была старшая приятельница Елены – Евгения Гинзбург, проведшая восемнадцать лет в ГУЛАГе и умершая в Москве 25 мая 1977 года. Спустя два дня родилось *памятование* Евгении Семёновны. Так вот оно держится на разного рода уподоблениях. Тут и притягивающий и согревающий *стола неприхотливого овал*, и *чайник озорной*, и *мужества последнего пора* – / *Одиночество безжалостных ночей*, и вот эта сражающая антиномия:

*Тем ногам, что шли по стуже босиком
Тридцать вёрст от зоны к зоне в глубь снегов,
Не осилить тридцати простых шагов
От порога до скамейки под окном.*

Не могу миновать и текст, созданный поэтом много позднее, в 1988-м. В нём вспоминаются безымянные мученики советской системы, пусть и не попавшие в мясорубку сталинского террора, но всё равно обездоленные. Е. Аксельрод ощущает своё родство с ними – к примеру, с воюющей деревенской бабой, ибо с ней *рождена в одном краю* («Мне б каменщицей, сторожихой...»). И вот как позиционирует себя зрелый поэт, хотя в известном смысле и избалованный судьбою (*Жизнь пощадила плоть мою*), но всем существом своим ощущающий удары, пришедшиеся по живому телу несчастной страны:

*Интеллигентка, инородка,
Я соплеменница беды.
Меня хлестала та же плётка,
И тот же снег мешал следы
Мои и горожанки хмурой,
Косящейся на профиль мой
И в ожиданье свёклы бурой
Стоящей за моей спиной.*

Соплеменница беды! До такой степени соплеменница, что и косой взгляд на её неславянский профиль не мешает поэту себя с этой горожанкой, как и с деревенской бабой, объединить.

Перефразируя Горького, поэта можно назвать чувствилищем своего времени и своего народа. (Под народом я здесь разумею не вообще евреев, а репатриантов из России. Тоже, в сущности, народ: ведь нас – миллион!) После переезда в Израиль, как и всех нас, Елену Аксельрод преследует память ностальгическая.

Год 1992-й:

*Была мне радость только в слове.
Всё внове. Но зачем я тут,
Когда два камня в Вострякове
Тоскуют обо мне и ждут?
В удушливых объятьях ветра –
Без голоса и без лица –
Ищу лишь два квадратных метра,
Где тень отца,*

*Где мамы тень над жирной глиной
Меж свалкой и березняком,
Где головы моей повинной
Не приклонить под сквозняком.*

Год 2003-й, диптих «Грешна». Потрясает его заповедь: *Как просто нам даётся грех, / как трудно покаянье!* Почти формула. Но всё-таки почти. Концовка диптиха – поэзия собственной персоной: *Вроде сплю... Тут как тут она. Память листает. / За тяжёлыми шторами – шёпот и шорох. Ш-ш-ш... Это во сне просыпается совесть.* Совесть и память – здесь почти синонимы.

Наконец, год 2008-й. «В мой город чужой, незнакомый до слёз...» Парафраз Мандельштама (строчки этого поэта трижды в качестве эпиграфов предпосланы собственным стихам Е. Аксельрод). Это – памятование одного из друзей Елены, Юрия Вронского, но и всей прошлой жизни в России.

*...неужели нужны двадцать жалающих лет,
жарких зим, чтоб затерянными дворами
пробираться туда, где ни вас, ни меня,
где наш дом заслонился железной оградой,
от меня хладнокровно покой мой храня,
где уже ничего, никого мне не надо.*

Предлоги «меж», «между» в стихах Е. Аксельрод встречаются чаще, чем у других русских поэтов-репатриантов. Да и разбираемая книга называется «Меж двух пожаров». Это – самоцитата из концовки стихотворения «Я убежала от жары...» (2007): *Сквозь веки въётся рваный путь / меж двух жаровен, двух пожаров.* На уровне реалий – ничего противоестественного: Елена в очередной раз убежала в Россию от израильской жары, но попала из огня в полымя (*...я прибежала в смрад пожара*). Однако, уже начиная с третьего стиха, мотив ширится, приобретая символическое звучание: *Москвы горячечной дары / как будто за измену кара.* Вот тебе и раз! Измена – кому, чему? Семнадцатый год она уже в Израиле, а тот уголок души, который связан с оставленной родиной, щемит и щемит. Второй катрен – снова вполне земной: *Пылает пыль. Ныряю в зной... и т. д.* Но концовка, процитированная выше, последний мазок мастера, ставит все точки над «і».

Вернёмся на два десятилетия назад. Перед нами текст, в первой же строке которого встречаем то же самое «между»: «Я заплуталась между поколений...» (1976). Е. Аксельрод удивляется самой себе: почему-то среди сверстников – своих коллег она *потеряна, не узнана, нема.* Зато обретает себя, когда соприкасается со старшими, испившими полную чашу горечи: *войну, и гибель близких, и тюрьму.* И что важнее всего, она готова эту, чужую кладь, *вновь собственного возраста не зная, / Своею волей на плечи принять.*

В знаменитом стихотворении «Пространство смещено, и время сбивчиво...» (1977) сакраментальных предлогов нет. Эти двадцать строк цитировались так часто, что на сей раз от прямых цитат воздержусь. Укажу только, кого вмещает в себе лирическая героиня:

она – и гордая иудейка, и грешная содомитка, и виленских местечек нищета, и жертва Холокоста, и советская пионерка, и даже... комиссарша, чей грозен взгляд. А также поэт, избравший безлюдные задворки российского стиха, – но это утверждение позволю себе оспорить: не задворки, а большую дорогу, где рядом с Е. Аксельрод – другие поэты разного национального и социального происхождения!

Впрочем, о своём происхождении она не забывает ни на минуту. Иудейка из рода Авраама – вот оно как!

В 2002-м она назовёт себя ещё более эксцентрично – «Настасей иудейской» (в стихотворении «Через двадцать лет», обращённом к некогда близкому человеку, который, в свою очередь, представлен как *мой князь, мой Рогожин*).

И во многих стихах израильского периода Е. Аксельрод остаётся верной своему иудейству, стараясь приобщиться к тысячелетней традиции, к обычаям и вере своих предков.

Взять хотя бы стихотворение 2009 года «Опять про субботу», опубликованное в «ИЖ № 34»... Какое тёплое солидарное биение сердца с близнецами Господними, какое умиление перед их праздничными одеждами, перед их предстоящими семейными, в окружении сыновей и дочек, трапезами, перед их благословенным погружением в очередную недельную главу Торы! И какая поэзия – в духе лермонтовского «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит»!

Рядом с умилением – боль. Боль за страну. Опасение за её участь в окружении многочисленных врагов. Стыд за её мелкотравчатых политиков. Вот цикл «Кофе под "Хронику дня"» (2001). Тут, *на повседневном фоне / неизменность быта*, включающая и привычные реалии (*пыльный куст в «салоне», / суп в пакете, пита*), и аллегории (*новости ночные – / камни ледяные*).

А вот прямая речь:

*Что будет с нами – мудрецами,
когда орда из-за горы
нахлынет, чтоб сразиться с нами
за Соломоновы шатры?*

*Куда ты, мудрость, подевалась,
искать твой прах в каких горах?
Не эта ль бездна открывалась
пророкам в их бесстрашных снах?*

А в более раннем стихотворении «Иерусалим 1995» заклеены «вершающие политику мужи / На торжище, Шагалом осенённом» (то есть в Кнессете, чьи стены расписаны Марком Шагалом). Но доминирует и здесь боль:

*Рукоприкладством не решить судеб,
До Божьей длани нам не дотянуться.
Иссякла манна. Пощадите хлеб.
Позвольте небу ждущих стен коснуться.*

Ещё сильнее эта боль ощущается в двустрофье «Песни Израиля», написанном годом ранее:

*Здесь песенка любая о стране –
 Как заклинанье в хрупкой тишине,
 Мольба о верности и о любви:
 Останься! Не уйди! Не уплыви!*
*Так нежен, так протяжен каждый звук,
 Как будто в нём предчувствие разлук,
 И сам напев тоскует, предвещая
 Господен гнев, изгнание из рая.*

Хрупкая тишина, мольба о верности и любви, предчувствие разлук – знаки сердечной привязанности к стране Израиля самой Елены Аксельрод, потому так слышащей каждый звук этих песен, что и сама она полноправно участвует в их создании, в пополнении – пусть на русском языке – поэтической сокровищницы своего народа.

И напоследок приведу целиком моё самое любимое стихотворение – «Мне хочется сказать о розовых восходах...» (1988). Чудесным образом оно помещается в самой сердечке книги.

*Мне хочется сказать о розовых восходах,
 О лёгких небесах, о ветреной любви,
 И коль вздохнуть нельзя, ну так хотя бы продых,
 Хотя б спокойный взгляд...*

Забудь и не зови.

*Теперь не до того... Косматыми лучами
 Закат кровавит путь, зашарканный тобой.
 Как силится луна короткими ночами
 Пролить свой мирный свет над алчущей толпой,
 Бессонною враждой, неутолимой жаждой –
 Не сыщешь родника, отравлена вода...
 Как хорошо мечтать, что где-нибудь однажды
 Увижу синий свет, тугие невода,
 Улыбку доброты, просторную дорогу,
 Под свежеею росой ожившую листву...
 Тогда, не смяв травы, я подойду к итогу
 И бережный закат свободой назову.*

Прекрасный поэт Елена Аксельрод продолжает идти своей дорогой.

Михаил Копелиович

Александр М. КОБРИНСКИЙ. «Сонеты». – Москва–Иерусалим, Э.Ра, 2010.

«Наконец-то Кобринский остепенился», – подумал я, открывая новую книгу его стихов. Наконец-то обратил свой взор на классические формы стиха, наполнил их лирическим содержанием, свойственным сонету.

Да и книгу, в которой собраны сонеты, написанные автором за пятьдесят лет, предваряет эпиграф из Шекспира, мастера классиче-

ского сонета, в переводе Маршака: «А нам, кому ты наконец близка, – / Где голос взять, чтобы звучал века?»

Но не тесна ли будет поэту Кобринскому с его самобытным голосом жёсткая форма сонета?

В начале книги всё посвящено Древней Греции, Древнему Риму, их знаменитым жителям, полководцам и рабам, философам и политикам, в сонетах читателю то и дело попадаются на глаза Сократ, Платон, Флавий и другие достойные литературно-известные фигуры.

Вот сонет под названием «Сократ»:

*Приговоренный не казнен – он умирает,
Чтобы проникнуть в тайну ту, что там...
Смерть – это опыт. Яд он выпил сам,
Не то – заставили бы! – чуда не бывает.*

Или сонет без названия:

*Зов Эроса неодолим – ночами
Копытный топот – степь гудит окрест –
Арканит быстрыми, как молния, кругами
Табун кентавров армию невест.*

Сонеты пронизаны запахами Эллады, стонами рабов и сомнениями патрициев. Кобринский отлично работает со словом, он прекрасно знает эту эпоху. Поэт парит над нею, и из эфемерной дали пытается взглянуться в наше время:

*В тумане верхушки деревьев и квадратики слитых домов.
Не рассмотришь в бинокль позвонки своего поколенья...*

Но к тридцатой странице выявляется, что все же тесен Кобринскому сонет. Форму изменить нельзя, но в эту форму автор решительно вносит всё, что ему привычно, он приспособливает сонет к своему поэтическому темпераменту. И вот уже мы видим наши реалии в типичной подаче Кобринского:

*Пять бульдозеров в Шхем и количество N-ое танков.
В полнолуния долгую полночь сегодня вошли...*

Или:

*Полдень – удушье – морока – жара –
желток – раскалённая сковорода
солнце – дорога дугой – провода...*

В четырнадцати строках сонета поэт располагает с собственным словесным миром, с собственной образной системой, он привносит в сонет свою метафизику, и многочисленные тире словно стягивают словесные конструкции в единое целое стиха.

И уже не удивляют в сонете столь характерные для Кобринского строки – *копну-ка глубже я – при-ка-rrrrrr-ка-ла весну / ей удалось омефистофелить мгновенье*» или *...меня бетховел Гелиос*. Обращаясь со словом, словно с пластилином, Кобринский лепит нужные ему образы.

Но несмотря на все эксперименты, поэт не перерезает пуповину, связывающую его с классической русской поэзией. Эти *опушки*

левитано-фетовые, этот мотоцикл розовый, заставляющий нас вспомнить Есенина, узнаваемы и естественны в строках Кобринского.

По логике, завершить такую книжку должен веночек сонетов. У Кобринского книгу завершают четыре венка. Никакой напыщенности, никакого пафоса, столь часто свойственных венкам сонетов, тут нет и в помине. Эти венки сплетены из наших реалий, они настолько заземлены, что будут понятны и доступны любому русскоязычному читателю в любой точке мира. *Но и у нас свои приколы...* – пишет Александр Кобринский в последнем сонете «Ведьме Не».

Полагаю, что этой новой книгой и своими необыкновенными приколами автор сделал значительно более разнообразным спокойное доселе царство его величества Сонета.

Евгений Минин

НИКОЛЬСКИЙ. «Каталог женщин». – Иерусалим, «Библиотека «Иерусалимского журнала»», 2010.

Сборник стихов с названием, мимо которого невозможно пройти, издан всего-навсего в 150 экземплярах, и его, наверное, нельзя купить нигде, кроме как в редакции «Иерусалимского журнала». Но и пропустить просто так сочинение Сергея Никольского жалко – это же своего рода поэтическое событие, это рождение нового поэта на русском языке... Согласитесь, не каждый день такое событие происходит.

Первый цикл назван автором – «Я опишу вам женщину». Действительно, яркая коллекция портретиков, обзор дев из разных стран и народов – русских и полячек, евреек и голландок... Интересно и любопытно – ибо меткий взгляд молодого мужчины завораживает. Получился взгляд на женщин нынешнего поколения, какими сегодня их видят, чувствуют, ощущают мужчины-современники, – взгляд страстный и равнодушный, тоскливый и радостный.

Второй цикл – «Не относящееся к делу» – понравился мне еще больше. Это – восприятие россиянина (а стихи, несомненно, написаны россиянином, уже многое повидавшим и познавшим окружающий мир – с его уникальным по-своему восприятием человечества вне его родины), и оно – тоже абсолютно новое для нас, старших современников:

*Непрерывно болит голова, потому что до трёх братва
за стеною справа доказывает шушере, что права.
Непрерывно в холодильнике кончается молоко,
А в магазины постоянно завозят апельсины из Марокко,
Соседи в сотый раз затягивают «Сулико»
Или славят пророка.
Без опоздания наступает четыре утра –
здесь, в Кремле, в Туркестане, в соборе святого Петра,
ежедневно, повсюду.
И везде продолжают обедать и мыльной водой из ведра
мыть себя и посуду. <...>*

*Крепкие нити упрямо связывают всех со всеми.
Иван ненавидит Абрама в субботу и воскресенье,
а также в будни,
такая у парня семи-
дневка. Подспудно возникает уверенность, будто
так навеки заведено,
и думаешь съездить на острова,
и вдруг становится неуютно,
страшно, холодно, нецветно,
и всё неожиданно обрывает...*

А вот другое признание:

*Прошрое – вчерашнее, прошлогоднее, устаревшее,
негодное и напрасное.
Настоящее – прекрасное, короткое, само по себе стоящее
и сидящее, во мне значительно подобрешее <...>
Окажется, что к прошлому не пришьёшь заплатку,
прошлому не пошлешь открытку,
как бы ни был прыток, красноречив и краток,
не получится по благу или открыто, бесплатно или за плату.
Вся надежда на послезавтра – безмятежное
и пустячное, на первые признаки амнезии...*

А совсем грустное – уже в конце:

*Каждым Божьим утром трещит будильник
и людей рождают в домах родильных,
покинув родителей изможденных,
на работу едет толпа рожденных,
из клеток-подвалов, из ям глубоких
на работу валит толпа забитых,
за билеты платит толпа убогих,
позабывших, вялых, почти убитых.
Из общаг, столовых, забытых Богом,
толпы плотно сбитых, пропахших потом,
по мостам, дорогам текут потоком
на автобусе пятом или двухсотом,
мужиков небритых, к земле прижатых,
или баб сердитых, без провожатых;
рой замужних, накрашенных и завитых,
с трудом меняющих вдох на выдох.
Тут у всякой самки румянец серый
и самец усталый и облысый...
Столько в их жизни случилось событий –
сколько помнят они соитий.
Вот и весь curriculum, вся программа,
сверх того не найти ни грамма.*

Весь это сборник посвящён особой женщине – «Маме». Такой маме я могу только позавидовать. Её сын достойно подхватил поэтическую эстафету. Дай им Бог, обоим!

Михаил Хейфец

Михаил ПОЛЬСКИЙ. «Мир без Храма» [У. Ц. Гринберг на русском и др.]. – Иерусалим–Москва, «Э.РА», 2010.

Варшавское гетто – преддверие смерти сотен тысяч евреев, голод, болезни, безнадёжность. 18 июля 1942 года здесь, в Доме сирот доктора Януша Корчака, дети играют спектакль по пьесе-сказке Рабиндраната Тагора «Почта». Они не знают, что жить им осталось всего две недели... Герой пьесы, индийский мальчик, умирает. «Я хотел научить детей спокойно встретить ангела смерти», – объяснял Корчак.

Через полвека московский поэт Михаил Польский «перепёл», как он говорит, пьесу Тагора своим поэтическим языком, организовал детский театр-студию в одной из московских школ и поставил там «Почту». В постановке было всё, как в той, варшавской: за большим индийским мальчиком приходит ангел смерти.

Прошли годы. Репатриант Михаил Польский привёз «Почту» из Москвы в Иерусалим и поставил её с детьми новых репатриантов в помещении бомбоубежища. Обшарпанные стены, грязные трубы, шум кондиционера... Декорация – пара стульев. И зал с десятком приглашённых режиссёром зрителей. Дети старались, играли, иные – просто замечательно. Но изменилась трактовка: герой пьесы стал символом еврейского народа, за которым пришёл ангел смерти...

Потом «Почту» повторяли в других помещениях, побольше и почище. На всех представлениях режиссёр располагался рядом с бедным сценическим пространством и следил за ходом спектакля. Не следил – жил в своих ребятах-актёрах, словно выпрастывался из собственного тела, из души своей тянул выстраданный им текст и проборматовывал его, шевеля губами вслед репликам детей. Аура сердечности окутывала сцену, усердных лицедеев заодно с режиссёром, согревала зал. Театр звался «Домом Корчака».

Когда-то исследование американских психологов определило, что доброта – самое редкое качество человека. Иудео-христианская этика неустанно зовёт возлюбить хотя бы ближнего, а толку что-то не видеть. Даже семьи слабо держатся на любви, о коллективах, сообществах и говорить нечего. Гитлер и Сталин прекрасно это знали, успешно ставя не на любовь, а на ненависть. Кому, как не нам, помнить об этом!

А поэт ищет доброты и сам готов жить в мире с малоприветливым окружением. Свою «Почту» он завершает перечнем имён исполнителей давнего спектакля в Варшавском гетто. Все они вместе с Корчаком погибли в лагере смерти Трешлинка. У Польского в финале спектакля звучат слова этих испепелённых детей:

*Когда часы судьбы пробили,
плоть наша превратилась в дым.*

*Мы вышли. Нас переселили
в небесный Иерусалим. <...>*

*...лишь здесь живя, мы не грешим
тем, что живём. Поскольку кровью
ни хлеб не пахнет, ни вода.*

*Мы с вами здесь. И мы с любовью
глядим на ваши города.*

Это, конечно, о евреях, еврейских детях, еврейских городах. Но это и обращение ко всем живущим на земле людям, пожелание им добра и мира.

Если же перейти вместе с автором от больших проблем к малым житейским, доброта обернется добродушием, подкупающе лёгкой и улыбочивой интонацией:

*...Зачем нам двери из металла?
Кругом свои, а не враги.
Дом – не вложение капитала,
А избавление от тоски.
Да светятся его окошки
В ночи не только нам двоим.
Да будут дети в нём и кошки,
И всё, что только захотим.*

«Жилище»

И несколько слов о самом внушительном и по объёму, и по значимости разделе сборника, о стихах Ури Цви Гринберга в переводах («перепевах», как их зовёт переводчик) Михаила Польского. Русскоязычному читателю, в большинстве своём не знакомому с ивритской поэзией, Польский открыл многообразный мир Ури Цви Гринберга, где гармония стиха и неистовство страсти, дух и ярость, древнее величие и сегодняшние трагедии – всё сплетается и взрывается, как в судьбе нашего маленького, неумного, битого и бессмертного народа:

*...Мы ждали милосердия в ответ
на нашу кротость. Книги всех народов
мы впитывали, как пустыня воду,
ища чего в них не было и нет.
Мы были смазкой всех колёс в походах
любых племён. И женихов-невест
дарили им с надеждой и любовью...
А результат записан нашей кровью... <...>
Но невозможно нравственность возвестить
на мусоре предательства и срама.
Не выкормить её среди баранов,
в хлеву и стойле... Ей дано расцвести
в саду господства, где без суесловья
и на века
мы властвуем.
Где власть – опора вдовья.
Где человека меряют подобьем Всевышнему –
не меркою портного и не рулеткою гробовщика.*

«Последний итог»

По поводу подобья Всевышнему один религиозный писатель заметил, что подобье человека и Бога выражается двумя характеристиками: свободой и любовью. Обе эти черты явлены в Михаиле Польском – человеке и поэте.

Анатолий Кардаш

Евгений ЯКУБОВИЧ. «Программист для Преисподней». Роман. Израиль, Издательский дом «АВС», 2009.

Евгений Якубович – не новичок в литературе. Читатель имел возможность познакомиться и с серьёзным фантастическим романом Евгения «Санитарный инспектор» (Москва, «АСТ», 2008), и с изящными юмористическими рассказами, опубликованными в периодике.

Он родился в Ташкенте в 1958 году. Окончил матфак ТашГУ. Работал программистом. В восьмидесятые увлекался авторской песней, был лауреатом Чимганского и Алма-Атинского фестивалей. С 1996 года живёт в Израиле. Здесь занялся литературным творчеством.

При всей фантастичности происходящего «Программист для Преисподней» – книга автобиографическая. Всё описанное в ней автор действительно пережил. Может быть, в несколько иных внешних проявлениях. Ну, а мистика? Так где же ещё, как не в древнем Ершалаиме, встречаться с «той силой, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»? Великолепна авторская уверенность в том, что настоящий профессионал и в Аду без проблем устроится работать по специальности.

А если серьёзно, место рождения человека многое может о нём рассказать. Особенно в сочетании с «пятой графой». Честно говоря, не могу в подробностях представить, каково это – у себя на родине быть дважды чужим. Мало того, что не узбек, так ещё и, мягко говоря, не совсем русский. Вероятно, и поэтому тоже в книге так отчётливо прослеживается мотив дома. Дом, то есть место, где тебе тепло, уютно и спокойно, должен быть у каждого человека. Кому-то, чтобы почувствовать себя дома, необходим двухэтажный коттедж в горах. Кому-то – кабинет с письменным столом, подключённым к сети компьютером и пепельницей. Кому-то дом способна заменить потрепанная тетрадка, в которой записаны его мысли и фантазии, его сокровенная боль. А кто-то способен, как один из героев книги, Арик, тоже дважды чужой в своём родном городе, умудриться приютить и других бездомных.

Автор, выросший в СССР, остро чувствует всю бесчеловечность коммунистического режима. И сейчас, спустя столько лет, продолжает вести с ним беспощадную войну. Не случайно, Ад в представлении главного героя так откровенно напоминает «совок». Даже если сам ты не сидишь в тюрьме, то всё равно обитаешь в загаженной общаге, а в тюрьму ежедневно приходишь работать. И велик соблазн поставить знак равенства между Адом и совковой действительностью. Более того, герои книги согласны убежать от нее напрямиком в Преисподнюю...

Но книги Якубовича никогда не были и, уверен, никогда не будут столь прямолинейны. И Марина, и Сергей попадают в Ад не по своему желанию, не из-за невозможности жить в Советском Союзе, а по иным причинам. Сергей – чтобы спасти друзей от «ежовых рукавиц» госбезопасности, Марина – чтобы хоть изредка встречаться с любимым. И только главный герой, Александр, отправляется в Преисподнюю добровольно. Так что дело вовсе не в стране, а в людях. И воюет автор именно с режимом, а не с людьми. О советских людях – не обо всех, разумеется, но об очень и очень многих – он как раз пишет с большой теплотой. Потому что во всём этом ужасе они умудрились

жить и радоваться жизни. Обсуждать новые книги, фильмы, спектакли. Петь умудрялись. И не только «Кипучую, могучую, никем непобедимую», даже совсем не её, а нормальные, человеческие, настоящие песни. И сами эти люди – тоже настоящие.

Потому и возвращается главный герой в прошлое, и помогает случайным, в общем-то, знакомым исправить роковой поворот судьбы. Потому и автор возвращается туда же в своём творчестве. Да, он ненавидит советские порядки, но не согласен зачеркивать из-за этого значительную часть собственной жизни. Ведь было в ней и хорошее. Много всего хорошего было. И человек не может, не должен отказываться от собственной памяти. Это ведь тоже измена самому себе.

Тут мы, правда, немного забегаем вперёд. Но буквально на полшага. Совсем вскоре выясняется, что в Ад героя загоняют не обстоятельства, а он сам. Силой собственного воображения Александр построил ту тюрьму, из которой теперь желает выбраться. И странная, на первый взгляд, теория автора о том, что наказания заслуживает лишь осознанный грех, не так уж и абсурдна. Очень плохо, когда человек совершает преступление, или даже маленькую подлость, не испытывая угрызений совести. Но вдвое хуже, если он понимает низость своего поступка, терзается, но всё равно совершает его. Нет страшнее греха, чем отказ от собственных принципов, нет ужасней предательства, чем измена самому себе. И нет страшнее тюрьмы, чем та, в которую человек сам себя загоняет, живя с нелюбимым человеком, занимаясь нелюбимым делом, читая, Евламбий нас всех заberi, неинтересные ему книги.

Но ведь в любой тюрьме можно более или менее сносно, по сравнению с остальными, устроиться. И многие из нас не хотят что-либо менять в своей жизни, опасаясь, как бы не вышло ещё хуже. А герою книги потребовалось сошествие в Ад, чтобы решиться на такую перемену. Понадобилась магия, чтобы изменить *себя*, не изменяя *себе*. Правда, следует заметить, что автор немного лукавит, описывая механизм действия заклинаний. Самому ему помогают творить волшебство вовсе не отборные ругательства, как он пытается нас убедить, а искромётный, неожиданный, но всегда добрый юмор. Проявляющийся, помимо всего прочего, и в этом ложном магическом рецепте.

Что же касается рецепта спасения мира, то автор, видимо, в силу природной скромности, не формулирует его. Но догадаться не сложно. Хочешь сделать мир лучше – начни с себя. Стань счастливым сам и сделай счастливыми окружающих. Наверное, этой программе недостаёт глобальности, но осчастливить всё человечество недавно уже пытались, и всем известно, к чему это привело. Вероятно, в данный момент только индивидуальные средства очистки и могут завоевать доверие. Хорошо было Маленькому Принцу – проснулся, подмёл вокруг себя и сделал планету чистой. А у нас на Земле проживает огромное количество людей, и далеко не все из них настолько любят чистоту, чтобы совершать ради неё какие-то телодвижения. Но прибраться в собственном доме, в собственной душе всё ж таки можно. В конце концов, а почему бы и не попробовать? Что мы, собственно говоря, теряем?

Рискну утверждать, что эта книга тоже относится к разряду очищающих средств. Вероятно, одна она цепной реакции не вызовет, но

хочется верить, что когда-нибудь число хороших книг перевалит за критическую массу, и...

Нет, не подумайте, что я идеализирую новый роман Евгения Якубовича. «Программист для Преисподней» не лишён недостатков. Это ещё не та заветная тетрадка, книга всей жизни, какую сочинял один из героев Евгения. Но, наверное, оно и к лучшему. Иначе незачем было бы писать следующую. Хочется верить, что у автора впереди ещё много хороших, настоящих книг.

Сергей Удалин

Григорий КАНОВИЧ, «Облако под названием Литва». – Иерусалим, «Библиотека “Иерусалимского журнала”», 2011.

Новая, замечательная книга Григория Кановича – умна, талантлива, красива и в рецензиях не нуждается. Я лишь попробую поделиться мыслями, возникшими по ходу чтения этого сборника рассказов.

Канович всегда занимался делом святым и мистическим: он возвращал нам образы и души евреев Местечка. Великие и обычные, святые и грешные души. Жертвы произвола могил не имеют. У шести миллионов, погибших в огне Холокоста, есть одна могила – братская. Писатель делает попытку назвать имя каждой жертвы. Попытку успешную – люди эти оживают под его талантливым пером. Канович не сочиняет мартиролог. Он, оставшийся чудом в живых, отдает долг ушедшим, воскрешает родных, друзей, соседей, разрывая круг одиночества в ином месте и в ином времени.

Герои рассказов Кановича заселяют удивительное пространство Местечка. Писатель напоминает нам об исчезнувшем мире, в котором жили наши отцы, деды и прадеды. О мире, который был отнят, как некогда у гонимых потомков Иакова был отнят мир Иерусалима, отняты миры Испании, Англии, Германии, России... В каждом они старались жить по Законам Божьим, вопреки отчужденности иноверцев и злой воле правителей. В каждом они поднимались до высот созидания, вопреки вечным наветам и недоброй молве.

«Распалась связь времен...» Без этой связи нет народа, нет его истории. Я, рожденный после войны, не знал своих деда и бабу, убитых нацистами в Белоруссии, рос без их веры, опыта, знаний. В этом смысле и я стал жертвой Холокоста.

Советская власть тоже была озабочена уничтожением традиций.

В каждом своем рассказе Канович пытается восстановить связь времен и делает это так талантливо, что я начинаю верить в личное родство с героями его прозы. Вот этот Шимон Дудак вполне мог оказаться моим дедом, а Бедный Ротшильд – беднейший и несчастнейший из местечковых евреев – моим дядей. Канович, связывая распавшееся время, дарит меня чувством родства, обретением утраченного.

Евреи Израиля, да и не только Израиля, часто не хотят помнить о мире Местечка, из которого вышла немалая часть граждан Еврейского государства. Мир этот был уничтожен, он не был способен оказать

сопротивление нацизму, а потому есть соблазн обвинить самих жертв зла в победе гитлеровского геноцида.

«Надо забыть наше позорное, гибельное прошлое» – не раз декларировали многие сионисты-социалисты, забывая о банальной истине: народ без прошлого, каким бы ни было это прошлое, – это народ без будущего. Я всегда читал книги Кановича не только как произведения литературы, но и как главы из истории моего народа: теплые и живые главы.

«Человек, движущийся вперед с лицом, обращенным назад, – ключевой образ в искусстве Марка Шагала», – пишет в предисловии к мемуарной книге художника Н. Апчинская. Такого человека я вижу в романах, повестях и рассказах Григория Кановича. Мир, оставленный нашими отцами и дедами, не был Содомом и Гоморрой. Он был грешен, как и любое место на Земле, но и свят и светел настолько, что смог вызвать испепеляющий гнев дьявольских сил.

Сальвадор Дали не любил живопись Марка Шагала и называл его «старьевщиком». Но мне всегда казалось, что эти мастера очень похожи друг на друга. Только Шагал черпал энергию вдохновения из фантазий о прошлом, а Дали – из фантазий о будущем. Думаю, и новая книга рассказов Кановича полна фантазий о прошлом. Но только талант способен отмыть бытие от «мышинной возни жизни», поднять его на высоту доброй памяти и приблизить к дням нашим, так не похожим на жизнь Местечка, полную мистики и подлинной веры.

В книге «Моя жизнь» Шагал пишет: «В один прекрасный день (а других и не бывает на свете), когда мама сажала в печку хлеб на длинной лопате, я подошел, тронул ее за перепачканный мукой локоть и сказал: “Мама, я хочу быть художником”». Рай счастливого детства (мама и хлеб) – это и стало содержанием полотен Шагала. Детство – домашний хлеб – живопись – звенья одной цепи.

Местечко погибло, превратилось в пепел, но не может погибнуть мечта человека о райских кушах детства. Рукописи, увы, горят. Это детство наше никогда не сгорает. В рассказах Григория Кановича я увидел облако под названием детство. Немолодой писатель не способен отказаться ни от одного часа своей богатой событиями жизни, особенно от той, когда можно было коснуться локтя мамы. В том прекрасном времени, в том «родном местечке», пишет Канович, «...никакого театра не было. Бесплатным театром была сама жизнь, а ее подмостками попеременно становились улицы, базарная площадь, просторная баня на берегу легкоструйной Вилии, кирпичная синагога и заросший чертополохом стадион, на котором в ожесточенном футбольном поединке сходились две команды – пекари и столяры из «Маккаби» с одной стороны и унтер-офицеры из литовского спортивного клуба армии с другой». (Рассказ «Кармен с третьего этажа»)

Собственно, все рассказы Кановича из этой книги написаны даже не о прошлой жизни, не о бытии погибшего Местечка, а о самой что ни на есть настоящей жизни, которая была когда-то до изобретения телевизора и попкорна.

Шмуэль Йосеф АГНОН (Чачкес; 1888, Бучач, Галиция – 1970, Иерусалим). Один из основоположников современной израильской литературы на иврите. Лауреат Государственной премии Израиля (1954 и 1958) и Нобелевской премии по литературе (1966). В Иерусалиме именем Агнона названа улица, существует дом-музей писателя; его архив хранится в Национальной Университетской библиотеке. В «ИЖ» произведения Ш. Й. А. опубликованы в №№ 2, 5, 8, 10.

Михаил (Мэлиб) АГУРСКИЙ (1933, Москва – 1991, там же). В 1959-м защитил диссертацию в области технической кибернетики. С 1975-го по 1991 год жил в Иерусалиме, где и похоронен. С 1983-го – профессор славистики Иерусалимского университета. Автор книг «Идеология национал-большевизма» (YMCA-Press, Paris, 1980), «The Third Rome» (Westview Press, USA, 1987), «Горький. Из литературного наследия» (в соавторстве с М. Шкловской, изд-во Еврейского университета, Иерусалим, 1986), «Пепел Клааса» (URA Publishers, Иерусалим, 1996). В «ИЖ» (№№ 2–4) опубликованы его «Эпизоды воспоминаний».

Марк АЗОВ (Айзенштадт; 1925, Харьков – 2011, Нацрат-Илит). В 1943-1945 гг. воевал, был командиром взвода Советской армии. Дошел до Берлина. Преподавал литературу в школе. Много лет жил в Москве. Писал миниатюры для театра Аркадия Райкина. Автор поэтических сборников, книг прозы, пьес и киносценариев. Репатриировался в 1994 году. В 2003 году вышла книга «И смех, и проза, и любовь», в 2009-м – «И обрушатся горы. Книга откровений и фантазмов». В «ИЖ» рассказы и эссе М. А. опубликованы в №№ 8, 13, 30, 31, 32, 34, 37.

Ефим БЕРШИН родился в 1951 году в Тирасполе. Окончил факультет журналистики МГУ (1979). Во времена перестройки вел поэтическую страницу в газете «Советский цирк», где впервые были опубликованы подборки многих почти не печатавшихся ранее «неофициальных» поэтов. В девятидесятые годы работал обозревателем «Литературной газеты». Автор стихотворных сборников «Снег над Печорой» (1982), «Острова» (1991), «Осколок» (2001), «Миллениум» (2011); романов «Маски духа» (2005), «Ассистент клоуна» (2011); книги документальной прозы о молдавско-приднестровской войне «Дикое поле» (2002). Живет в Москве.

Вильям БАТКИН родился в 1930 году в Полтаве. Окончил Харьковский горный институт. Занимался строительством, проектированием и эксплуатацией угольных шахт. Репатриировался в 1995 году. Автор сборников стихов «Пойте песни о верности» (1967), «Надежда» (1972), «Сонеты» (1997). В 2007 году вышла книга прозы В. Б. «Талисман души». Переводил украинских поэтов. Публиковался в литературной периодике Украины, России, США, Израиля. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 13 опубликовано эссе В. Б. о Савелии Гринберге.

Марина БОРОДИЦКАЯ родилась и живет в Москве. Окончила МГПИИЯ им. Тореца. Переводчик английской, американской и французской классической поэзии. Автор многочисленных детских книжек – оригинальных и переводных, а также сборников стихов «Я раздеваю солдата» (1994), «Одинокое катание» (1999), «Год лошади» (2002), «Оказывается, можно» (2005), «Прогульщик и прогульщица» (2007), «Ода близорукости» (2008). В «ИЖ» опубликованы стихи М. Б. (№№ 13, 19, 23, 33); драма «Поэт и спонсор» (№ 28); эссе о Д. Сухареве (№ 35).

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатриировался в 1996 году. Автор поэтических книг для детей и нескольких сборников стихов. Лауреат литературных премий. Живет в Модиине. В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений **М. В.** (№№ 5, 14-15, 20-21, 27, 29, 34), рецензия на книгу А. Крестинского (№ 16) и заметки о нем (№ 22). В «Библиотеке ИЖ» вышла его книга «Третья попытка» (2002).

Семён ГРИНБЕРГ родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. Репатриировался в 1991 году. Один из основателей «Иерусалимского журнала». Автор поэтических книг «Разговоры и сонеты» (1992), «Иерусалимский автобус» (1996), «За столом и на улице» (1996), «Разные вещи» (1998), «Стихотворения из двенадцати книжек» (2003). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов и переводы **С. Г.** (№№ 2, 7, 18, 24-25, 26, 32, 35, 38).

Владимир (Зеэв) ЖАБОТИНСКИЙ (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк). Поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист, основатель ревизионистского течения в сионизме. В 1898-1901 гг. корреспондент одесских газет в Бёрне и в Риме. Перевёл на русский «Сказание о погроме» Х.-Н. Бялика (1904). В 1911 году основал издательство «Тургеман», выпускавшее на иврите произведения мировой литературы. В 1917-1918 гг. служил в созданном по его инициативе Еврейском легионе в составе британской армии. Один из редакторов русскоязычного журнала «Рассвет», редактор выходившей на иврите газеты «Давар а-йом». Автор романов «Самсон Назарей» (1926) и «Пятеро» (1936). Перевел на иврит произведения Данте, Гёте, Ростана, Э. По. В 1964 году, согласно завещанию **В. Ж.**, его останки перезахоронены на горе Герцля в Иерусалиме. Именем Жаботинского названа одна из центральных улиц столицы. В «ИЖ» (№№ 34, 36, 37) впервые после газетных публикаций 1902-1904 гг. опубликованы его избранные сочинения тех лет.

Юрий КАМИНСКИЙ родился в 1942 году в кишлаке Кассан (Узбекистан). По образованию филолог. Жил в России, Белоруссии и на Украине. Автор четырех книг прозы и семи сборников стихов. Репатриировался в 1998 году. Живет в Бат-Яме. В «ИЖ» опубликованы подборка стихов «Длящийся свет» (№ 13), рецензии на книги Рэны (№ 11) и Леонида Сороки (№ 14-15).

Анатолий КАРДАШ родился в 1934 году в Киеве. Жил на Украине, в Сибири, в Москве. Окончил Омский политехнический институт. С 1976 года занимается историей Катастрофы. Репатриировался в 1991 году. В 1991–2001 гг. – научный сотрудник мемориального комплекса «Яд ва-Шем». Автор книг «Внимание: евреи!» (1990), «Черновой вариант» (1994), «Посреди войны. Посвящение» (1998). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 13 опубликован рассказ **А. К.** «Одесский театр».

Ольга КАЧАНОВА родилась в 1953 году на станции Домна Читинской области. Окончила архитектурный факультет Казахского политехнического института (1976). Работала архитектором. Песни на свои стихи пишет с 1980 года. В 1987-1998 гг. – автор и ведущая радио- и телепрограмм. Лауреат многих фестивалей авторской песни. Песни **О. К.** вошли в авторские диски, в спектакли Драмтеатра им. М. Лермонтова. Автор сборника стихов «Млечные чернила» (1990) и повести «Белый таракан» (1998). Живет в Алма-Ате. В «ИЖ» № 28 опубликована подборка стихов и песен **О. К.** «Сердце билось – не разбилось».

Леонид КАЦИС родился (1958) и живет в Москве. Профессор Центра библеистики и иудаики РГГУ. Автор книг «Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи» (2000, 2004), «Русская эсхатология и русская литература» (2000), «Осип Мандельштам: мускус иудаизма» (2002), «Кровавый навет и русская мысль. Историко-теологическое исследование дела Бейлиса». Научный редактор Полного собрания сочинений Владимира Жаботинского. В «ИЖ» (№№ 34, 36) опубликованы статьи Л. К. о Жаботинском.

Михаил КОПЕЛИОВИЧ родился в 1937 году в Харькове. По образованию – инженер. Репатриировался в 1990 году. Автор книг о современной русской литературе и об израильской литературе на русском языке «В погоне за бегущим днем» (2002), «Литература и кино» (2006), «Рецензия – любовь моя» (2006). Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликованы рецензии М. К. на книги Бориса Голлера (№ 6), С. Шенбрунн (№ 7), Э. Шехтмана (№ 13), Г. Беззубова (№ 23), Ф. Лясса (№ 26), Е. Аксельрод, И. Рувинской (№30), П. Полонского (№ 32); эссе «Три оды Богу» (№ 29) и «Смерть Майи Каганской» (№ 37).

Зоя КОПЕЛЬМАН родилась в Москве, окончила МИЭМ. Девять лет провела «в отказе». Репатриировалась в 1987 году. Окончила Еврейский Университет по специальности «Ивритская литература» и занимается исследованиями в этой области, преподает. Составитель книги «В. Ходасевич. Из еврейских поэтов» (Москва – Иерусалим, 1998). Живет в Иерусалиме. Подготовила к публикации в «ИЖ» фрагмент из романа Фриды Каплан «Поколение пустыни» (№ 5). В этом же номере – эссе З. К. «В новый край идешь ты...», в № 7 – эссе об Иегуде Амихае, в №№ 8, 10 – о Шае Йосефе Агноне; в № 9 – о Гершоне Шофмане. В ее переводе опубликованы рассказы Иегуды Амихая, Биньямина Таммуза (№ 7), Ш. Й. Агнона (№№ 8, 10), стихи Натана Заха с послесловием переводчика (№ 12).

Андрей КРАМАРЕНКО родился в 1960 году в городе Копейске Челябинской области. Окончил Челябинский Политехнический Институт (1986), аспирантуру. Заведовал музыкальной частью Челябинского театра. С 1998 года – артист театра Елены Камбуровой. Лауреат Грушинского фестиваля (1993), «Петербургского аккорда» (1996). Автор более ста песен на стихи А. Межирова, Б. Слуцкого, Б. Окуджавы, А. Тарковского, Д. Сухарева, Б. Заходера, Т. Собакина, Б. Рыжего, И. Рувинской и других поэтов. Живет в Москве.

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ родился в 1945 году в Ленинграде. Закончил ВГИК (1969), сценарист и режиссер трех десятков фильмов. «Гран-при» ММКФ (2007). Репатриировался в 1996 году. Работал журналистом в концерне «Новости Недели». Автор книг прозы «Рассказы для детей» (1997), «Дело Бейлиса» (1999), «Рассказы в дорогу» (2000), «Навстречу судьбе» (2003). Живет в Ган-Явне.

В «ИЖ» опубликованы эссе А. К. о художниках (№№ 11, 13); очерк «Кибуц Эстер Файн» (№ 16), заметки о книгах Г. Кановича (№14-15) и В. Фромера (№ 17); опыт литературного монтажа «Камера пыток» (№ 27) и фрагменты будущей книги «За обрывом многоточий» (№ 36).

Александр ЛАЙКО родился в 1938 году в Москве, где жил до 1990 года. Автор четырех книг стихов. Стихи А. Л. включены в антологию «Самиздат века» (1997). Живет в Берлине. Редактор альманаха «Студия». В «ИЖ» опубликованы подборки его стихов «На Brusendorfer музыка игра-

ет» (№ 2), «На Фридрихштрассе веет сквозняком» (№ 9), «Из цикла «Руины»» (№ 24-25) и эссе «Илюша» (№ 10).

Доротея ЛИТВАК родилась в 1941 году в Сталинграде. После окончания войны жила в Одессе. По профессии – художник. Репатриировалась в 1992 году. Публиковалась в литературной периодике. Автор книги сказок и детских стихов «Улыбка дракона» (2008). Живет в Нацрат-Илите. В «ИЖ» № 35 была опубликована подборка каламбуров **Д. Л.** «Сдвиг по фразе».

Эли ЛЮКСЕМБУРГ родился в 1940 году в Бухаресте. Жил в Молдавии, на Украине, в Средней Азии. Окончил Ташкентский ирригационный техникум, Институт физкультуры; учился на филфаке ТашГУ. Репатриировался в 1972 году. Автор книг прозы «Третий храм» (1975), «Прогулка в Раму» (1978), «Десятый голод» (1985), «Созвездие Мордеха» (1988), «Волчонок Итро» (1998). Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликован рассказ **Э. Л.** «Ворота с калиткой» (№ 3), глава «Приношения сыновей Ктуры» из новой книги (№ 14-15), рассказ «Косточка Луз» (№ 27), заметки об Анатолии Якобсоне «Рядом с праведниками» (№ 17).

Ицхокас МЕРАС родился в 1932 году в Литве. Репатриировался в 1972 году. Автор повести «Желтый лоскут» (1960); книг прозы «Земля всегда жива» (1963) и «Опрокинутый мир»; романов «Ничья длится мгновение» («Вечный шах», 1963); «На чем держится мир» (1965); «Полнолуние» (1966); «Стриптиз, или Париж–Рим–Париж» (1971); «Сара» (1984). Произведения **И. М.** изданы на двадцати языках. Лауреат литературных премий разных стран. Кавалер ордена Великого князя Гедиминаса. Живет в Холоне. Рассказы **И. М.** опубликованы в «ИЖ» в №№ 12, 14-15, 18, 20-21, 26, 28.

Евгений МИНИН родился в 1949 году в Невеле. Окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского пединститута. Работал на заводе, преподавал в школе. Репатриировался в 1990 году. Автор пяти сборников стихов. Лауреат Поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2006) и конкурса «Пушкинская лира» (США, 2005). Живет в Иерусалиме. Работает учителем в школе. В «ИЖ» опубликованы подборка стихов **Е. М.** «Без Мальчиша и без Гавроша» (№ 23); подборки пародий (№№ 27, 35, 38); заметки о книге А. М. Кобринского (№ 32); эссе о Марке Азове (№ 34).

Елена МИНКИНА (Тайчер) родилась и выросла в Москве. Окончила Первый Московский медицинский институт. Репатриировалась в 1991 году. Автор книг прозы «Пройдет сто лет...» (2000), «...все, что Ты дал мне» (2004), «Женщина на заданную тему». Живет в Кирьят-Тивоне. Работает врачом. В «ИЖ» № 35 опубликован рассказ **Е. М.** «Старик».

Борис МИРЗА родился (1971) и живет в Москве. Окончил (1998) режиссерское отделение ВГИКа (мастерская Г. Полоки). Работал в Центральном Академическом Театре Российской Армии. Автор сценариев и постановщик документальных фильмов и сериалов «Виолончель Шафрана», «Мертвое тело», «Скрипичный ключ», «Антология преступлений», «Избранники. XX век», «Рейс Ф-19» и др. Лауреат Евроазиатского кинофестиваля в номинации «Новое кино. XXI век» (2005). Зав. кафедрой режиссуры МИТРО. Автор сборника рассказов «Родина» (2005).

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, росла в Подмоскowie. С 1963 года жила в Москве. Окончила МИНХ им. Плеханова, ВЛК при Литинституте им. Горького. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» были опубликованы подборки ее стихов (№№ 3, 12, 18, 24-25, 32). Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля и фестивалей памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006), стихи которого в переводе **З. П.** опубликованы в «ИЖ» (№№ 20-21, 22). В «Библиотеке ИЖ» вышли книги **З. П.** «Иерусалимские картинки» (2000), «Счастье без прикрас» (2002), «Новые иерусалимские картинки» (2004), «Ближневосточница» (2006), «Энергия согласия» (2009).

Григорий ПЕВЗНЕР родился в Харькове в 1956 году. Окончил Ленинградский Педиатрический институт. Автор книги стихов «Зелёный медведь» (2006). В 2010 году в его переводе вышла книга «Стёпарастрёпа» – русская версия известной детской книги Гофмана. С 1992 года живёт в Марбурге (Германия). В «ИЖ» опубликованы подборка стихов **Г. П.** «Будни и выходные» (№ 26), его посвящение **Д. Сухареву** (№ 35), заметки об **А. Дулове** (№ 38).

Михаил РОГОВСКИЙ (1938, Москва – 1998, Париж). В 1955-56 гг. участник литсекции клуба «Факел». Работал во многих местах, в частности помрежем на Мосфильме. В конце 70-х эмигрировал, жил в США, Израиле, Англии, Франции. Последние годы работал радиожурналистом в Париже. В «ИЖ» № 5 опубликована подборка его стихов.

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте в 1953 году. Жила также в Москве. Репатриировалась в 1990 году. Автор многих книг, переведенных на 22 языка. Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. «Большая книга» (2007) и «Русская премия» (2010). В «ИЖ» (№ 2) опубликованы повесть **Д. Р.** «Высокая вода венецианцев» (одноименная книга вышла в 1999 году в «Библиотеке ИЖ»); рассказы (№№ 11, 13, 38) эссе (№№ 5, 11, 23, 31), отрывок из романа «На солнечной стороне улицы» (№ 8), главы из романа «Синдром Петрушки» (№ 35).

Аркадий СИГАЛ родился в 1959 году в Горьком. Окончил радиофизический факультет Горьковского Университета (1982). В 80-х годах входил в литературную группу «Марафон», публиковался в литературной периодике, участвовал в нескольких поэтических фестивалях. Репатриировался в 1990 году. Работает инженером-программистом. Живет в Ришон ле-Ционе.

Ирина СОРОЧИНСКАЯ родилась в Москве. Окончила художественно-графический факультет МГПИ им. Ленина (1988). Репатриировалась в 1989 году. Выпустила альбом «Тростниковый свет» (2006) и авторские книги «Хайку на веере» (2009), «Чайки на море» (2011), «Медная книга» (2011). Автор иллюстраций и уникального дизайна для сборников стихов. Работы **И. С.** экспонировались на персональных выставках в Израиле и за границей, находятся в частных коллекциях в России, Германии, Франции, Англии, США и других странах. Живёт в Ришон ле-Ционе.

Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров) родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сборников. Один из основоположников жанра современной авторской песни. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000), Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001), премии «Венец» СП Москвы (2005). В «ИЖ» опубликова-

ны его эссе «Последний день Юрия Визбора» (№ 3), «Формула сплава» (№ 11), «Переделкинские посиделки» (№ 13), «Я была вам хорошим товарищем» (№ 19), «Прощание с Межировым» (№ 30), подборка стихов «Слова, запасенные впрок» (№ 7), беседы «Другой имеет право быть другим» (№ 11, с Татьяной Бек), «Поговорим о поэзии» (№ 23, с Сергеем Трухановым), «Диалог о Киме» (№ 24-25, с Юрием Ряшенцевым); проза «Венок сонетов» (№14-15), «Юрий Визбор навсегда» (№ 26), статья «Экспертиза» (№ 35). В 2001 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов и песен **Д. С. «Холмы»**.

Сергей УДАЛИН родился в 1965 году в Ленинграде. Закончил Военмех, перепробовал множество профессий. В фантастике дебютировал в 2005 году романом «Чёрные камни Дайры». Окончил литературные курсы при СП СПб. Автор романа «Не ходите, дети...», научно-популярного исследования «Откуда взялся "Код да Винчи"?». Участник поэтической антологии «Магическая механика». Живет в Санкт-Петербурге.

Ольга ЧИКИНА родилась в городе Скопин Рязанской области. Окончила Рязанский госпедуниверситет им. С. А. Есенина по специальности «Русский язык и литература». С 1987 года пишет песни на свои стихи; лауреат многих фестивалей авторской песни. Персональные выставки графики экспонировались в России и странах Западной Европы. Живет в Рязани. В «ИЖ» опубликованы рисунки **О. Ч.** (№ 23) и подборка ее песен и стихов «Между небом и нами» (№ 33).

Владимир ФРОМЕР родился в 1940 году в Куйбышеве. Репатриировался в 1965 году. Окончил истфак Иерусалимского университета. Участник войны Судного дня. В 1972-73 гг. – соредатор (вместе с М. Левиным) «АМИ» – первого израильского литературного журнала на русском языке. Автор двухтомника «Хроники Израиля» и книги «Реальность мифов» (2003). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы его эссе «Иерусалим – Москва – Петушки» (№ 1), «Солдат в Мосаде» (№ 3), «Поэзия как форма жизни» (№№ 7, 11), «Он между нами жил» (№ 8), «Сатанинские игры» (№ 27), заметки о книге А. Красильщикова (№ 6), главы из романа «Чаша полыни» (№№ 30, 35).

Михаил ХЕЙФЕЦ родился в 1934 году в Ленинграде, окончил Пединститут им. А. Герцена. В 1955 – 1996 гг. преподавал литературу и историю в школе. В 1974-м осужден на шесть лет за написание предисловия к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. Репатриировался в 1980 году. Работал научным сотрудником Центра по изучению и документации восточно-европейского еврейства при Иерусалимском университете и обозревателем газеты «Вести»; автор книг «Глядя из Иерусалима», «Цареубийство в 1918 году», «Воспоминаний грустный свиток», «Суд над Иисусом – еврейские версии и гипотезы», «Ханна Арендт судит XX век» и др. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы мемуары **М. Х.** «Из будущей книги» (№ 32), рецензия на журнал «Время искать» (№ 2), заметки о книгах Марка Зайчика (№ 8) и Лорины Дымовой (№ 22); статья «Почему Жаботинский не стал еврейским вождем» (№ 29).

Анатолий ЮНИСОВ родился в 1937 году в Москве; в США – с 1987 года. Автор книги рассказов «Чистые пруды, 2» (Бостон, 1987). Живет в Бостоне. В «ИЖ» № 5 было опубликовано его письмо в редакцию «Памяти Михаила Роговского».

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

МАРК ВЕЙЦМАН. Энтропия. <i>Стихи</i>	3
ДИНА РУБИНА. Снег в Венеции. <i>Рассказ</i>	9
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. При свете вспышки. <i>Стихи</i>	34
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Чаша полыни. <i>Главы из романа</i>	41
ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН. С квартиры на квартиру. <i>Рассказ.</i> <i>Перевела с иврита Зоя Копельман</i>	95
ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ. Возвращение ангелов. <i>Рассказ</i>	103

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ЮРИЙ КАМИНСКИЙ. А что там за окном? <i>Стихи</i>	114
ИЦХОКАС МЕРАС. Горький вкус щавеля. <i>Рассказ.</i> <i>Перевела с литовского София Шегель</i>	120
АРКАДИЙ СИГАЛ. Видения. <i>Стихи</i>	131

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ. Мама, откуда берутся стихи? <i>Стихи</i>	136
БОРИС МИРЗА. И слава Богу. <i>Рассказы</i>	140
ЕФИМ БЕРШИН. Поводырь дождя. <i>Стихи</i>	156

УЛИЦА ЖАБОТИНСКОГО

ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. Неизвестные статьи (1901–1904)	160
ЛЕОНИД КАЦИС. «Русская весна» Владимира Жаботинского	197

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

АНАТОЛИЙ ЮНИСОВ. Стихи мои и моих друзей. <i>Воспоминания</i>	206
--	-----

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

ИРИНА СОРОЧИНСКАЯ. Предрассветное время. <i>Графика</i>	236
---	-----

ПАРК САКЕР

ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Попытка прощания с рубрикой, или Анонс нового журнала	245
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Влажным взором	246
ОЛЬГА КАЧАНОВА. Всматриваясь в слова	262
АНДРЕЙ КРАМАРЕНКО. Это со мной	266
ОЛЬГА ЧИКИНА. Борис Рыжий и милые люди	269

НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ

ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР. За рамкой кадра. <i>Стихи</i>	272
---	-----

ХОЛМ ПАМЯТИ

МАРК АЗОВ. Художник. <i>Рассказ</i>	280
ЕЛЕНА МИНКИНА. «Что наша жизнь?»	285
ВИЛЬЯМ БАТКИН. «И смех, и проза, и любовь»	289
ДОРОТЕЯ ЛИТВАК. Гражданин обоих миров	295

НОВЫЕ ВОРОТА

МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ, ЕВГЕНИЙ МИНИН, МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ, АНАТОЛИЙ КАРДАШ, СЕРГЕЙ УДАЛИН, АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ о книгах Елены Аксельрод, Александра М. Кобринского, Никольского, Михаила Польского, Евгения Якубовича, Григория Кановича	296
--	-----

ИМЕНА

Авторы и персонажи	311
------------------------------	-----

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычным (не заказным) письмом свои координаты
и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

***Jerusalem Literary Review,
P. O. Box 32297, Jerusalem 91322***

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 160 шекелей, включая пересылку
В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 45 шекелей, включая пересылку.
В других странах – \$18 США, включая пересылку

(Справки по тел. 972-72-2822551; E-mail: olvic1@012.net.il)

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва),
Михаила Басина (Реховот), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила
Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую
(Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим),
Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея
Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана
(Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон),
Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира
Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-
Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу
Качанову (Алма-Ата), Леонида Кациса (Москва), Дмитрия
Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра
(Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника
(Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева),
Якова Лившица (Иерусалим), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину
Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-
Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-
Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа),
Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва
Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена
Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Москва), Ирину Хвостову
(Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева),
Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира
Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит (Тель-Авив) Наума Шаца
(Иерусалим), Дмитрия Шварца (Текоа), Михаила Щербакова (Москва),
Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2011 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,

«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,

«Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»;

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;

Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка»; Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,

«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»; Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустя три года»;

Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Владимира ДРУКА, Феликса КРИВИНА,

Ицхокаса МЕРАСА, Евгения МИНИНА, Михаила ФЕЛЬДМАНА

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net/index.html

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

תוכן העניינים:

שער אריות

מרק ווייצמן. אנטרופיה – שירים
דינה רובינה. שלג בוונציה – סיפור
זינאידה פלבנובה. לאור ההבזק – שירים
וולדימיר פרומר. סאת לענה – פרקים מרומן
ש"י עגנון. מדירה לדירה – סיפור. מעברית – זויה קופלמן
אליהו לוקסמבורג. חזרת המלאכים – סיפור

שער יפו

יורי קמינסקי. ומה מאחורי החלון? – שירים
יצחקס מראס. טעם מר של חומעה – סיפור. מליטאית – סופיה שגל
ארקדי סיגל. חזונות – שירים

מגרש הרוסים

מרינה בורודיצקאיה. אמא, מאיפה באים השירים? – שירים
בוריס מירזה. וברוך השם – סיפורים
יפים ברשין. נווט של גשם – שירים

רחוב ז'בוטינסקי

וולדימיר ז'בוטינסקי. מאמרים לא ידועים. (1901 – 1904).
לאוניד קציס. "האביב הרוסי" של וולדימור ז'בוטינסקי.

הר הצופים

אנטולי יוניסוב. שירים שלי ושל רעיי. זיכרונות.

רחוב בצלאל

ירינה סורוצ'נסקאיה. זמן של עלות השחר – גראפיקה

גן סאקר

איגור ביאלסקי. ניסיון פרדה ממדור או הודעה על כתב עת חדש
דמיטרי סוחרב. במבט לחלוחי – על שירתו של בוריס ריזי
אולגה קצ'אנובה. בהתבונן במילים.
אנדרי קרמרנקו. זה איתי
אולגה צ'יקינה. וזה פאר (בוריס ריזי ואנשים נחמדים)

הר הזיכרון

מרק אזוב. אומן. סיפור
ילנה מינקינה. "מה הם חיינו?"
וויליאם בטקין. "וצחוק ופרוזה ואהבה"
דורותיה ליטבק. אזרח של שני העולמות

השער החדש

מיכאיל קופליוביץ', יבגני מינין, מיכאיל חפץ, אנטולי קארדש,
סרגי אודליון, ארקדי קרסילשצ'יקוב – על ספריהם של ילנה אקסלרוד,
אלכסנדר קוברינסקי, ניקולסקי, מיכאיל פולסקי, יבגני יקובוביץ',
גריגורי קנוביץ'

שמות

דמויות ויוצרים

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קיס,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה
תמיכה לוגיסטית וטכנית: אולגה אקסיוטינה, דניאל בורשטיין,
בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי, ויקטור גופמן, גריגורי גורדין,
סבטלנה מויבר, וולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסיה



קרן רוסקי מיר



מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2011 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-9960827, 0544-745322, 02-9960302, 02-5361947

E-mail: jerusalemreview@gmail.com

